



Наум Ним
Господи, сделай так...

[roman]

CoRpus

Наум Ним

Господи, сделай так...

Роман



издательство **астрель**



УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Н67

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

Ним, Н.

Н67 Господи, сделай так... : роман / Наум Ним. — М.: Астрель : CORPUS, 2012. — 336 с.

ISBN 978-5-271-37664-1 (ООО «Издательство Астрель»)

Это книга о самом очаровательном месте на свете и о многолетней жизни нашей страны, в какой-то мере определившей жизни четырех друзей — Мишки-Мешка, Тимки, Сереги и рассказчика. А может быть, это книга о жизни четырех друзей, в какой-то мере определившей жизнь нашей страны. Все в этой книге правда, и все — фантазия. “Все, что мы любим, во что мы верим, что мы помним и храним, — все это только наши фантазии. Но если поднять глаза вверх и честно повторить фантазии, в которые мы верим, а потом не забыть сказать “Господи, сделай так”, то все наши фантазии обязательно станут реальностью. Если, конечно, ты при этом вправду желаешь только добра и справедливости и не выкраиваешь какой-то выгоды для себя. И вот это уже — очень трудно. Из всех людей, кто такое бы умел, я знаю одного только Мешка, но и у него очень часто все получалось наперекосяк”.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-271-37664-1 (ООО «Издательство Астрель»)

- © Наум Ним, 2011
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011
- © ООО “Издательство Астрель”, 2011
Издательство CORPUS ®

Оглавление

1. Мешок (Наказанье Божие)	7
2. Тимка (На той стороне)	38
3. Серега (Наперекор)	70
4. Мешок (Бремя чудес)	101
5. Тимка (Пробуждение страсти)	133
6. Серега (Суд с танцами)	167
7. Мешок (Выбор земного)	199
8. Тимка (Любовь в разлив)	232
9. Серега (Земля людей)	264
Эпилог	299

1. Мешок (Наказанье Божие)

Оставалось поставить точку...

Мешок перечитал им же написанные строки о том, что должно произойти. Еще мгновение — и что-то станет поворачиваться, сначала медленно, но все более неостановимо придут в движение какие-то люди (а может — и целые галактики), настраивая мир на исполнение его желаний. Сколько Мешок ни напрягался, измарщивая упрямый лобешник, все равно не получалось представить, как вертится вся эта таинственная механика, выкручивая в оконцовке заказанный им результат. Известным было лишь то, что этот результат Мешок (а вместе с ним и весь мир) получал всегда: через день-два, а в особых случаях, когда пожелание было совсем фантастическим и не исполнимым никакими человеческими усилиями, — через неделю-другую, но всегда все случалось по-написанному. Точнехонько по-написанному, и именно из-за этого неотступные беспокойства тарабанили в Мишку-Мешка до полного изнеможения его очень нехилого организма.

Чаще всего оказывалось, что на самом деле он имел в виду совсем не то, что получил, и, наново перечитывая заказанные чудеса, Мешок в очередной раз убеждался в том, что снова сильно лопухнулся в формулировке своих правильных пожеланий.

Если все точно вспомнить, то это и было причиной всего напридуманного Мешком крючкотворства. Сначала-то он свои желания высказывал только устно: произнесет — и готово (и новый облом). Вот тогда он и пожелал, чтобы все сбылось только после того, как будет записано в специально отведенной для этого тетрадке. И не просто записано, а по определенным правилам: в конце пожеланий должны были быть неизменные слова “Господи, сделай так” и после этого надо было поставить жирную точку. Вот перед исполнением этих правил Мешок всегда очень сильно задумывался, особенно перед тем, как поставить точку. Иногда — на несколько дней, и, все обмозговав, бывало, тщательно исчеркивал написанные желания и строчил заново.

Началось это его благородное служение в конце пятого класса с появления какого-то призрака. Вряд ли это был сам Бог или даже какой-нибудь из его ангелов — очень уж по-простецки выражался этот Неведомо-кто словами, совсем не похожими на те, которые Мешок с трудом прочитывал в зорко оберегаемой бабкой книге. Скорее всего, это был мелкий порученец типа почтальона, разносящий по людскому муравейнику Божественные повеления. Мешок и заметил-то его не сразу, балдея под первым теплым солнцем на лесном пригорке. Что-то такое белое шевелилось и, мелко похихикивая, общало Мешку порученное ему задание “от самого Господа и Бога”.

Будь это сейчас, Мешок бы подробно расспросил почтальона обо всем, и главнее всего про то, что там и как происходит после смерти, но тогда он только моргал и слушал, забыв дышать и боясь пошевелиться. Снова и снова Мешок возвращался всей памятью к тем мгновениям, поворачивая сказанное ему и так и эдак, чтобы новыми деталями и новыми понятиями дополнить полученный тогда наказ (или — полученный дар? или — наказание?).

Выходило, что Мешок — самый-пресамый праведный, на сколько вокруг ни посмотри, и поэтому он назначается главным помощником самого Бога, которому за всем не успеть. Кем-то вроде разведчика, что смотрит вокруг и сообщает наверх, что именно надо исправить и переделать, чтобы все было хорошо и правильно. И все, что он пожелает, тут же будет исправлено и переделано, и уже ничего нельзя будет отыграть обратно. Главное — ничего не просить для себя и никому ни гу-гу...

Много позже Мешок дотумкал, что, как и всякий разведчик, он тоже вправе на какое-то время назначить кого-нибудь другого исполнителем этого своего задания, а самому или передохнуть, или заняться обустройством собственной жизни, но тогда он и мыслями шевелил еле-еле под тяжестью свалившейся на него ноши.

У него не было и минутного сомнения в правильности случившегося чуда. Кому же другому еще мог поручить Бог такое задание? Вокруг, по словам бабки, одни нехристи и богоборцы. Ведь и простого крестика, из-за которого на Мешка как из мешка валились разные неприятности, он ни у кого никогда не видел даже в бане, куда поселковый люд ходил раз в неделю: женщины в пятницу, а мужчины в субботу. За мужчин Мешок мог бы поклясться самой страшной клятвой, но и у женщин на их испотевших шеях (сколько можно было разглядеть в специально отскобленный от белой краски уголок мутного окошка) Мешок не мог вспомнить никаких крестиков.

Правда, можно было для этого задания назначить его бабку, но Мешок здраво рассудил, что разведчик должен быть молот и силен, и значит, по всему получалось, что эта ноша — его...

Нельзя сказать, что Мешок так вот сразу и безоговорочно поверил в свалившуюся на него судьбу. Несколько дней он сомневался и размышлял, абсолютно обессиленный этими размышлениями и, главное, невозможностью поделиться ими с

кем бы то ни было. Потом его осенило: надо что-нибудь пожелать, и все станет ясно — чего же проще?..

Мешок и всегда был медлительным и тугодумным (сейчас сказали бы — полный тормоз), а тут он и вообще как остолбенел, ворочая свои невероятные мысли о том, какое же добро можно сотворить так, чтобы себе не было с этого никакой выгоды. Думал-думал и придумал: надо что-то сделать со страшным Домовым, от которого всем вокруг одни только горькие слезы.

Домовский по прозвищу Домовой жил по соседству с хатенкой Мишки-Мешка.

Вернее, это был дом Мишкиной бабки, и был он такой же охающий и перекошенный, как и сама Клавдяванна, заменявшая Мешку и мать, и отца, и любых других родичей.

В допацанячем возрасте нам нравилось бывать в ее гостеприимном доме. Нам — это Тимке, Сереге и мне. Мы носились в какие-нибудь шумные пряталки и догонялки, прыгая через неровные грядки, проделывали новые дыры в остатках изгороди и в дряхлых постройках, объезжали грустную козу Клаву — тезку Мишкиной бабки, а потом за дочиста выскобленным столом пили молоко с этой козы с пылающими пирожками, из которых сыпалась на руки обжигающая картошка. Мы сидели притихшие и старались не смотреть в угол, откуда неотступно следили за нами огромные глазищи с темной доски, увитой искусственными цветами. И сидеть под этим темным взглядом было совсем не то, что, снисходительно поплеывая, знать и повторять за нашей учительницей Елизаветой Лукиничной общеизвестное, что эти глаза — всего лишь деревянная икона, религиозный дурман, ерунда и полная чепуха (почему-то на постном масле, которое, по-правде сказать, совсем не ерунда, особенно если натереть им горбушку хлеба и разогреть ее в костровом дымном жару).

Недолгими были эти наши игры на участке Мешка и эти вкусные пирожки.

Подслеповатая Елизавета Лукинична на одном из физкультурных уроков усмотрела Мишкин крестик и онемела, но очень скоро вернулась в голос и, громыхая каменными словами о паршивой овце, поволокла брыкающегося Мешка в учительскую.

Потом завертелся дикий кавардак. Мешка исключали из октябрят. В два голоса — хриплый и визгливый — Елизавета Лукинична и пионервожатая Таисия Николаевна требовали, чтобы Мешок немедленно снял или октябреньский значок, или поповский крестик, враждебный всему светлomu и прогрессивному, что делают настоящие октябрята — истинные внуцата дедушки Ленина.

— В глаза!.. Смотри в глаза своим товарищам, которых ты продал за поповскую чечевичную похлебку!..

Таисия визжала что-то совсем несусветное и, цапая Мишкин подбородок, вздергивала вверх его красное потное лицо. Мишка крутил головой, отбивался и упрямо набычивал круглую бóшку глазами в пол.

От нас требовали выступать и клеймить. Выдергивали всех начиная с девчонок, и кто как — бубня или звеня, запинаясь или пощелкивая — повторяли про дедушку Ленина и поповскую похлебку. Мы с Тимкой и Серегой отмалчивались и потому торчали стоймя за своими партами, потому что сесть разрешалось только тем, кто оказался истинным товарищем и настоящим октябреньком, кто не побоялся поповских угроз и защитил дело дедушки Ленина. Было страшно.

Из сегодняшнего дня мне смешны и даже трогательны те наши страхи, но если вспомнить все честно, было по-настоящему страшно.

Не уверен, что мы бы так и отмолчались, если бы нас разделяли как-нибудь по одному — например, вызвав в учитель-

скую. Но здесь, поглядывая друг на друга, мы молчали до упора — пока наши наставники не перенацелились с Мишки и дедушки Ленина точнехонько на нас.

— Ну как тебе не стыдно, культурный мальчик, а защищаешь религиозное мракобесие. — Елизавета Лукинична притворно сменила тон и фальшиво-ласковым голосом подкатила ко мне, пробуя таким вот льстивым фу-фу расколоть наше мужское единство.

— И никакой не культурный, — бубнил я, кося по сторонам и избегая смотреть в лживо-ласковое лицо учительницы, а подленькую испуганную душонку все равно грела эта враная похвала...

— Значит, мракобесие есть? — встрял Серега, оттягивая на себя Елизавету Лукиничну.

— Ну конечно есть, — радостно откликнулась она на проклюнувшуюся наконец Серегину понятливость.

— Мракобесие — это когда бесы шуруют во мраке по разным своим надобностям. Если мракобесие есть, то есть и бесы. А если есть бесы, почему же нет ангелов? Может, и они есть? А Бог?..

— Нету, — завизжала Таисия Николаевна, осуждающе отстраняя задыхающуюся возмущением Елизавету Лукиничну. — Нету Бога!

— Дед Морозов тоже нету, — подал голос Мешок, — но они же никому не мешают. Вы сами вона на каждую елку выражаетесь Дед Морозом — и почти ничего страшного. А ведь если посмотреть на вашего Дед Мороза, так тоже сплошной обман и мура... — Мешок споткнулся, но одолел, — сплошное муракобесие...

Таисия Николаевна только набрала воздуха, чтобы дать немедленный отпор, но не успела.

— У вас у самой крестик, — выпалил в нее осмелевший Тимка.

— Какой крестик? — захлебнулась Таисия.

— Блискучий, — ответил Тимка. — Наверно, золотой... На золотой цепке.

— Это совсем не крестик, а такое украшение, — зачастила Таисия. — Что это ты выдумал? Какой тебе крестик? Где это ты видел крестик?

— В бане видел: между грудьями крестик на цепке...

Дальше был сплошной визг, а мы вчетвером, пригложшие и одуревшие, — в самом центре этого визга. Так нас и доставили в учительскую к директору.

— Вот, полюбуйте, — Таисия вытолкала нас перед директорским столом, подравнивая шипением, — насаждают религиозную заразу среди школьного здорового организма.

Директор вздрогнул и на глазах посуровел. И было от чего. Все вокруг гремело непримиримой борьбой с попами и прочими сектантами, которые со всеми своими крестами стоят поперек дороги в светлое будущее. Редкие и еще диковинные телевизоры, всегда гомонящие репродукторы на столбах (на центральном перекрестке над двумя магазинами и другой — над конторой древесной фабрики), никогда не выключающиеся радиоточки в хатах (кто же станет их выключать, если гроши уплочены?) с утреннего гимна и до ночного пугали-гремели-сражались с религиозным дурманом. Ну, и еще с кукурузой. Это было самым главным. Потом по главности шли янки, не желающие ехать домой, и немецкие реваншисты, не понимающие, что нет им никакого срока давности.

Кстати сказать, десяток зашуганных еврейских стариков сочли все это знаком свыше и под шумок очередного искоренения христианской ереси скоренько организовали в хате моего дедушки домашнюю синагогу. Наш участковый Александр Иванович откуда-то мгновенно прознал про их чудачество, но, обнаружив на месте предполагаемого преступления никаких крестов-попов-сектантов, пустил все дело по разряду национальных особенностей и никаких мер принимать не стал,

вплоть до 67-го, когда никто уже не вспоминал ни про попов, ни про кукурузу, а самым главным в жизни стала израильская военщина, и тут уже национальные особенности сразу превратились в отягчающее обстоятельство, но до этого всем нам еще жить и жить...

В общем, стоило только обычного человека и даже любого соседа нарядить в выходной пиджак с наградами и поставить перед столом с красной скатертью, как он тут же пробовал что-нибудь сказать про дурман, кукурузу, про то, чтоб янок — домой, а реваншистов, наоборот, — из дома в тюрьму без срока давности. Но первым делом — дурман, и поэтому директорская суровость была вполне уместна.

— Кого насаждают? — Директор выигрывал время, чтобы в спешке не совершить политической ошибки.

— Заразу религии... — Таисия чеканила как на трибуне, а Елизавета Лукинична молча стояла за нами с таким виноватым видом, который Таисия все еще добивалась произвести из наших физиономий. — Пропагандируют поповское мракобесие, — закончила Таисия Николаевна.

— И он пропагандирует? — Директор с большим сомнением перевел глаза с меня на Таисию. — Может, вы ошибаетесь?

— Религиозная зараза выше любых национальных предрасудков. — Звонкие слова как-то излишне радостно отскакивали от Таисиных зубов и колотили по директорскому лбу. — И вообще эту шайку, — Таисия заподталкивала нас ближе к столу, — надо немедленно разогнать и наказать...

Директора мы не очень боялись, потому что самым любимым его наказанием было временное исключение из школы, а если кто-то и вправду считает, что это наказание, то он еще глупее нашего директора. Нас исключили на два дня. Правда,

вдогон оповестили родителей, наказав им следить, чтобы мы не крестились.

Моя матушка сама преподавала в вечерней школе, которая начинала работать после окончания уроков второй смены, и ей мой приговор сообщили прямо на рабочем месте. Дома после работы она задумчиво посмотрела на меня, расстегнула ворот рубашки, общекотала, пошарив за пазухой, сказала: “Идиоты” — и отпустила обратно к книжке, которые я глотаю вместо того, чтобы помогать ей в ее трудной жизни, и потому чтобы я немедленно выключал свет и ложился спать.

Мамаша Сереги была, как и Елизавета Лукинична, учительницей в начальных классах и вела параллельный, а отец был какой-то шишкой при партии, потому что он этой партией руководил в партизанах и много чего навоевал, о чем сейчас мрачно пил, избегая собутыльников. Серегина родительница, прознавшая обо всем с ходу, вернувшись с уроков, закатила сыну скандал и пригрозила, что переведет его в свой класс, отец сказал, что этого не будет, мамаша сказала, что Серега подрывает авторитет отца, а тому сейчас нелегко, отец сказал, чтобы она не лезла куда не просят, и в конце концов Серегу оставили в покое.

Мамка Тимки обрадовалась и сказала, чтобы Тимка завтра не шлялся до ночи, а наконец сложил наготовленные к зиме дрова, гора которых заполняла весь двор. Вчетвером мы это сделали за пару часов и отправились к Мешку, но он нас не пустил, а сам пошел с нами обратно к Тимке.

Оказывается, к его бабке пришла из школы целая делегация во главе с директором, и Клавдеванне пригрозили, что если она не перестанет отравлять нас религиозным опиумом, то школа на нее напишет куда следует и ее посадят в тюрьму, а Мешка отдадут в детский дом.

Не знаю, собиралось ли школьное начальство и вправду осуществить свои угрозы, но домой к Мешку мы ходить перестали. А к пятому классу эта история отошла в далекое прошлое и

забылись все учительские запреты, но к тому времени нам уже тесно было на домашних подворьях, и к Мишке мы хоть и забегали совершенно безбоязно, но — ненадолго, все время потопрапливая его медлительные сборы. Козу Клаву к тому времени уже съели, а Мишкина бабка непрерывно хворала, и потому не было уже ни ее горячих пирожков, ни тихого гостевания за деревянным столом. Да и глаза в углу потускнели и уже не сверлили нас своими тревожными и таинственными вопросами.

Но чаще всего мы по привычке высвистывали Мешка из-за погибающего забора.

Забор этот отделял (а практически и не отделял) Мишкино хозяйство от улицы. Соседи слева разделялись с Мишкиным участком все тем же его порушенным забором, а вот сосед справа заслонился от Мишкиного неустройства высоченной оградой. Не штaketной и проницаемой глазом изгородью, а сплошным — доска в доску — двухметровым забором. Это и было подворье Домового-Домовского, злобную жизнь которого Мешок решил выправить в качестве первого доброго дела порученного ему служения (и в качестве проверки существования этого служения).

Справное хозяйство Домового мы иногда разглядывали с трухлявой крыши Мишкиного сарая. За высоченным забором все цвело, кудахтало, гоготало и хрюкало. Рубленый сарай красовался не хуже избы, а изба, крытая не какой-то там дранкой или толем, а крашеным железом, — что твой дворец. Коровник, сараюшки для мелкой живности и гараж для мотоцикла казались игрушечными домиками и были вполне пригодны для жилья, а крепенькая банька безусловно доказывала, что Домовой — не кто иной, как недобитый буржуй, единоличник и эксплуатантатор, потому что никто другой не будет так чураться общей бани по субботам и со светла до темна так горбатиться вместе с женой и сыном каторжными работами по процветанию своего хозяйства.

Однажды в пору крайнего малолетства мы вчетвером загорали на той же Мишкиной крыше, сокрушаясь невозможностью дотянуться через забор до сверкающих яблок, под грузом которых деревья буквально кряхтели — так близко и так недоступно. Да что яблоки? Яблоки были у кого угодно, а вот груши и сливы, непонятные красные фрукты, в которых позже по картинкам я опознал болгарский перец, невероятно крупный крыжовник — все это нагло буйствовало в нескольких метрах от нас, не оставляя ни одного шанса подумать и поговорить о чем-то другом.

Тут мы вспомнили, что и яблоки мало у кого остались. По дворам начали шастать какие-то люди, переписывая все фруктовые деревья, за каждое из которых по новым законам требовалось платить налог, и под стук топора да под матерные вздохи по участкам начали изводить все плодоносящее под корень. Мы принялись перечислять дворы с яблоками. Оставалось еще вполне прилично, правда, нигде мы не могли вспомнить такой яркой роскоши, как на участке Домового.

— Буржуй — он и есть буржуй, — справедливо подытожил Тимка наши алчные облизывания. — Хорошо бы к нему наняться в сторожа.

— Зачем ему сторожа, когда его жонка с сыном почти безвылазно тут? — отмахнулся Серега.

— Ну и посмотри — где они?

— Они все на евоном лесовозе уехали, — дал справку Мешок, — еще поутру. Похоже, на рыбалку.

— Ну вот на этот случай и наняться. А то они за порог, а хулиганы разные тут как тут.

— Какие хулиганы? У него же собака сторожит лучше любого сторожа.

В подтверждение Серегиных слов необыкновенный пес Домового вылез из-под крыльца баньки, лениво прошелся по дорожке между грядками и улегся прямо на наших глазах, нагло зевнув нам в ответ громадной пастью.

— Ингус всегда так — по дорожкам, — восхищенно прокомментировал Мешок. — Домовой его и на цепь никогда не сажает, и живет он в доме, а не в собачьей будке. Такого пса ни у кого больше нет.

Мы прокрутили в памяти все свои знания о местных собаках и вынуждены были согласиться. Собаки у нас в поселке были либо цепные, либо совсем бессмысленные и к сторожевому делу негодные.

— Выдрессировал, — объяснил Серега. — Ничего хитрого: как что не так — лупить до потери сознания, и любой шелковым станет.

— Так чего же другие не выдрессируют? — усомнился Мешок.

— А другие не могут, как Домовой, — без жалости и до беспомытства.

Крыть было нечем.

— Ну и что, что собака? — Тимка возвращал нас к дразнящим глаза яблокам. — Хулиганы могут и собаку обхулиганить.

— Да откуда же они возьмутся, эти хулиганы? — вышел из себя Серега.

— А мы сами ими прикинемся — понарошку, — предложил Тимка. — Набезобразничаем по-всякому, Домовой вернется — ох-ах! — и к Мешку: “Скажи, сосед, — спросит Домовой, — ты не знаешь, кто это у меня набезобразничал?” А Мешок ему и скажет: “Нет, дядя Домовой...”

— Вот тут Домовой ему бошку и отвернет, — засмеялся Серега. — Кто ж осмелится его в глаза так назвать?

— А его как зовут?

— Дядя Ульян, — подсказал Мешок.

— Ну, значит, Мешок и скажет, — продолжил фантазировать Тимка, — “...нет, дядя Ульян, но если хотите, могу пососедству присматривать за вашим хозяйством”. То да се, и Домовой поймет, что ему это очень выгодно, и дело в шляпе...

Мы замолчали, обдумывая Тимкину идею, и она нам все больше нравилась. Все выглядело логично и очень убедительно. В оконцовке согласился и Мешок, хотя видно было, что ему все равно страшно.

Надо было придумать, как именно нахулиганить с собакой и вообще... Тимка робко швырнул в направлении собаки кусок оторвавшейся дранки. Она лишь тюкнулась об высокую ограду и осталась на огороде Мешка, но Ингус поднял голову и удивленно оглядел нас. Мы натащили на крышу камней, железок и прочего хлама и, не обращая внимания на лай Ингуса, обстреляли соседскую территорию на совесть.

— Ты смотри, — поучал Тимка Мешка, слезая с сарая, — когда Домовой будет тебя брать в сторожа, ты ему скажи, что у тебя еще есть три друга и ты без них — никак...

Мешку ничего говорить не пришлось. Когда лесовоз Домового подъехал к своим воротам, мы прямо здесь, на улице, вдоль его забора гоняли чижа, и помнить не помня уже о недавно учиненном погроме.

— Миш, — позвал Домовой, снова появившись в открытой нараспах калитке ворот, — идите-ка сюды и дружков веди.

Тут мы сразу все вспомнили, Тимка победно подмигнул нам и первым направился к Домовому, а мы поспешили следом.

Каким-то непонятным образом Домовой исхитрился схватить всех нас разом и как-то удерживать, встряхивая и откручивая уши в воздухе всем по очереди. Неведомо каким чудом мы вырвались из объятий этой боли и этого ужаса и поломались, не разбирая дороги, через Мишкину изгородь и дальше по чьим-то огородам сквозь живые и деревянные ограды насквозь...

Но это было давно и к решению Мешка образумить соседа никакого отношения не имело. Домового сторонились все. Вслед ему часто поварчивали “полицейская морда”, и, скла-

дывая уворованные объедки разных взрослых разговоров, мы знали, что он и вправду был полицаем, а когда мы победили немцев и их прислужников-полицаяев, его посадили в тюрьму, но в результате уже и не чаянной никем смерти Сталина всех этих гадов повыпускали, и Домовой вернулся к жене и тихому сыну, который, похоже, не меньше нас боялся своего отца и в придачу, стесняясь отца, боялся и сторонился всех вокруг, включая даже и нас, даром что был много старше.

Вернувшись, Домовой окунулся в работу, в заработки, в строительство и хозяйство — окунулся до разрыва жил. Он нещадно гонял покорно угасающую жену и чуть ли не ежевечерне, после окончания любых работ, бил ее смертным боем, и не только за глухими стенами дома, но и догонял, когда она вырывалась во двор, избивая и там и дальше — по ходу, когда она рвалась к соседям в поисках защиты.

Чаще всего она спасалась у Мишкиной бабки, которая из-за хилой двери, вздрагивающей под ударами Домового, без всякой боязни покрикивала ему: “Иди домой, идол. Ступай, не гневи Бога”, и, странное дело, Домовой не вышибал дверь, а уходил себе, недовольно побуркивая. Надо сказать, что сына Толика он никогда не бил, даже когда сын подрос и настолько осмелел, что решался уже вступаться за мать и оттаскивать от нее разъяренного отца. Толик был похож на робкого и неуклюжего теленка, его и дразнили Телятя, да и сам отец называл его Телёмой, но неизвестно, что появилось раньше — дразнилка или отцовское прозвище.

Ну как было не защитить своих забитых и запуганных соседей?

Поздним вечером Мешок вышел на двор, посмотрел на усыпанное звездами небо, подивился его необыкновенной красоте, которую, оказывается, он по-настоящему никогда и не видел, и произнес: “Пусть Домовой никогда больше не бьет

свою жену”. Подумал и добавил: “И сына”, хотя никаких оснований для этого дополнения у него не было.

Чего-то не хватало. Мешок снова посмотрел на небо и подытожил: “Господи, сделай так...”

Ранним утром следующего дня к воротам Домового подкатил на своем мотоцикле участковый Александр Иванович, везя следом за собой, как на привязи, никогда наяву не виданную “Победу”. Вместе с тремя пассажирами “Победы” участковый скрылся за калиткой, ладно пригнанной в створке ворот.

Соседи высыпали посмотреть и обсудить. Редко кто сокрушался, большинство злорадствовало. Мишкина бабка ковыляла поспеть, на ходу заталкивая в авоську нехитрую снедь. Потом она толкалась среди соседей, конфискуя у них папиросы, и набивала початые пачки в ту же авоську. Мешок околачивался перед автомобилем, мечтая прокатиться.

Через какое-то время из дома донесся женский вой и покотился к воротам. Калитка распахнулась — в окружении чистых и ладных мужчин Домовой в своей вечной замызганной спецовке плелся к “Победе”, а следом волочилась жена, голова и цепляясь за спецовку мужа. Мужчины брезгливо отцепляли ее, стараясь загородить дорогу своими телами и покриками “не положено”, а дядя Саша отворачивал хмурое лицо и ничем не помогал наведению порядка.

— Храни тебя Бог! — Бабка Мешка перекрестила Домового, передавая ему авоську, когда того заталкивали на заднее сиденье.

— Иди-иди, старая, — процедил один из приехавших.

В этот день вся школа шушукалась об утреннем происшествии. Учителя вместе с директором придумывали, что делать с учеником десятого класса Анатолием Домовским, и ждали начальственных указаний, а ученики в основном обсуждали досто-

инства “Победы” и теребили Мешка всякими вопросами, но тот сидел за партой, сопел и отмалчивался — мешок мешком.

В конце уроков родительница Сереги Зинаида Петровна строго-настрого наказала сыну быть дома и следить за отцом, чтобы тот не пил, и — ни шагу со двора.

— Как же — уследишь за ним... — пробурчал Серега, но послушаться не посмел.

Так мы естественным образом переместили свои забавы на Серегин участок, но никакого себе занятия придумать не могли и слонялись без толку, постоянно натываясь на неповоротливого и на ходу замирающего Мешка. В конце концов Серега с Тимкой прямо под окном горницы затеяли резаться в ножички, а я с другой стороны этого окна в Серегином закутке, отделенном ото всей залы здоровенным буфетом, затих с книгой. Рядом безо всякого дела сопел Мешок, а за буфетом туда-сюда вышагивал худобистый Степан Сергеич, неразборчиво перешептываясь сам с собой. Он изредка останавливался, звякал стаканом и снова принимался шагать и шептаться...

Если мне приходилось бывать в домах своих закадычных друзей без какого-то важного дела, то больше всех мне нравилось в гостях у Сереги. Только у нас с ним дома было много самых разных книг, не считая, разумеется, всяких школьных учебников, а в других знакомых мне домах — полный голяк. Ну разве что иногда можно было обнаружить извечную “Книгу о вкусной и здоровой пище” — вещь замечательно полезную для разглядывания и облизывания, без присутствия и тени мысли, что все это можно есть. Вообще же книги считались напрасным баловством по трате денег, и про тех, кто решался их покупать, говорили так же, как и про американских империалистов, что они “какаву с сахаром пьют и гогелем-могелем заедают”.

Книги занимали целую полку в магазине с вывеской “Культтовары”, и приобрести их можно было только сквозь

очень неодобрительное шипение продавщицы Антонины Павловны и общее осуждение случившихся в магазине покупателей.

Пройдет всего-навсего каких-то пять-шесть лет, и книги станут всем желанным дефицитом, а под книжный магазин отведут отдельную избушку с величественной Антониной во главе, которую в глаза станут называть только Тонечка Павлна, потому что книги у этой оборотистой тетки можно будет вымолить только из-под прилавка, купив в нагрузку что-либо из открыто стоящих на полках материалов очередного съезда. Но до этих трудностей из нашего пятого класса еще ох как далеко...

Тревожный бубнеж за буфетом мешал мне сквозь кружево гомеровских гекзаметров и чащобу непонятных слов высматривать невероятные шатания везучего Одиссея.

Серегин отец пил и шептался уже не сам на сам, а с нашим учителем немецкого Георгием Фитисычем, прозванным Аусвайсом, таким же длинным и плоским, как и Степан Сергеич, с таким же морщинистым, измятым жизнью лицом, а пожалуй, еще и с более измятым, короче — полный Аусвайс.

Малышней мы его побаивались и сторонились. Он тоже в войну был полицаем, и хотя нынче работал в школе, все равно враждебный и опасливый шепоток прочно отделял его ото всех вокруг в утрюмую нелюдимость.

Давним дошкольным летом я своими глазами видел невозможное зрелище: Аусвайс строго распекал участкового Александра Ивановича, который с тех пор неизменно почтительно приветствовал его, козыряя по всей военной форме.

Тем летом через нашу станцию вереницей шли шумные поезда на молодежный фестиваль, битком набитые всякими немцами.

Каким-то образом все точно узнавали, когда фестиваль-ный поезд и немцы в нем не пронесутся мимо, размахивая руками и смешно прыгая за открытыми окнами, а сделают остановку. Задолго до указанного времени мои земляки плотно забивали платформу и привокзальный сквер. Все взрослые наряжались в самое лучшее и мужественно потели в добротных выходных костюмах. Даже школьников заставляли гордо носить перед иностранцами честь Родины в обязательной школьной форме, которая в ту пору для пацанов состояла из жарких серых штанов, такой же рубахи под ремень типа гимнастерки и фуражки с кокардой. На малышню не обращали никакого внимания, и мы кружили в этой толчее без всякой ноши и безо всяких обязательств — счастливые и голопузые.

А потом останавливались ни на что не похожие вагоны в цветах и непонятных надписях, и начиналось нечто несусветное.

В плотную молчаливую торжественно-наряженную толпу на платформе вываливалась груда смеющихся дядек и теток в цветастых рубашках и коротких штанах. Все они вверху, над моей задранной головой, толкались, смеялись, лопотали, размахивали маленькими флажками, выпрашивали у пацанов и мужиков значки и награды, рассовывали прямо в руки заморские конфеты в сверкающих бумажках, а по сигналу вокзального колокола быстренько загружались в свои вагоны и беззаботно скалились оттуда каждый в свои полста ослепительных зубов.

Нам, малышне, тоже доставалось из тех конфет и даров, но еще требовалось сохранить эти богатства от дяди Саши, который объяснял, что конфеты могут быть отравлены и по этой причине должны быть решительно конфискованы в качестве улики, потому что среди иностранцев полно шпионов и других элементов. И вправду, с какой стати на фестиваль молодежи едет столько совсем не молодых дядек и теток? Ясное дело — шпионы. Но и согласные с дядей Сашей, мы все равно прятали от него вражеские конфетные дары. Часто они оказывались и не конфетами, а совсем даже непонятной жвач-

кой, которую и глотать нельзя, хотя некоторые глотали. Взрослые пацаны потом объяснили нам, что жвачка развивает челюсти в каменную крепость, чтобы не страшен был никакой боксерский удар, и долго еще весь поселковый молодняк жевал всякую несъедобную смолистую дрянь.

Примерно на третий день этого вокзального помешательства я и увидел, как здесь же в сквере Аусвайс, тыкая прокуренным пальцем прямо в блестящую мундирную пуговицу участкового, выговаривает ему что-то суровое и неслышное. Дядя Саша после каждого тыка в пуговицу брал под козырек, произносил: “Виноват” — и потом уже ни в этот день, ни в следующие не гонялся за нами, отбирая вражьи конфеты.

Во все те дни Аусвайс преобразился необыкновенно — у него даже походка из понурого плетения превратилась в пружинистое поспешание. А на платформе, когда он каркал про непонятное со своими немцами, он еще и радостно лыбился, бесстыдительно выставляя напоказ сильно прореженные судьбой желтые зубы.

Да и как ему было не радоваться, если все хорошее в своей жизни он только от немцев и видел? Говорят, что, и сидючи в тюрьме, он был приставлен к немцам переводчиком и те щедро делились с ним своими военнопленными пайками, которые не чета были баланде для своих. Вот и выходит, что одна радость была Аусвайсу — от немцев, а от своих — только опасливое недоверие.

Мы же с Серегой и почти с половиной школьных пацанов в придачу Аусвайса люто ненавидели, и совсем не по причине его полицейского прошлого. В пятом классе нам предложилиделиться на две группы: те, кто будет учить немецкий, и те, кто — английский. Везучие Тимка с Мешком записались на английский, а мы с Серегой попали к Аусвайсу. Но учителя английского в школу не прислали, и мы тупо потели по два урока в неделю, бешено завидуя приятелям, законно носящимся по

школьной спортплощадке. А если бы мы знали, что эта несправедливость будет продолжаться до самого окончания школы, мы бы там и вообще иссохли в этой своей зависти-ненависти. Иногда перед “англичанами” появлялись какие-то выпускники областного пединститута, но одни скоренько уходили в декрет, другие в замуж в далекие воинские гарнизоны, и удачливые “англичане” снова радовались на свободе.

А потом оказалось, что Аусвайс никакой не полицай, а самый настоящий герой, но даже эта открывшаяся правда почти не утишила ни нашей к нему ненависти (что все-таки можно понять), ни привычной настороженности остальных земляков, которую уже ничем ни понять, ни объяснить.

Это все раскрылось, когда семиклассниками мы сидели в битком набитом клубе на торжественном собрании по поводу двадцатилетия победы. Шишки из района и свои поселковые вставали из-за покрытого красным стола на сцене и по очереди произносили поздравительные речи про окружающих врагов и непобедимый советский народ.

Ровный гудеж в зале нарастал, перебиваясь во время смелых ораторов разнобойными аплодисментами, и все мероприятие катилось гладкой колеей к праздничному концерту. Из-за стола снова поднялся самый главный оратор и принялся что-то неслышное говорить. Из первых рядов зашикали на задних, те шикали дальше назад, и постепенно становилось слышнее: “...награда нашла героя... в сорок четвертом году награжден орденом Красной Звезды... наконец можем вручить... бесстрашному партизану Харитонову Георгию Фетисовичу... прошу подняться на сцену...”

Мы даже не сразу врубались, что речь идет о нашем Аусвайсе. Все заглядывались, но героя в зале не было. Объявили перерыв и снарядили гонца, благо Аусвайс жил неподалеку, а пока

что мужики дымили у клуба, даже не обсуждая, а как-то потрясенно обмалчивая услышанное. Скоро появился Аусвайс, продрался через несущиеся отовсюду приветствия и скрылся в клубе, а следом за ним и мы все наново втянулись в душный зал.

Аусвайс стоял на сцене с орденской коробочкой в левой руке и никак не мог освободить правую, которую беспрерывно трясли друг за другом все шишки, вылезшие ради этого из-за кумачового стола и толкотясь вокруг Аусвайса. А когда они оттрясли, отпоздравляли и уселись обратно руководить праздником, Аусвайс не спустился со сцены, а подошел к ее краю — бледнее бледного и как-то на глазах выпрямляясь из своей повседневной сутулости.

Мертвая тишина буквально залепила уши.

— Этот орден я заслужил благодаря Ульяну Домовскому, — проскрипел Аусвайс. — Пусть он пока полежит там же, где лежал эти двадцать лет, а когда Ульян сможет получить его вместе со мной — тогда да...

Аусвайс сделал шаг к президиумному столу, аккуратноенько поставил на него орденскую коробочку и потопал прочь.

— Постойте-постойте, — запротестовал-зарыдал главный застольник, — так же нельзя. Какой Ульян? Где он, этот Ульян?

— Ульян Домовский, — повернулся к ним Аусвайс от дверей. — Сейчас сидит в лагере... Безвинно...

Мы уже знали, что сидящие в тюрьме на самом деле сидят в лагерях, наподобие немецких концлагерей — с той лишь разницей, что фашисты в них изводили людей совершенно бесполезно, а наши с хозяйственной заботой укладывают своих в фундамент социализма, коммунизма и всего нашего светлого будущего.

На следующий день после скандального собрания Серега рассказал нам некоторые подробности из запутанных жизней Аусвайса и Домового, выведенные им у отца.

К началу войны Степану (будущему Серегину отцу), Ульяну и Аусвайсу какого-то годочка не хватало до призывного возраста, и поэтому все они болтались в поселке в ожидании известий о разгроме фашистских захватчиков. Степан крутился подручным у местного комсомольского секретаря, а Ульян с Аусвайсом по причине полной беспартийности шатались вообще без дела.

Выполняя поручения своего начальника, Степан непрерывно разъяснял любым встречным односельчанам, что нельзя предаваться панике и бежать сломя голову неведомо куда, потому что не сегодня завтра Красная армия заманит врага в хитро подготовленную ловушку и искромсает в клочья. Его слушали, хмыкали, уходили прочь, но возвращались уже по несколько человек и заново слушали, прикидывая, что делать. Он так увлекся этой порученной ему работой, что напрочь прозевал распоряжение тающих на глазах властей об эвакуации.

Надо сказать, что в это же время местный раввин тоже собирал своих соплеменников и тоже разъяснял им, что не надо предаваться панике и бежать неведомо куда сломя голову, бросая нажитое хозяйство. Но не потому, что Красная армия хитрым обманом заманит немцев в ловушку, а потому, что красные все время всех немножечко сильно обманывают и не надо верить их ужасным басням про немецкие зверства, ведь немцы — очень культурный народ, и когда в 14-м году...

В общем, и молоденький Степан, и старый раввин — оба как в воду глядели.

Раввин вместе с поверившими ему соплеменниками перед скорой смертью успел еще сполна хлебнуть от немецкой культуры в наскоро организованном гетто, а Степан с начальником-секретарем укрылись в лесу, благо леса вокруг такие, что укрыться там можно было всему партийному и беспартийному населению.

Постепенно к ним прибилась еще пара десятков таких же проникательных коммунистов и комсомольцев, включая пя-

ток потерянных красноармейцев. Первое время просто выжили на мелком грабеже и подаяниях, а потом от местных жителей прознали, что немцы предлагают хорошую плату за информацию о партизанах, и сразу почувствовали себя партизанами. Ими и стали. Правда, из оружия был один только дробовик, наган без патронов и несколько охотничьих ножей, и поэтому немцев пока не трогали, но уже и земляков не грабили, а производили конфискации именем партии, Родины и партизанской чести.

После случайного столкновения с нескладистым немцем за ними началась охота, так что пришлось в спешном порядке осваивать партизанскую науку — и освоили. Секретарь со Степаном стали командиром и заместителем командира партизанского отряда, а Ульяна с Аусвайсом, которого тогда дразнили совсем даже Жоржиком, они надумали заслать своими разведчиками в полицию.

Как-то довыживали до 42-го, а там до гениального Сталина дошло наконец, что партизаны хоть и не взорвали себя перед приходом немцев вместе со всеми мостами, дорогами и домами, хоть и остались самоуправно на оккупированной территории, но стали все-таки реальной силой и руководить этой силой должны не какие-то степаны, а специальный штаб, который в срочном порядке и организовали в Москве под боком у Самого, чтобы он мог при случае приказать и наказать. Из Москвы в глухие леса на парашютах и своим ходом помчали кучу крепких парней, и добравшиеся до места принялись наказаниями партии, жутким матом и еще более жуткими наганами сбивать независимые партизанские шайки в регулярные отряды, полностью управляемые партией и ее гениальным полководцем Сталиным.

Степанова командира, вкусившего атаманских сладостей, шлепнули тихой ночью, и наутро весь его отряд дружно влился в правильное партизанское формирование с командиром, одетым по форме, и своей партизанской партийной организацией, к которой осиротевший Степан и прибил. Про Улья-

на с Аусвайсом он никому не сказал, то ли и правда спасая их от возможного партизанского стукача, то ли для единоличного использования к собственной выгоде, потому что информация Ульяна и Аусвайса помогала Степану хорошо подсказывать детали всяких операций, особенно в операциях по быстренькому уходу из мест возможного появления фрицев. Скоро Аусвайс блестяще отточил свои школьные знания немецкого и стал личным переводчиком коменданта, а Степан блестяще воспользовался работой Аусвайса и возглавил партийную организацию всего партизанского отряда.

Летом 44-го Красная армия, как когда-то и предвидел Степан, вернулась в наши родные края крошить и кромать немцев. Партизанам приказали в помощь наступлению освободителей активизировать свои действия, взрывать базы, коммуникации, дороги, мосты, все на свете, включая опять же дома, хотя, по нормальной логике, казалось бы, все это теперь надо стараться сохранять и, наоборот, не давать взрывать немцам, а не бабахать с ними вперегонки. Впрочем, одно дело — нормальная логика, а другое — священная война любой ценой.

На поселковой станции фрицы соорудили крупную нефтебазу. Командир Степкиного отряда клюнул на посулы награды и повышения и рапортнул в Москву, что обязуется базу взорвать, но взорвать — не рапортнуть. Охрана базы организована грамотно, подходы замечательно простреливаются, штурмовать бесполезно, подобраться невозможно. Вот тут Степан и сообщил про своих личных агентов, преданных ему (и делу партии, разумеется) до последней капли. Ульяна с Аусвайсом подключили к разработке операции — Аусвайс разработал, а Ульян исполнил.

Ульян к тому времени начальствовал над воинской конюшней, среди лошадей пропадал круглосуточно, любил их и холил, и они отвечали ему ответной любовью, а немцы, наблюдая такую привязанность и такое взаимопонимание, всячески выделяли Ульяна из кучи бессмысленных полицаев: ода-

ривали шнапсом и сигаретами, хлопали — гут-гут — по спине и наперебой звали в Неметчину — работником в свои личные имена.

И вот, в исполнение придуманного Аусвайсом плана, охрана нефтебазы увидела, как прямо на шлагбаум очертя голову неслется взбесившаяся лошадь, рассыпая хлопья пены и громыхая впряженной комендантской бричкой. Рядом бежит конюх Ульянов, пытаясь остановить любимую комендантом лошадь, сзади отстал комендантский переводчик и орет оттуда по-немецки, чтобы спасли породистое животное. Немцы хохотом и выстрелами в воздух продлевают забаву. Ульянов понял, что заигрался, и начинает отставать, бричка сбивает шлагбаум, врывается на базу и летит к распределительному узлу — взрыв, пламя, дым до небес, партизанское ура, штурм и раздача орденов...

Степан лично представил к орденам Аусвайса и Ульяна, но героев на месте выдачи наград не оказалось — не судьба.

Комендант не захотел расставаться со смышленным переводчиком и забрал его с собой в отступление. Аусвайс все не мог сорваться от благодетеля к своим, и в конце концов ему пришлось тюкнуть коменданта по темечку и срываться вместе с бессознательным немцем на горбу. Это его и спасло от Смерша, тюрьмы и других обыденных неприятностей, хотя его и промурыжили с полгодика в фильтрационном лагере с военнопленными, халявно пользуясь его переводческой помощью.

А вот Ульянов отгрел сполна. Там у нефтебазы его сильно тряхнуло, и он отлеживался в поселке. Понятно, что после освобождения добрые соседи настойчиво стучотали на него куда надо, но на очередном допросе Ульянов снова и снова повторял всю правду про себя. Его били, потом разыскивали Степана — уже крупного партийного работника районного масштаба, брали у того показания, подшивали в дело и отпускали Ульяна домой. Так повторялось несколько раз, и за это

долгое время Ульянов успел жениться, носил жену на руках и, понимая, что здесь односельчане им жизни не дадут, хозяйственно планировал переезд, но — не успел. Его снова взяли, но на этот раз Степан оказался в далекой командировке по делам партийного строительства счастливой послевоенной жизни — и Ульянов исчез надолго...

Мы потрясенно молчали. Война, казавшаяся такой же далекой, как революция или гражданская бойня, была рядом с нами: вчера еще в ней сгорали наши отцы, корчась посейчас болью тех ожогов, и поэтому она становилась и нашей войной, иначе с чего бы ее полымя обжигало сейчас наши взволнованные сердца?.. Сколько же боли на нашей земле! Любая другая страна давно бы уже захлебнулась в ней, но нас спасает огромность наших пространств, по которым эта болючая боль вольно гуляет и растворяется почти без остатка...

— Лошадь жалко, — подытожил услышанное Мешок.

Мы дружно хмыкнули-фыркнули-ёпкнули, но сразу же заткнулись, потому что в этом неожиданном итоге была невозможная и невыносимая правота.

— Надо бы Толяну рассказать, — предложил Тимка, — пусть порадует за отца.

Сына Домового не взяли в армию — может, и вправду по недостатку здоровья, а может, из-за посаженного родителя, и он работал на древесной фабрике, где заколачивал на жизнь, сколачивая табуретки.

Назавтра мы дождались его после смены. Сначала он шуганулся прочь, но потом врубился, с любопытством оглядел нас и позвал к себе. За провисшими воротами, на порушенной скамейке у дома под самодельное вино из некогда желанных яблок

Толян со слов родителей и малой частью из собственной памяти рассказывал нам про отца (не мы ему, как собирались, а он нам, потому что ничего нового мы ему рассказать не могли).

“Когда папаню забрали, мамка уже была сильно беременна... Она — к дядьке Степану, а того нет... Туда-сюда — никакой помощи, и со всех сторон только и слышно: “полицейская шалава”... А папаню тем часом вместе с десятком бедолаг конвоируют пёхом в район. Людей у них не было, и конвоировать взялся смершанный офицер совершенно пиратского вида — с черной повязкой через мертвый глаз... Мамка тем утром, когда их в район снарядили, у этого одноглазого в ногах валялась — молила передать одежду и мелочевку для жизни, так тот ее ногой отталкивал, сапогом катил прочь на глазах бати... В общем, ее прогнал, а их погнал... А там больные, избитые — плетутся еле-еле, и тридцать с гаком верст до района за день ну никак им не одолеть... Одноглазый и дрыном и матом — никак. Он остановил кого-то на “козелке” и передал в район, чтобы присылали подмогу, транспорт, конвоиров, а стадо свое сбил на обочине в кучу, что баранов, и ждет... Время холодное, считай, зима уже, но без снега пока что — всех пробрало до дрожи. Затеяли костер. Хворост ломали у обочины и ждали пули в спину — так запутал всех. Ну, развели костер, а одноглазый требует еще один — персонально для себя, и прицепился к папаше, поднимает его от костра пинками. Тут отец схватил горящий сук из костра и циклопу этому в харю. Вой, мат, все — кто куда, а тот сослепу садит из автомата в белый свет... Отцу бы ноги в руки — и куда подальше, а он вертается обратно, мамку забрать, ну а она аккурат начала меня рожать... Короче, там его и повязали и погнали совсем смертными лагерями до Колымы — чтобы уже не бегал... Но сбегали и там, чтоб хоть помереть на воле, когда совсем уж невмоготу... Там, по рассказам батяни, даже людоедный промысел был. Вольные из освободившихся блатарей подмывали там золотишко в летучих артелях, и в одну

весну такой голод случился, что отлавливали они этих бегунов и ими подъедались... В общем, доходил он на этом гибельном лагпункте окончательно. Там и вообще живые мертвецами гляделись и мертвецам завидовали — чистый ад. И там как-то неожиданно приручилась к нему сторожевая овчарка. Папаня всегда имел способность дружить с разной живностью — вот так и случилось. Большой лагерный начальник приехал на папаню смотреть — похмыкал в усы и забрал с собой. Жонка его, сумасбродная стерва со странным именем Кира, развела для своего удовольствия зоопарк — вот в тот зоопарк батю и определили. Зверей там держали в холе и сытости, ну а с людьми обращались как со свиньями, но папаше перепадало от звериного прокорма, и он очухался. Эта Кирка даже фаловала его в любовники, но тут он остерегся... И так долгие годы... Мамка сначала хлопотала, понукала дядьку Степана, чтобы он писал, ждала, но все зря... Тогда она стала попивать, а говорили, что и баловать. В общем, когда отец вернулся через много лет и вошел в дом, тут пир горой и куча собутельников... Папаня взялся все и всех колотить и поубивал бы всю шоблу, честное слово, но я схватился за его ногу и реву в три ручья, а он подхватил меня — “Телёма-Телёма” — и тоже в глазах слезы...”

Мы избегали смотреть друг на друга, чтобы не выдать ненароком, что и у нас, как у его папаши... ну, в общем, откашлялись, будто попало что-то в горло, чокнулись, понукнули сгорбленного отдельно Мешка, а когда он повернулся к нам, увидели его страшные глазищи — черными провалами на полотняно белом лице, точно как те иконные глаза из его дома.

Через пару месяцев после неожиданного награждения Аусвайса и его возмутительной выходки вместо ожидаемого “Служу Советскому Союзу” вернулся и сам Домовой, точнее — тень Домового. Он высох до костей, потемнел, все вре-

мя кашлял и через полгода тихо помер, не только ни разу не ударив свою жену, но даже и не повысив на нее голос.

А там, в Серегинном доме, в день, когда Домового увезла из его жизни шикарная “Победа”, ни мы, пятиклашки, ни взрослые Степан Сергеич с Аусвайсом и представить не могли, как счастливо все переобернется через несколько лет.

— Я напишу, — Степан Сергеич, пригрозил кому-то в окрепший голос, — я все пропишу.

— Да сколько уже можно с этой тяготящейся писаниной? — возразил Аусвайс. — Ехать надо, ехать к районному начальству — и требовать.

— Тут не к районному, — вздохнул Серегин отец, — тут в область надо.

— Ну так поедем в область, — не отпускал его Аусвайс. — Не прежние времена — отпустят.

— А ты уверен, что тебя самого не посадят?..

— Но тебя-то точно не посадят.

— Наверное, не посадят, но такую проработку могут устроить — жить не захочется.

— Все равно надо ехать.

Скрипанула дверь, и туда в залу ворвалась Серегина мамаша. Наверное, Зинаида Петровна слышала последние слова и закричала-запричитала еще даже раньше, чем дверь захлопнулась за ней.

— Степа никуда не поедет, у Степы семья, мы не можем так рисковать...

— Не лезь куды не след, — заорал Степан Сергеич, дробно звякая бутылкой о край стакана.

— И что эт-то творится? — более миролюбиво протянула Зинаида Петровна, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Война давно закончилась, а людям все житья не дают. Они опять гайки закручивают, да, Степа? Хрущев лезет в новые Сталины? Ему тоже сажать приспичило?..

— Это дело большой политики, — взялся пояснять Аусвайс, пока Степан Сергеич отмалчивался. — Я в немецкой газете читал. В ответ на наши требования судить военных преступников без срока давности какой-то из их политиков сказал, что мы своих преступников-полицаяев повыпускали, а с них требуем. Вот и завертелось...

Повисла гнетущая тишина, и, преодолевая ее, Зинаида Петровна взялась хлопотать с закусками и говорить-говорить о хозяйственных делах, о том, что надо сделать завтра, вздыхала о бедном-бедном Ульяне, в общем, по-всякому стремилась добиться своего — чтобы Степан Сергеич и думать забыл о каких-то поездках и опасных защитных хлопотах...

Потом она заметила нас в укромке за буфетом и начала ласково выпроваживать:

— Идите, мальчики, на улицу. Погода замечательная, а вы тут киснете в духоте...

— Это я виноват, — буркнул Мешок, направляясь следом за мной на выход. — Я посадил Домового.

— Какого Домового? — заорал Степан Сергеич, но сразу врубился и подскочил к Мешку. — Как ты его посадил? — затряс он Мешка. — Ты писал куда-то? Куда ты, паршивец, писал?..

— И ничего я не писал, — вырывался из его рук Мешок. — Я просто — захотел.

Степан Сергеич оставил Мешка в покое и что-то обдумывал там вверху над нами, куда мы головы не задирали и поэтому видели только его дрожащие пальцы.

— Лучше бы ты захотел Аусвайса, — пошутил я над Мешком, выходя из дому.

— Ты точно никуда не писал? — грозно окликнул Степан Сергеич Мешка, высунувшись из дверей.

— Что ты цепляешься к нему? — Серега налетел на отца нам в помощь.

— Давно пора разогнать всю вашу банду. — Серегин отец хмуρο оглядел нашу компанию и скрылся в дому.

Как же — разгонишь!.. Теперь уже поздно разгонять — теперь мы дали клятву, и никому постороннему ее не превозмочь, а сами мы никогда ее не нарушим, потому что нарушить такую клятву — это самое последнее, что может сделать мужчина.

Как-то целый вечер я рассказывал друзьям, какие замечательные мушкетеры жили когда-то на белом свете. Сначала они мне не очень поверили, тогда я предложил почитать книгу, в которой вся эта правда о мушкетерах написана, и даже притащил книгу им показать, но только Серега взялся читать, а Тимку и Мешка она испугала своей толстотой. Через пару дней Серега сказал, что все мной рассказанное — правду. А потом в клубе показали цветной фильм про мушкетеров, и хотя книга была правдой фильма, никто уже не сомневался в моих словах, и мы поклялись “один за всех” и ждали своих кардиналов и рошфоров, чтобы немедленно победить их всех...

Так что теперь не разгонишь.

Да и раньше трудно бы было нас разогнать, потому что мы все вчетвером давным-давно в совсем мальковом возрасте сразу и крепко сдружились. Точнее, сначала сдружились мы с Тимкой, а потом появился Серега, а еще потом мы подтянули к себе Мешка. Но сначала был Тимка...

2. Тимка (На той стороне)

Тимка жил на той стороне — за железной дорогой.

Ну какой нормальный человек по собственной воле будет жить на той стороне, если все-все, что только надо для жизни, находится у нас? Даже все то, что не очень надо и без чего жизнь была бы куда веселее, — тоже у нас. Например, школа, или амбулатория с зубосверлильным кабинетом, или милиция в ржавых решетках. А еще магазин, чайная, клуб — в общем, все. И вокзал с колоколом у нас. Поэтому, когда приезжает поезд, двери вагонов открываются в нашу сторону и все выходят к нам, а тем, кто живет на той стороне (за железнодорожными путями), приходится или давать невыносимого кругая до переезда, или карабкаться через товарные составы, оскальзываться на рельсах, а то и нырять под вагоны. И было бы для чего! У них же там вообще ничего интересного нет. Вот почему, как правило, не мы ходили к ним на ту сторону, а они к нам.

А полазай вот так под вагонами каждый день, да еще с авоськой или портфелем... Страшно ведь. В колокол звонят только для пассажирских поездов, а товарняки отправляются без предупреждения. Может, от этого постоянного страха пациенты с той стороны были какие-то стебанутые и ходили они по нашим улицам не так, как мы, а с опасливой оглядкой, как будто мы здесь — все сплошь дикари и можем напасть тиш-

ком, без предупредительного сигнального свиста. При этом все они были злобными и коварными, и если вдруг случалось мне с приятелями забредать на ту сторону, то приходилось все время быть начеку, так как в любой момент из-за любого забора мог раздаться оглушительный свист, и тогда уж — только лететь пулей на свою сторону...

Я, конечно, помнил, что давным-давно, когда я еще ходил в детский сад, на нашей стороне тоже жило много опасных пацанов, но все они были не с нашей улицы. Да и злобность их была куда более отходчивая — главное было успеть проскочить пару переулков и свернуть на свою улицу, и они сразу же успокаивались и уматывали к себе, цвиркая тонкими плевками вполне даже миролюбиво.

Кстати сказать, это необыкновенное умение меткоплевать долгое время было предметом моей жгучей зависти, и, осмыслив теоретически все необходимые условия для развития желанного таланта, я принялся целеустремленно раскачивать передний зуб.

— Ты что — хочешь быть щербатым? — попробовала выставить меня на смех моя первая учительница Елизавета Лукинична, заметив мои усилия.

— Ага, — честно ответил я.

Смеха не получилось, и, наверное, поэтому Елизавета Лукинична мигом доставила меня в кабинет директора, где долго втолковывала ему, в чем именно я провинился. Директор как-то подозрительно слушал, приоткрыв свой малозубый рот, и, по-моему, все равно ничего не понял.

— Береги зубы смолоду, — единственное, чем он нашелся меня наставить, когда учительница ушла дорассказывать свою арифметику.

Я вспомнил, что по-правильному эта поговорка звучит иначе, и спросил, что же главнее надо беречь смолоду. Директор задумался, поглядывая на меня искоса, как будто ожидая

какой-то подянки, но ничего больше не дождался и отпустил. Так я дуриком прогулял урок арифметики, благодаря чему сумел докачать свой зуб до полного уничтожения.

Теперь я уже с полным правом заслужил прозвище “щербатый”, ничуть не воспринимая его чем-то обидным. Конечно — щербатый. А еще — “лысый” (до пятого класса в нашем поселке мальчишек поголовно стригли налысо), “малек” (так звали всех пацанов до того же пятого класса — то есть до перехода из начальной школы в нормальную, когда по каждому предмету полагался отдельный учитель, а на голове родители позволяли оставлять чубчик), “буйный” (из-за того, что в прелюдии любой драки я заметно подрагивал непослушными руками, а в самой драке в какой-то момент вдруг пер напролом, переставая уворачиваться от пинков и ударов, но на самом деле я жутко боялся драк — панически, до подрагивания рук и ног, и, как правило, все это куда-то исчезало после первой же пойманной звездюлины). Иногда два прозвища объединялись, и тогда меня звали “буёк”, но и в этом тоже не было ничего оскорбительного. Даже швыряемый в меня выкрик “пархатый” по вполне простительному малолетству и неистребимому благодущию я не воспринимал как оскорбление, полагая это слово абсолютным синонимом слову “щербатый”.

Однажды мы с моим соседом Сашкой сцепились из-за какой-то никчемшной ерунды и мутузили друг друга до полной потери сил.

— Пархатый, — просипел Сашка, отползая к своей калитке и с трудом поднимаясь на ноги.

— На себя посмотри: ты сам — пархатый. — Я отдыхивался на четвереньках.

Сашка онемел, а потом с воплями возмущения понесся к себе во двор, где, лениво поругиваясь, гремели чем-то по хозяйству его родичи. Оттуда он вернулся со своим старшим братом Мишкой (не Мешком, с которым мы позже сдружимся, а просто Мишкой).

— Ты что буровишь, малек? — Мишка вздернул меня на ноги. — Какой он тебе пархатый? Может, скажешь, что и я пархатый?

— А какой же еще?! — Я просто обалдел от такого наглого отрицания очевидных фактов. — Да ты посмотри на себя! У вас дома что, зеркала нет?..

Мишку аж передернуло. Потом он завидно цвиркнул точно в ствол рябины и вместе с братом скрылся у себя во дворе. Некоторое время там ворчали что-то неразборчивое, а дальше голоса крепки.

— Не пойду я к его матке, — отнекивалась оттуда Сашко-Мишкина мама. — Что я ей скажу? Она же не ходит ко мне жаловаться на наших балбесов.

— Чой-то я не пойму! — заорал на нее глава семейства, а я от этого ора быстренько скрылся за своей калиткой.

Но на следующий день мы с Сашкой снова играли вместе, потому что при всех наших ссорах мы все равно были с ним друзья-товарищи — соседи, с одной улицы, свои...

Другое дело — та сторона.

А совсем скоро я стал довольно часто бывать на той стороне, с каждым разом все более и более высвобождаясь из привычной опасливой настороженности. Ходил я домой к Тимке из нашего второго “б” класса, которого, несмотря на то что он был Тимкой, правильно звали вовсе не Тимофеем, а совсем даже Вовкой. Новое имя ему досталось благодаря его же захлебывающимся рассказням. Он почти полностью уверил всех нас, что видит в темноте не хуже, чем при свете, а самое главное в его выдумках там, в темноте, и происходило. Начало очередного рассказа всегда было однообразно, как в сказке:

“Привела, знач-т, мамка этого дядьку... То-се, трали-вали... Я делаю вид, что сплю. Тут они свет выключают — и на кровать. Ти-има вокруг!.. А я-то вижу. А там такое...”

Вот из-за этого протяжного “ти-има” Вовка и стал Тимой, а уж видел он на самом деле в темноте или не видел — этого точно установить пока что никто не мог, но подробные пере­сказы того, что он, по его словам, видел, вызывали некоторые сомнения в его правдивости. С какой бы это радости нор­мальные с виду люди вытворяли над собой такие издеватель­ства? Впрочем, многое объяснялось тем, что все они были с той стороны...

Впервые Тимкину родительницу я рассмотрел, когда при­шел к приятелю в самом начале зимних каникул. Веселая и ослепительная женщина была совсем не похожа на утрюмую тетку, с которой я иногда сталкивался на улице, и уж совсем было не похоже, чтобы каждую ночь ее так вот мордовали, как рассказывал нам Тимка.

— Ты к Вовке? Проходи-проходи... Мальчики, я сбегаю на ту сторону и принесу вам чего-нибудь вкусненького, а вы тут ве­дите себя хорошо...

Я сразу понял, что она, как говорится, ку-ку, и почти по­верил выдумкам Тимы. На ту сторону она сбегает! Как это можно сбежать на ту сторону, если ты уже на той стороне?

Я откуда-то знал, что с такими странными людьми лучше не спорить, и промолчал, а когда вошел в горницу — так и совсем онемел. У них там вместо елки стояла разнаряженная сосна. Это же ни в какие ворота! Это все равно что Бабу-ягу обрядить в Деда Мороза...

Справедливости ради надо признать, что на школьных ут­ренниках примерно так и было, когда старшая пионервожатая в дедморозовской шубе топотала свои опостылевшие хоро­воды. В первом классе, когда я еще надеялся, что и вправду к нам сюда пришел настоящий Дед Мороз, Витька Шидловский по­дергал его за рукав красной шубы и спросил, кто главнее — он или Дорогой Никита Сергеевич? Тут-то все и раскрылось. Пионервожатая Таисия орала, отплевывая белые усы, а мы ми-

гом шуганули прочь, подбирая конфеты из разрывающихся в давке подарочных кулчков. Теперь-то я знаю, что никаких Де-дов Морозов на самом деле нет, по крайней мере у нас. Где-то в Москве, может, и есть: там же самая главная елка в стране — туда он и приходит. Ну так и там елка, а не сосна.

Тимкина мама перед уходом разрешила нам полакомиться карамельками с новогодней сосны (“Смотрите не объешьтесь”), а за это мы должны будем помочь ей развесить новые конфеты, когда она их принесет (“Только фольгу не рвите — мы в нее завернем другие”).

В общем, если присмотреться, то сосна ничем даже и не хуже елки...

Но все равно весь этот замечательный день закончился невероятным безобразием...

На задах Тимкиного переулка земля проваливалась в глубокий овраг, и на его животе была оборудована великолепная горка, а над ней — на здоровенной раскоряченной сосне — еще более великолепные качели: доска на замерзшей в ледяной трос веревке взлетала прямо в небо, чуть ли не выше самой сосны и ух как высоко над нетронутыми сугробами, стоявшими четкую лыжню на дне крутого оврага. Мы по очереди раскачивались на качелях и сигали в сугроб внизу — кто дальше, а потом снова карабкались к сосне и неторопливо выбивали снег из валенок, примериваясь к сладостному ужасу следующего прыжка.

Когда мы вскарабкались очередной раз, нас окружили здоровенные парни — может, даже семиклассники, а может, и постарше.

— Что-то мелюзга совсем оборзела...

— Как вы (мать... ля...мать...) посмели порушить лыжню?

Я тяжело дышал, пар пер от меня во все стороны, и на то, чтобы очень сильно испугаться, у меня просто не было сил. Но и в таком виде я понимал, что претензии нависшей над нами

стаи были в основном справедливые. Лыжню, специально выбитую к аккуратному трамплину, мы истоптали в полную непригодность. Кроме того, все они были на своей стороне, и по извечным правилам жизни даже и безо всякой лыжни им полагось гнать меня взашей и от своих качелей, и от своей горки.

Мне следовало немедленно тикать во весь дух, но сейчас и на это не было сил.

— Ты, Вован, чеши домой, а этому (мать... ля... хатому...) мы сейчас будем зубы выправлять.

(И этим моя щербатость мешает.)

— Давай, как я. — Тимка подкатился под ноги самому здоровенному дылде, сбил его и вместе с собой покатил в овраг.

Я прыгнул следом, а за нами посыпались остальные. Тимкин план отступления был самым дурацким из всех возможных, потому что мы завязли в глубоком снегу, и все преимущества нашего неожиданного рывка сразу же сошли на нет. Нам навесили звездюлей по самые макушки, затолкали вниз головами в сугроб, до крови ободрали льдистой снежной коркой носы и уши и оставили на истоптанном снегу, унеся с собой в виде трофея Тимкин валенок. Они нацепили этот валенок на палку и шли, размахивая им, будто победным знаменем.

Вот это было неправильно. Всем известно, что бить и изничтожать можно у человека только то, что принадлежит ему целиком. Вот, например, наши физиономии — они целиком наши, их и бейте, если можете, а валенки и другая одежда — это все не совсем наше, а скорее родительское, и это все нельзя не то чтобы забирать, но даже рвать или как-то еще портить, за чем, разумеется, в драке уследить трудно, и именно поэтому приходится иногда признавать некоторую справедливость родительских затрещин вдогон полученным в мальчишеской сваре.

Я прикладывал снег к расквашенному носу, а Тимка тихо и задушевно матерился. Голова кружилась, и яркие капли крови на снегу казались удивительно красивыми.

— Смотри, как здорово, — позвал я Тимку полюбоваться и полежать рядом со мной в этой красоте.

— Это еще не здорово — здорово еще будет, — прошипел Тимка. Глаза его косили, и смотреть в них было неприятно. — Вставай, чего разлегся?

Мы обмотали его ногу моим шарфом и полезли к засветившимся уже окнам нависших над оврагом домишек. По дороге Тимка подобрал здоровенный дрын и потащил меня дальше мимо незнакомых заборов неведомо куда. Наконец он остановился у какого-то дома, шибанул ногой завизжавшую калитку и протопал на крыльцо. Дверь была заперта, и Тимка затарабанил в окно.

— Выходи, Соловей, я тебе что-то спую...

— А ну марш отсюда, паршивцы! — заорал, выходя на крыльцо, Соловьев-старший, здоровенный, неровно бритый мужик.

— Пусть твой непаршивец валенок вернет.

Тимка топнул разутой ногой.

— В овраге валяется твой валенок. — Соловей-младший выглядывал из-за спины отца. — Иди и ищи...

— Пусть он сам найдет и принесет мой валенок! — заорал Тимка. — Откуда я знаю, куда он его выбросил?

— Какой валенок? — встречно загредел главный Соловьев. — Пошли вон отсюда!..

— Ах, гады!.. Вот вам!..

Тимка попробовал достать дрыном своего обидчика, но тот увернулся, и удар пришелся по боку его отца. Тот не успел еще ничего сделать, а Тимка размахнулся снова и саданул по звонко лопнувшему окну.

Это было совсем неправильно. Это даже хуже, чем валенок...

Нас схватили за шивороты и трясли, как нашкодивших котят, а мы только мявчили что-то, захлебываясь страхом и невольными слезами. Может быть, нас бы и прибили там вконец, но к дому притархтел мотоцикл, и дядя Саша оста-

новил самодельную экзекуцию, взяв дело расправы в свои властные руки.

Непонятно, откуда дядя Саша узнавал про всякие происшествия, но, как правило, он успевал появляться в самый разгар очередного безобразия. По-правильному его звали Александр Иванович Бураков — наш единственный поселковый милиционер, неотделимый от своего трофейного мотоцикла с коляской: то он едет на мотоцикле, то ремонтирует его у себя во дворе за открытыми настежь воротами, то поглядывает на него из-за решетчатого окна милицейской избы. Дядю Сашу в поселке уважали все, но все равно боялись и предпочитали держаться подальше, несмотря на всю его общеизвестную справедливость, честность и мудрость. Мы, например, никогда не решались трясти яблоки в его саду, и они там выростали в невероятных количествах, ломая ветки и падая бесполезно на землю. Дядя Саша вздыхал и часто сам угощал нас своими яблоками, но и после этого никто не осмеливался забраться в его сад. Дядя Саша ведь всегда был, как говорится, при исполнении — всегда в сверкающих сапогах, в синих галифе и красивом синем кителе с капитанскими погонами и тремя рядами орденских планок (только весной и осенью надевал он сверху вечного кителя защитную плащ-палатку, а зимой — овчинный полушубок).

— Так-так, — постучал носком сапога в колесо мотоцикла дядя Саша. — Малолетних бузотеров я забираю, а взрослых прошу самостоятельно явиться ко мне в отделение.

Мы с Тимкой устроились в коляске мотоцикла, а Соловей — на заднем сиденье. Если бы не слабость и колыхающаяся волнами снежная дорога, то я бы, наверное, был абсолютно счастлив, но и так я не сомневался, что мне завидуют все, кто только меня сейчас видит.

— Бандитов споймал? — проворчал милицейский сторож и истопник Шидловский, однорукий и кособокий мужик, изве-

стный в поселке своими бесконечными запоями и ежегодно рождающимися детьми, общее количество которых он, пожалуй, и не представлял. — Герой какой — один троих бандитов зарестовал...

— Ты печь растопи и проветри здесь — ишь, надымил...

По мнению учителей, родителей и прочих взрослых, семейства Шидловских следовало всячески сторониться. Но сторониться их никак не получалось. Жили они в соседнем от меня переулке, и по своей многочисленности кто-то из них всегда оказывался участником любой игры и любого более предосудительного начинания. Да и в любом классе был кто-то из Шидловских, а значит, сразу же рядом оказывались и другие их братья и сестры, и своей шумной, дружной и веселой бесшабашностью они мигом испаряли в ничто любые предостережения ничего не понимающих взрослых. Правда, самого главу семейства мы все побаивались. Особенно когда он, сильно пьяный, шатался бессмысленно по улицам и орал военные песни. Иногда он не мог даже добраться домой и затихал под чьим-то забором, и тогда очень быстро за ним прибегала его замученная маленькая жена с кем-нибудь из детей, грузили его на старую тачку и везли домой, нисколько не смущаясь осуждающих взглядов из-за заборов. И это было замечательное зрелище, потому что на тачке отец семейства просыпался и начинал горланить очередную песню, и тут же ее подхватывала его жена, а пела она так здорово, что сам Шидловский замолкал и только мычал и жмурился от удовольствия, непослушной рукой дирижируя пением жены и движением колесницы.

На прошлые ноябрьские, когда всю школу с портретами и плакатами вывели на праздничный митинг, я впервые увидел Шидловского абсолютно трезвым. Поселковые начальники вместе с нашим директором стояли на трибуне и что-то торжественное говорили по очереди в свистящий микро-

фон. Рядом с трибуной был дядя Саша в сияющем кителе, на котором по случаю митинга сверкали вместо колодок самые настоящие ордена и медали. Мы все стояли перед трибуной, заполняя весь пятачок, откуда расходились в разные стороны четыре основные улицы, а где-то за заборами суежилась малышня, не допущенная по малолетству и неразумности к участию в торжественном событии. Раньше и я был среди них, пытаюсь через щели забора рассмотреть, чем же таким интересным собрали на главном поселковом перекрестке всех наших людей, в праздничных одеждах немного не похожих на самих себя. Сейчас я впервые оказался участником митинга и вертел башкой во все стороны, стараясь разгадать ту же загадку.

Шидловский появился рядом с трибуной и тоже был не совсем похожий на себя. На его густой седой шевелюре торчала блеклая пилотка, а на заштопанной излинявшей гимнастерке сверкали военные награды, которых было, может, и не меньше, чем у дяди Саши. Даже сапоги у него были начищены не хуже, чем у дяди Саши. Но дядя Саша все равно глядел на него с явным осуждением. Он даже поправил свой ремень с кобурой и что-то непонятное показал рукой. Я не отрывал глаз от них и видел, как Шидловский ему подмигнул — нагло и весело.

В руке у Шидловского был портрет Сталина в военном мундире с золотыми погонами. Ни у кого больше такого портрета не было. Над нами колыхались какие-то толстые лица, из которых знакомым было только лицо Никиты Сергеевича. Портрет Шидловского был сделан на совесть — на крепкой ручке и в мощной раме. Неожиданно Шидловский углом своего портрета тюкнул в ближайшее изображение Никиты Сергеевича, пробив в его лбу рваную дыру. “Бей Хруща!” — заорал Шидловский и тюкнул по второму портрету.

Больше тюкнуть он не успел. Раньше, чем люди вокруг в полную силу возмутились, дядя Саша ловко заломил Шидловскому руку и увел с собой, унося в свободной руке ста-

линский портрет. Дядьки на трибуне делали вид, что ничего не случилось, и только один помахал, чтобы порванные портреты не выставляли над головами, а убрали куда-нибудь с глаз долой.

Недалеко от меня испуганно перешептывались многочисленные Шидловские, договариваясь после окончания митинга идти смотреть, как их папку будут допрашивать в милиции. Я увязался с ними, и через какой-то час мы буквально облепили окна милицейской избы, разглядывая две сторбленные спины — в кителе и гимнастерке — и вслушиваясь через открытую форточку в невнятные голоса.

— Говно твой лысый, — в два раза выдохнул Шидловский, наливая водку в стакан.

— А твой усатый — вообще сука, — отозвался дядя Саша, звякнув орденами.

Портрет Сталина стоял в углу, а сам он, слегка прищурившись, очень даже неодобрительно смотрел прямо на нас. Потом дядя Саша обернулся к окну, и у него было такое незнакомое лицо, что мы враз бросились врассыпную.

Наверное, я на какое-то время куда-то провалился, потому что, когда я открыл глаза, в комнате милицейского отделения галдела куча народу. Мама Тимки о чем-то ругалась с моей, а родители Соловья наседали на дядю Сашу.

— Все! Тишина, — скомандовал Александр Иванович. — Я вижу, что каждый здесь хочет немедленно расправиться со своими обидчиками. Сейчас я вас помирю. Ты, — он тыкнул пальцем в Тимку, — хочешь расквитаться за отобранный валенок. Сейчас ты подойдешь и со всей силы ударишь младшего Соловьева. Согласен?

Тимка сглотнул и кивнул.

— Потом ты, — он указал на Соловьева-старшего, — как и собирался, оторвешь ему голову за разбитое окно. Правильно? А потом я тебя арестую и посажу за избивание ребенка. И все

будет по справедливости. Вот только окно останется разбитым и валенки от этого не появятся.

Все притихли и недоуменно смотрели на дядю Сашу.

— А можно по-другому, — продолжил тот. — Ты, — он указывал на Тимкину маму, — вставишь разбитое стекло, а ты купишь валенки, ну а со своими детьми каждый разберется сам.

— Сам вставлю, — пробурчал Соловьев-отец, залепив своему сыну мощный подзатыльник.

— Сама куплю, — согласилась вслед Тимкина мама, отвешивая Тимке увесистую затрещину.

Я чувствовал, что некий высший закон справедливости требует, чтобы следующая затрещина отвалилась мне, но голоса и лица стали уплывать, и последнее, что я увидел, — это испуганные глаза дяди Саши, надвигающиеся на меня, и плавно падающую с его головы фуражку...

Я провалился почти все каникулы, а когда снова выбрался догонять пропущенные зимние приключения, в моей башке что-то изменилось. Не думаю, что это было результатом затрещины, которую я задним числом все-таки получил за тот злополучный день (к слову сказать, получил абсолютно несправедливо, поскольку и за более серьезные проступки, как я уже знал, существует срок давности, испаряющий любые преступления).

В общем, та сторона перестала быть враждебной страной, наполненной неисчислимыми опасностями. Какие-то опасности конечно же там были, но они были везде и для их преодоления совсем не надо было переделывать тамошних людей, например, для того, чтобы они срочно меняли свои сосны на наши елки. Против извечных опасностей существовали извечные средства. Во-первых, можно было побороть свои страхи, и, как правило, все тут же приходило в норму. Ну а если не приходило, тогда надо было надеяться на свои слова, или свои кулаки, или свои ноги. На крайний случай оставался дядя Са-

ша, и он уж точно никогда не подводил. Но главным было то, что даже все неприятности отныне будут случаться не на чужой — той — стороне, а в моем родном поселке — на моей земле.

Отныне “та сторона” означала только часть нашего поселка за железной дорогой — и ничего больше. Да и называл я ее теперь не “та”, а “другая” сторона, и эта другая сторона оказалась невероятным привольем для наших разнообразных предприятий. В полной мере я сумел все это оценить ближайшим же летом.

Дело в том, что другая сторона поселка переходила в бескрайний и почти сказочный сосновый лес. Его и называли по-сказочному — Воронцовый бор. И только так это и могло называться — бор. Лес — это были чащобы, куда перетекал поселок с нашей стороны, местами непроходимые, то поднимающиеся на сухие места, охраняемые колючей еловой стражей, то ныряющие к чавкающим болотным омутам.

А здесь была несказанная красота. Более всего это походило на роскошный природный дворец с ажурно-игольчатой зеленой крышей и золотистыми колоннами сосновых стволов, настоящими на солнце до горьковатого смолистого звона...

В самом начале лета бор заполнился чужим шумным людом, понаехавшим к нам из загадочных городов, о которых мы могли ранее только узнавать из книг, слышать по радио или — если кому охота — прочитать в газете. Больше всего их было из Ленинграда. Веранды и комнаты, которые они снимали в домах рядом с бором у наших радушных земляков, на их языке назывались дачами, и потому их самих тоже прозвали дачниками. Надо сказать, что натурально дачников этих было не слишком и много — семей десять-пятнадцать, но шума от них в бору было столько, сколько не производил и весь наш поселок, собираясь здесь на ежегодные майские маевки.

Все наши занятия как-то сразу изменились, и совсем не из-за гвалта, который начинался в бору каждым солнечным днем. Всегда ведь можно было забраться подальше, где тихий звон сосен никогда не прерывался людским гомоном, но мы никуда не забирались, а скрытно кружили вокруг полянок, которые выбирали для себя дачные люди.

Это были совсем неправильные люди, и, наверное, места, откуда они приехали, тоже были неправильными и совсем не предназначенными для нас, но оторваться от диковинного зрелища мы не могли. Все эти дачники были голые. То есть чуть ли не совсем голые, так как те маленькие кукольные одежки, которыми они себя слегка прикрывали, и в магазинах-то никогда не продавались. Даже на берегу озера, где людям можно было не стыдяться раздеваться вместе с другими, — даже там наши мужчины оставались в солидных трусах, а женщины — в купальниках, открывавших только шею и ноги. Кто помоложе, те, конечно, старались укоротить трусы или открыть побольше шеи и подлиннее ноги, но все равно — это были трусы и купальники. Только совсем малая малышня плескалась в озере и бегала по берегу голышом. А тут все — почти голышом, ведь то, что на них было, ничего на самом деле не прикрывало, и даже то, что вроде бы было прикрыто, все равно просвечивало насквозь.

Тимка глядел во все глаза, забывая сглатывать, а мне очень скоро стало неловко, и я старался смотреть на что-нибудь другое, потому что этого другого — необыкновенного и заманчивого — было навалом. У дачных детей были завидные игрушки, и я следил чуть ли не за всеми сразу, мечтая, как вон ту машину (или вон тот самолет) их неуклюжие владельцы забудут забрать с собой. А потом у одного шибздика я увидел в руках самый настоящий бинокль — и пропал: никаких других игрушек для меня уже не существовало, и если бы дядя Саша мог только догадаться, какие коварные планы с ходу замечтались в моей башке (а точнее, какие мечты запланировались), он сразу бы меня арестовал на всю оставшуюся жизнь.

Тут-то дядя Саша и притарахтел прямо на сосновую поляну, ловко крутя коляску между деревьями. Я даже не успел перепугаться, потому что он подкатил не к нам, а к тут же затихшим дачникам (да и как бы он мог нас увидеть?)...

— Не будем нарушать, товарищи дорогие, — как-то не совсем по-своему начал дядя Саша.

Если бы мы так хорошо его не знали, мы могли бы подумать, что наш бесстрашный милиционер чем-то смущен.

Дядя Саша что-то тихо втолковывал обступившим его людям, а потом властно оборвал недовольные возгласы:

— Еще раз увижу — и будете загорать не здесь, а в милиции.

Протестовать дальше было бесполезно.

В поселке вообще был известен только один случай, когда его обитатели устроили дяде Саше что-то похожее на протест. Это было, когда недавно приехавший молодой армянин-сапожник порезал Шурку Шумарова — нашего баяниста.

— Он мою маму ругал грязным словом, — пытался доказать свою правоту сапожник Жора, затравленно скалясь и не выпустившая окровавленный нож.

Вот тогда много-много народу собралось у милиции и что-то все разом кричали, требовали, ожидали, а потом — расколотили все стекла милицейской избы, скалящейся теперь на них голыми прутьями решеток. Самое интересное, что ни самого сапожника, ни окон в его доме никто не бил и даже не собирался.

Дядя Саша в момент оконного погрома был в больнице у раненого баяниста, а потом привез к себе Жору и долго ему втолковывал вполне справедливые истины, которые хоть и со скрипом, но все-таки доходили по назначению. Жора согласился оплатить время лечения и лечебного отдыха баянисту и застеклил милицейскую избу специальным плохо бьющимся стеклом. Но — главное — Жора в конце концов поверил, что никто ничего плохого про его маму даже и не думал, а все

обидные речи — это на самом деле такой местный некультурный обычай, по которому осмысленные слова связывают между собой бессмысленными, даже если этих бессмысленных гораздо больше, чем остальных.

Через некоторое время Жора вполне приноровился к нашим нравам, и из молодежных группок где-нибудь у клуба вместе с неистребимыми “мать-перемать” можно было услышать Жорино “маму твою...”. “Мама” вместо “мать” как-то сбивала разговор с правильного ритма, и наступала продолжительная пауза, в которой, казалось, все пытаются осмыслить услышанное, но, как и объяснял дядя Саша, осмыслить бессмысленное невозможно, а поэтому дружная беседа возобновлялась с прежним жаром. В конце концов Жора совсем перестал следить за смыслом произносимого и как-то бросил звучное и звонкое “пидарас” парню, только что вернувшемуся из тюрьмы.

Теперь уже порезанного Жору отвезли в ту же больницу, и та самая его мама, которую он бросился когда-то защищать, гомонила под окнами дяди Саши. Но она даже и не пыталась бить стекла, а мы так и не узнали, действительно ли эти стекла какие-то особо крепкие...

Короче, у дачников против дяди Саши не было никаких шансов, и они расходились, шумно гомоня что-то про дикость и туземные нравы.

С этого дня они больше не ходили по бору голыми, но все равно не стали похожими на обычных людей. Во-первых, все их одежды были неправильно яркими, а во-вторых, эти одежды все равно просвечивали так, что их можно бы и не надевать, да и носились они чаще всего нараспах. Но зато уж на своих верандах приезжий люд вовсе не утруждал себя одеванием и отдыхал — как прежде в бору — наголо.

Мы это знали, потому что тщательно исследовали все дачные веранды в поисках той, где обитал бинокль. И нашли.

Счастливым обладателем бинокля был очкастый малец, чуть поменьше нас, и для восстановления правильного и справедливого равновесия жизни мы ему устроили почти такую же блокаду, которую в давние военные годы перенес весь их далекий Ленинград.

В общем, ленинградский Боря боялся нос высунуть за калитку и мог выходить в большой мир только в сопровождении взрослых.

— Боря, опять ты слоняешься вокруг дома. — Ярко-белая дама высунулась в открытое окно веранды, ввергая Тимку в полное остолбенение. — Мы столько денег потратили, чтобы ты мог дышать этим целебным сосновым воздухом...

— Я тут буду дышать, — решительно отнекивался Боря.

— Ну что за упрямый мальчишка! Весь в тебя. — Женщина переключилась на мужа, который благодушествовал сбоку веранды в гамаке кверху волосатым пузом, почти полностью закрывавшим какие-то неприлично маленькие женские трусики.

— Не шуми, дорогая. Сейчас он пойдет погулять...

Глупые люди! Куда же он пойдет, если мы с Тимкой сидим здесь в колючем смороднике и зорко сторожим все пути?! Можно даже сказать, что мы здесь сидим на страже высшей справедливости, потому что всего पहले в нашей войне — не бинокль, а то, что очкастый Боря приехал из чужого мира, для которого мы с Тимкой всегда будем туземцами и дикарями. А здесь вот — наш мир, и сосны эти — наши, и небо над нами — наше, и этот, как оказалось, целебный воздух — тоже весь наш. Так что — пусть знают.

К чести этого очкастого Бори следует сказать, что вел он себя по-правильному и родителям на нас не жаловался, а значит, была надежда на то, что мы с ним в конце концов договоримся и будем пускать его в наш бор, совместно распоряжаясь все это время его замечательным биноклем.

Скоро отец семейства заметил нас и, аккуратно вываливая себя из гамака, протрубил:

— Борис, что же ты своих друзей не приглашаешь в дом? Нехорошо, ох нехорошо... Идемте, молодые люди, идемте. Будем пить чай с пирогом.

Он раздвинул смородиновые ветки, и нам пришлось выбираться на свет.

— Я не люблю чай, — первым отказался Тимка.

Тимка был прав: нельзя пить их чай, потому что ведь потом уже было бы несправедливо гонять очкарика, и что же — прощай бинокль? А может, этот пузатый и сам все про нас понял и специально подкупает сейчас своим чаем?

— А лимонад любите? А пирог? Уверю вас, молодые люди, это такой вку-усный пирог...

Пришлось пойти вместе с ним на веранду, где уже радостно суетился у стола их сын, понимая, что теперь его тяжкая доля непременно переменится к лучшему...

Бинокль стоял на этажерке, и я практически не мог оторвать от него глаз. Ну, а Тимка глядел... лучше даже не говорить, куда он глядел.

— Ты бы оделась, дорогая, — засмеялся Борькин папаша, постучав Тимку по носу.

И на следующий день мы тоже сидели на той же веранде и уплетали несказанно вкуснющий пирог...

Хозяйка на этот раз оделась во что-то такое, что на деле оказывалось куда хуже (а может — лучше) любой возможной раздетости. Она была весела и радушна и все время порхала вокруг нас, то подкладывая новые порции пирога, то теребя Тимкину макушку, то восторгаясь этим очаровательным местом, где (кто бы мог подумать?!) — настоящий рай...

— Ну, молодые люди, нравится вам у нас? — спросил Борькин отец.

— У-гум, — мыкнули мы почти одновременно.

— А что вам больше всего нравится?

Я тут же ткнул пальцем в бинокль, представляя, что по справедливой логике всей этой сцены сейчас мне его и подарят (пусть даже временно). Но облепившая веранду тишина намекала на то, что весы справедливости снова качнулись не туда.

Тимкин палец указывал точно в середину прозрачной хозяйкиной накидки.

— Вон отсюда, малолетние развратники, — заорал благим матом глава семейства, — а ты... чтоб... мать... лядь!

Отдышались мы только у себя — в сосняковом укромнике.

Тимка фантазировал, как он будет закатывать в банки вместо огурцов и помидоров наш целительный воздух и возить его на продажу в Ленинград, но я его не слушал.

От громыхающих вслед нам матюков у меня будто какая-то пелена сошла с глаз и ушей. Так ругаться можно только за свою правоту на своей земле. Значит, пузатый Борькин отец и его очкастый сын — не враждебные чужаки, которых надо гнать, гнобить или, по крайней мере, обучать правилам одевания и жизни. Совсем нет. Они здесь тоже — у себя дома, и весь этот бор — не только наш, но и их тоже. И мне не было обидно это понимание, потому что я уже видел дальше, что вся земля, сколько ее ни есть, — она и моя тоже. И дальний-предальний Ленинград, и Москва с ее главной елкой, и дальше — сколько хватает географии — везде моя земля (ну и Тимкина, конечно, и очкарикова...). Пусть себе один украшает игрушками сосну, а другой выставляет напоказ голое пузо — это-то и здорово на моей земле. Главное, чтобы никто не заставлял меня оголять пузо, когда я этого не хочу, или делать еще что-то для меня непривычное и неправильное.

Я чувствовал, что только что сделал на долгие-долгие годы вперед очень важное, а может, и главное открытие...

Сейчас за полтысячи верст и несколько жизней от тех открытий я гляжу на того глупого малька, которым был уже не вспомнить когда, и замираю перед ним в неловком смущении. Куда я растратил его способность удивленно радоваться неистощимому разнообразию мира — огромного и моего мира? Такое чувство, будто я разбазарил его наследство, и мне даже нечего сказать в свое оправдание.

Пацан смотрит на меня в ответ безо всякой симпатии.

Как бы ему передать туда, чтобы он не стремился так оголтело во взрослую жизнь, что, и узнав кучу разных сведений, он не станет умнее и уж точно не станет лучше, хотя бы потому, что не будет перед сном, укрывшись с головой одеялом, молить самодельных богов самодельными молитвами, чтобы никто-никто никогда не умирал, даже визгливая Таисия Николаевна...

Но туда ничего не передашь — отсюда можно только брать...

— А у тебя бинокль есть? — Пацан нащупал, чем мог бы со мной примириться. — Нету? Как же так?

Я так хотел вырасти, чтобы купить бинокль.

Мне нечем оправдаться.

Я тянусь к сигарете, выкарабкиваясь из зыбкого сна, записываю в блокнот с неотложными делами “купить бинокль” и сажусь к компьютеру, чтобы снова вернуться в тот бор, под те звонкие сосны.

Сезон в Воронцовом бору открывался майской маевкой. Никто не запрещал гулять там и раньше, но раньше в бору неуютно под мрачной хвоей среди пятен грязного снега, а вот после маевки все сразу преображалось в тепло и красоту. Маевка только называлась майской, но могла быть совсем и не в мае и не имела никакого отношения к Первомайским праздникам, с таким же митингом, как и на ноябрьские, — с теми же флагами, портретами и речами в

хриплый микрофон с трибуны на центральном перекрестке поселка.

В нашем третьем классе маевка была совсем даже в апреле, потому что устраивались эти маевки строго-настрога в тот же день, на который старики и старухи назначали свою Пасху, и эти старики говорили еще, что маевки специально справляют в Пасху, чтобы народ ходил туда, а не в церкву. Но это они привирали, потому что никакой церкви нигде и в помине не было и никто бы не мог туда ходить. Вроде бы церква была в областной столице, где-то за городом у черта на куличках, так тоже непонятно, кто же туда потащится — на кулички, — если уже каким-то чудом попал в город, где на каждом шагу мороженое, небывалые игрушки в витринах и яркие трамваи.

Да и будь этих церквей хоть тысяча штук, все равно никто не пропустил бы маевку в бору. Дорожка, которая вела от шоссе в бор, с двух сторон была уставлена грузовиками, и с ихних кузовов продавались всякие яркие и звонкие вещи, которых никогда не бывало в поселковых магазинах. Тут все разделялись по интересам. Женщины шумно облепляли машины с тазами, материей и посудой, мужики солидно и спокойно обступали грузовик, с которого торговали бутылочным пивом, а все мы с гвалтом штурмовали машину с мороженым.

Распаренная тетка вертелась в кузове, зачерпывала из открытого бидона ложку мороженого, ловко кидала его в вафельный стаканчик, отдавала стаканчик с лдышкой мороженого, кому показывала другая тетка, собирающая с нас рубли¹, болтала пустой ложкой в банке с мутной водой, била ею по лбу кого-то особенно настырного и снова черпала из бидона. Она так ловко управлялась со всем, что за каких-то пару часов бывали опустошены все бидоны и осчастливлена вся детвора, вплоть до старшеклассников, которые в штурме не участвова-

1 Так было до денежной реформы 61-го года, и тогда стаканчик мороженого стоил 1 рубль, как и билет в кино на детский сеанс, а конец третьего класса пришелся именно на 61-й, и в эту маевку собирались гривенники.

ли, а появлялись когда вздумается небольшими компаниями, шугали нас врассыпную, довольно больно пиная зазевавшихся, брали стаканчики на всю компанию и удалялись, давая нам возможность возобновить штурм.

На поляне среди сосен с эстрады, сколоченной накануне, гремел клубный оркестр, под который девки и тетки в лентах из местной самодеятельности плясали красными сапожками, высоко раскручивая пышные разноцветные юбки. Тимка глядел во все глаза, забывая слизывать тающее мороженое. Потом на эстраду поднимались мужчины, правящие поселком, древесной фабрикой и лесхозом, изводящим наше главное богатство в кубометры с перевыполнением плана, и по очереди рассказывали про свою счастливую жизнь.

На этом торжественная часть заканчивалась, и народ семьями или еще большими компаниями здесь же, под соснами, устраивал праздничные застолья, щедро расставляя на припасенные скатерки припасенную снедь. Мы носились рядом, утощаясь от чужих столов крашеными яйцами и куличами, а те, что повзрослее, с интересом поглядывали на бутылки с мутным самогоном, но даже и не пытались умыкнуть выпивку у захмелевших односельчан. Это было бы просто глупо, потому что через два-три часа отяжелевший люд собирал свои скатерки и неспешно перемещался на кладбище, в которое плавно переходил поселок одной из своих улиц с нашей стороны железной дороги. Добираться дотуда через всю эту сторону, через железку, через весь поселок на нашей стороне, через маленький подлесок перед кладбищем — часа полтора, и только к раннему вечеру праздник перемещался туда. И вот там уже после ухода праздничных посетителей любой желающий мог от души допраздновать выпивкой и закусками, расставленными на могильных холмиках для угощения дорогих покойников.

Мы с Тимкой на маевке в конце третьего класса вслед за старшими пацанами и на их “слабо” тоже напрубуемся вонючего

самогона, но это будет только вечером, а сейчас мы глядим издалека на чокнутого Илью, заросшего до глаз сивыми курчавыми космами. Илья бодро перемещается от одного застолья к другому, останавливается и с высоты своего немалого роста осуждающе смотрит на праздничных людей, выпивает предложенный стакан, гневно распекает смеющихся односельчан, требуя сей же час отказаться от золотого тельца и ложных богов, закусывает пасхальным яйцом, обещает, что всех проглотит гиена (почему-то огненная), и переходит к следующей скатерке.

Сначала при любом появлении Ильи мы летели прочь сломя голову, но потом я все про Илью разузнал и рассказал Тимке, так что теперь мы его не боимся и можем даже поговорить с ним про жизнь и вообще, но на всякий случай обычно держимся подалеке и дразнить не решаемся.

А узнал я про Илью из всяких взрослых разговоров в доме моего деда, когда там собирались его старики-приятели и опасно шушукались про непонятное. Непонятно же было потому, что шушукались они в основном на языке “идиш”, таком редком и иностранном, что его даже в школе не изучают. Но я упрямо выковыривал из их перешепта редкие русские слова, которых становилось больше, когда к ним за стол присаживалась моя матушка, и в конце концов все понял.

С войны Илья возвратился совсем целым, бодрым и с полной грудью боевых наград. Приезжающие из эвакуации евреи обнимали его и плакали, а соседи, которые гои, наоборот радовались ему, хлопали по спине, угощали и разглядывали его “иконостас”, щелкая языками. “Почем нынче в Ташкенте ордена?” — спрашивали они наперебой, хотя ни в каком Ташкенте Илья не был, а всю войну провоевал разведчиком. Не таким разведчиком, который в кино в клубе в красивой

немецкой форме выведывал у фашистов важные секреты и в конце, когда ему предложили выпить за ихнюю победу, ничем себя не выдал и выпил не за ихнюю, а за нашу — так и сказал “За нашу победу”, а эти придурки ничего не поняли... В общем, Илья был другим разведчиком, типа следопыта, который в прериях мог по примятой траве определять и находить всякое зверье. Вот Илья и находил немецкое зверье и таскал через линию фронта без жалости, оберегая одни лишь языки. Натаскал на шесть орденов, не считая медалей, которых и не сосчитать.

Первым делом по возвращении Илья перенес из лесного рва на еврейское кладбище останки своего отца и тех стариков, которые вместе с отцом Ильи соблазнились на немецкую культуру. Кладбище это находится на Тимкиной стороне поселка, и даже не на окраине его, а в самой гуще домов, рядом с Тимкой, зажатое с трех сторон живой изгородью кустарников и заборами Тимкиных соседей.

Сейчас это громадный пустырь в сочной траве, из которой совершенно в неожиданных местах как будто прорастают старые неровные камни с выбитыми на них загадочными насекомыми письменами и шестиконечными звездами. По кладбищу гуляют соседские козы попеременно с мелкой живностью, отъедаясь на сытном выпасе. Соседи в каждом ремонте понемножку передвигают свои ограды, удушая покойницкий простор, и когда случается, что в результате очередного переноса забора древний камень попадает в личное подворье — его не выкорчевывают прочь, а спокойно присоединяют к хозяйству кто подставкой, кто наковальной, кто как. Евреи из поселка разъехались — в Израиль или к иным погостам, но кладбище пока живо. В центре этого зеленого раздолья все еще стоит обелиск, изготовленный тогда Ильей в память расстрелянных немцами стариков, и среди беспорядочно торчащих камней есть уголок, где могилки устроены в два ровных

ряда с оградами, и там же — могила моего отца. На ее камне не могондовид, а пятиконечная звездочка и фотография юноши в лейтенантской форме, а выбитые на этом камне даты кричат о том, что я более чем на двадцать лет старше своего отца, но Родину, защищенную им для меня, я не защитил и не спас...

Во время, когда Илья хоронил своего отца, по кладбищу тоже, как у себя дома, гуляла соседская птица и выпасались более важные домашние животные, которые, как ни странно, пережили войну и оккупацию лучше, чем люди, может, потому, что были они для голодных горемыков последней надеждой и берегли их много бережней, чем людей. Но Илье не нравилось, что буренки оставляют по кладбищу свои лепешки, и в свободное от своей кузнецкой работы время он взялся горючить кладбищенскую ограду и приводить в порядок весь погост.

Так все хорошо и продолжалось до самого того времени, пока в Москве не обнаружили врачей-убийц. Все вокруг сильно заволновались, даже те, кто сроду ничем не болел и к врачам не обращался. Местное начальство тоже очень переживало и каким-то образом перескочило в своих заботах о нашем счастье с врачей-убийц прямо на кладбищенские проблемы (впрочем, следует признать, что все это — очень близко). Еврейское кладбище приказали прекратить и перепахать, потому что весь советский народ должен лежать вместе со всеми, а не на обочине нашей жизни среди безродных и в космы повитых.

Тут они натурально заврались, потому что совсем не все лежали на кладбище безродными — у того же отца Ильи был наглядный сын, да и у многих других была всякая родня, а уж косматыми они все точно быть не могли, иначе бы знакомые мне еврейские старики не блестили через одного безволосыми лысынами.

Илью это вранье, понятное дело, возмутило, и он встал со своим охотничьим ружьем поперек начальничьего приказа. Его в ответ назвали безродным и косматым, и, хотя это уже была суцная правда, Илья все равно обиделся. Он сложил все свои награды в посылочный ящик и отправил генералиссимусу Сталину лично в руки вместе с большим письмом. Там он писал, что все радио целыми днями кричит, что Сталин один победил войну и поэтому все эти ордена евоные по-праву, а Илья больше не хочет воевать за Сталина, а хочет воевать за новое государство Израиль...

Посылка не успела еще отправиться с нашей почты, а за Ильей уже прислали машину с личной охраной и увезли в Израиль, а точнее — в солнечный израильский Магадан. А когда письмо Ильи дошло до Сталина и он его прочитал, он тут же дал дуба с разрывом сердца. Из-за этого Илью вернули из Израиля обратно в поселок, чтобы было кому заново восстановить кладбищенскую ограду, которую таки успели порушить и растащить в радости скорого уничтожения кладбища, но радость была напрасной, и, не считая ограды, ничего не было уничтожено.

Теперь Илья вернулся не таким бодрым и целым, как с войны. Он дергал глазом, говорил, что придет царство Израйля, все его называли сумасшедшим, сочувственно цокали и еще обзывали ребелитированным. Слово было трудное и совсем непонятное.

— Деда, кто такой ребе?... ребе лит?... — Я запинаясь и не мог вспомнить точно.

— Ребе Литвак? — спросил дед, ласково глядя на меня.

Вроде фамилия Ильи и правда была Литвак, и я нерешительно кивнул.

— Ребе Литвак был очень умный и правильный еврей, — сказал дед. — До войны он у нас был раввином, и за это фашистско-немецкие изверги его застрелили.

— Не. — Я замотал головой. — Я про Илью...

— Илья тоже был очень умный еврей, и за это культ Сталина свел его с ума, а теперь он бедный еврей, но если ты будешь

послушным, ты, может быть, станешь таким же умным, как ребе Литвак.

Дед осмотрел меня с надеждой и, уходя, дал рубль.

Мне совсем не улыбалось быть таким же умным и застреленным, как ребе Литвак, да и по поводу незнакомого слова я ничего не узнал, но зато я безо всяких трудов получил рубль. Надо сказать, что мой дед всякий раз глядел на меня либо с надеждой, либо с опаской, либо с полным разочарованием, и для каждого случая у него была своя такса: с надеждой — рубль, с опаской — рубль (иногда — два), с разочарованием — подзатыльник...

Позже от нашего одноклассника, сына знаменитого на весь поселок хирурга Баканова, я узнал, что реабилитация — это когда человеку отрежут ногу, а взамен дадут сверкающий пружинами протез. Теперь мне было ясно, почему вслед Илье иногда ворчали, что наребилировали зазря невесть кого. Конечно зазря, если никакого протеза у Ильи не было и в помине, а была у него больная голова в вечной ушанке и зычная глотка, через которую он трубил на весь поселок о каре, гиене и победном сиянии Израиля над всеми странами и народами.

Так он и трубил до 67-го, когда невероятные сведения с фронтов ближневосточной войны заставили местные власти прислушаться повнимательней к громовым пророчествам Ильи. К его дому с воем подкатили сверкающие мигалками машины — милицейская и “скорая помощь” — и укатили нашего Илью навсегда.

— Ишь, на каких колесницах за ним, — более сокрушенно, чем восхищенно поцокал Соловей-старший, живший по соседству с Ильей и зарабатывавший трубой в нашем похоронном духовом оркестре.

Духовой оркестр был один на два кладбища, и по этой причине Соловей-старший глядел на всех односельчан одинаково учтиво, справедливо полагая их всех надежным источником своего завтрашнего благополучия. Отсюда же и его сокрушенное цоканье вслед исчезающему клиенту...

Но это все будет нескоро, а сейчас, третьеклассниками, на маевке мы с Тимкой следим за вышедшим из ума Ильей. Мы ползаем по-пластунски и воображаем себя такими же разведчиками, каким он сам был на войне. Потом мы заоглядывались в поисках Ильи и обнаружили того стоящим над Серегой из нашего класса. Было видно, что Серега боится Илью, но держится мужественно и никуда прочь со всех ног не летит.

Серега был сыном какой-то большой шишки, и потому по суровым правилам справедливости с ним никто не водился и он вынужден был маяться особняком ото всех, играя сам с собой. Сейчас он играл с игрушечным самолетом, в который, наверное, была вставлена батарейка, потому что он мигал разноцветными огоньками и попискивал. Точнее, не играл, а сжимал двумя руками, с опаской глядя вверх на Илью, а тот не мог отвести глаз от мигающих огоньков.

Через несколько дней на переменке Тимка отвел меня в сторону.

— Помнишь, мы на маевке ползали в лесу? — спросил Тимка. — Так там же окопы были.

— Какие окопы?

— Немецкие или наши... Не важно — военные окопы.

Я вспомнил узкие неглубокие рвы, зарастающие извилистыми рядами, между соснами.

— Ну и что?

— Балда, это значит, там можно накопать пороху или даже снарядов — там же везде бомбили и стреляли...

Тимка был прав.

— Надо будет вернуться туда с лопатой, — хозяйственно запланировал Тимка.

Накануне в нашей жизни появились новые слова, понуждая нас к новым занятиям. Космос, ракета, скорый полет на Луну — все это переместилось из фантастических книг в завтрашний уже день и в сегодняшние игры.

— Ракета — это проще простого, — объяснял сегодня на школьном дворе пацан из шестого обступившим его с раскрытыми ртами младшеклассникам, — как два пальца... Берешь железную трубку, хоть даже цилиндр от велосипедного насоса, один конец — заклепать наглухо, со второго — натолкать порох, поджечь — и ракета...

— А ракета Гагарина?

— То же самое, только цилиндр не от насоса, а с водонапорную башню.

— Это ж сколько пороху надо!

— Ну, может, там не порох, а тол, что в снарядах. Снарядов после войны осталось — море целое: тол вытапливай, шнур запали — и готово...

В следующие же дни малышня и пацаны постарше потянулись с раскопками в близлежащие леса, в земле которых и вправду полным-полно было мин, снарядов и бомб — изржавевших, но сохранивших еще свою убойную мощь ошметков не слишком давней войны. Патроны, из которых упорной возней добывался ценный порох, за стоящую добычу и не считались.

Удивительно, что в это “космическое” лето все мы не подорвались, а наши самодельные ракеты не спалили поселок

со всеми лесами вокруг. Впрочем, один старшеклассник взорвался насмерть, другому — из нашего класса — взрывом оторвало ногу, и мы все его сильно и долго жалели, хотя он и уковыливал побыстрее на своих костылях от нашей жалости, а еще одного из пятого — шарахнуло дослепу, и его тоже жалели, но не так, как безногого, а со страхом и держась поодаль. В этом не было какой-то особенной бесчеловечности — обычная детская практичность. Обезноженному помогали все взрослые и с уроками, и с чем угодно, и даже в кино его пускали бесплатно. Эта облеплявшая его жалость казалась нам всеобщей любовью, не такой, конечно, как любовь к Юрию Гагарину, но все-таки — любовью, а кто же не хочет всеобщей любви?.. Видимо, нам ее сильно не хватало, и любой из нас, не задумываясь, поменялся бы с подорвавшимся приятелем, только ненадолго — на недельку, может, на две. А с ослепшим парнем никто бы меняться не стал, и хотя его тоже жалели, но никакого толку не было с той жалости и с того, например, что его тоже могли бесплатно пустить в кино.

Но все это чуть позже, а пока мы с Тимкой переговариваемся на перемене.

— А помнишь его самолет? — Тимка кивнул на Серегу, сидящего за партой. — Как думаешь — он железный?

— Не знаю.

— Если железный, то это намного лучше насоса.

— Раз в сто лучше.

Мы замолчали, а потом Тимка прервал наши молчаливые планы похищения самолета совершенно неожиданным предложением:

— Ты знаешь, а мне жалко Серегу. Правила правилами, но те, кто их придумал, не знал же, что Серега — нормальный пацан. Давай его подберем и позволим дружить.

— Давай, — сразу согласился я

Так почти полностью определилась наша дальнейшая жизнь. Не хватало только Мешка, но в тот день Мешка мы в упор не видели. Мешок появится еще через месяц с гаком, и только через два года свалится на него его небывалая ноша.

— Ну пошли? — подтолкнул меня Тимка.

— Куда?

— К Сереге. А чего ждать?

— Пошли.

3. Серега (Наперекор)

Серега был родом из начальства, а на начальство мои белорусские земляки смотрели с опаской и недоверием, ничего хорошего не ожидая и надеясь, что плохое пронесет как-нибудь стороной. Начальство наказывало, отбирало, обирало, разоряло, запрещало, рушило — с того и жилó. Теоретически начальство могло и наградить и одарить, но любому понятно, что у него самого тех наград и подарунков с гулькин нос, и потому правильней их растратить на собственные хозяйства, на жóнок и сынов, а еще не забыть своих начальников за доброе их расположение и обязательно какими-то крохами оделить подчиненных и прихлебателей, без которых особо не накомандуешь. В общем, как ни крути, но начальствовать приходится в основном ором да разором. Поэтому и относились к начальству, да и вообще к власти, как к неизбежному и неизбежному гнету.

Точнее, как к погоде, от которой надо защищаться, но совсем надежно не заслониться даже стенами дома, и, значит, остается терпеть и приноравливаться. В южных землях еще хорошо: там действительно — погода, но в нашем климате — сплошная нéпогодь, а случится передышка от ненастий (та же маевка, например), так и спасибо. Ну не бунтовать же против погоды!.. Если же найдется какой-нибудь чудик, который не приноравливается, а протестует, то к нему относятся крайне

неодобрительно, потому что ото всех его сопротивлений сложившемуся порядку всегда нелегкой жизни можно ожидать в ответ только грома-молний, которые, по обыкновению, обрушатся не только на голову неразумного бунтаря, но и на всех, кто рядом, — без разбора.

Мне чрезвычайно привлекательна эта особенность моей очарованной родины, где люди живут так же упрямо и терпеливо, как и деревья в их бескрайних лесах: кричат в грозы, поскрипывают морозными ночами, запариваясь прогретым вопреку под любимым (даже и обманчивым) теплом — живут себе, пока все вокруг леса изводится под корень...

Так здесь воспринимают любую власть — так поначалу терпели немцев, так приняли возвернувшийся строй, так глядят и на власть нынешнюю... В общем, в дружной семье советских народов мои земляки жили одними со всеми несчастьями, но несколько наособняк. “Да здравствует советская власть!” — восторженно ликовала Россия. “Хай живе радянська влада!” — аукалась Украина. “Няхай живе радзянская улада!” — соглашалась (а куда денешься?) Беларусь. Без власти ведь никак, так что — няхай сабе. Ни душевных проклятий, ни сердечных восторгов, и всем опытом предков нажитое мудрое отстранение и от власти вообще, и от любого начальства со всеми его чаяниями, чадами и домочадцами.

За оградой собственного дома Серега попадал в эту полосу отчуждения.

— Пропал бы без нас Серега — хорошо, что мы его подобрали, — совершенно правильными словами встретил меня Тимка, не прекращая играть китайским фонариком на круглых батарейках.

Еще в прошлом году из Китая к нам в страну посылали такие вот фонарики, красивые термосы в цветах и птицах, очень нужные для жизни и спорта кеды и дружбу навек, но до

нашего поселка доходила одна только дружба, а все остальное продавалось в районном центре. Теперь же ни из радио, ни из телевизора никакой дружбы не слышно, а слышно только, что у них по всей стране ревизионизм, и, значит, магазины закрыты точно так же, как и у нас, когда вывешивают табличку “ревизия”, и уже нипочем не дождаться от них ни кедров, ни фонариков. Лично мне фонарик и не нужен — фонарик у меня дома есть, но батарейки в нем сдохли, потому что я с этим фонариком читал под одеялом, когда матушка совсем уж свирепо требовала, чтобы я выключал свет.

— Где взял? — спросил я, кивая на фонарик.

— У Сереги — ему без надобности: его же ночами спать заставляют.

— А где он?

Мы готовились начать запланированные позавчера раскопки и ждали Серегу, который обещал принести настоящую саперную лопатку.

Почти неделю мы упорными кротами вгрызались в затянувшиеся с войны траншеи. Нарыли несколько горстей ржавых патронов и спешно перебрались в лес за нашей стороной поселка, потому что всю школу взбудоражила новость, что взрослые пацаны именно в этом лесу отрыли целый ящик настоящих винтовок. Винтовки сразу же конфисковал дядя Саша и долго еще допрашивал копателей, но все это нас не останавливало, а только будоражило. “Как новенькие, — пересказывали друг за другом старшеклассники, и мы ловили их разговоры растопыренными ушами. — В заводской смазке”.

О ракетах забыли почти все искатели, тем более что несколько совершенных уже запусков самодельных ракет закончились одним только шипением и верчением по земле раскоченных велосипедных насосов. Теперь искали оружие, мечтая о собственных пистолетах и автоматах.

Мы забирались подальше от конкурентов, с головой закапываясь в землю и фантазии о пистолете за пазухой. Это безумие продолжалось около месяца, до самого почти окончания третьего класса.

Мы сидели километрах в пяти от поселка, на склоне густо поросшего ельником холма, и подсчитывали свою добычу. Ничего желанного мы не нашли — даже гранат, которые, по словам Тимки, лучшее средство для рыбной ловли. В арсенале у нас накопились две кастрюли, которые по-правильному назывались противотанковыми минами, один снаряд и несчитаная горка патронов. Пора было начинать выковыривать или, как говорили старшие копатели, вытапливать из всего этого добра тол для ракет, но было страшно. Этого мы очень старались друг другу не показать и даже не говорили о подорвавшемся на прошлой неделе однокласснике.

— Я думаю, что никуда эти ракеты не полетят, — начал издали Серега. — Там надо взрывчатку совсем не из снарядов.

— Ясный пень, — согласился Тимка.

— Может, там из атомной бомбы тол? — предположил я.

— Скорее всего, — подумав, согласился Серега. — Иначе в космос уже давно бы раньше взлетели, а раз взлетели после атомной бомбы, значит, и тол оттуда.

— Тогда кончаем копать, — обрадовался Тимка. — Если узнаем, что где-то точно есть пистолеты, начнем заново. Только это добро куда?

— Организуем фейерверк.

Мы радовались освобождению от раскопок, будто раскопки эти не мы же сами для себя и придумали. У подножья холма мы развели костер и залезли наверх, чтобы осмотреться и убедиться, что нигде никого.

С другой стороны холма тянулся забор из железной сетки, за которым располагалась какая-то радиостанция. На самом деле толком никто не знал, что там располагалось, но

взрослые называли это место радиостанцией, а некоторые говорили, что с помощью этой станции можно переговариваться с космическими ракетами, и Гагарин все свои слова из космоса говорил сюда, а уже отсюда его слова передавались в Москву и на весь мир. Там за забором стояла высокая серебристая вышка в окружении аккуратненьких домиков, в которых обитали улыбчивые молодые люди в спортивных костюмах...

В огне костра давно поджаривался весь наш боезапас, но фейерверк все не начинался. У каждого уже все тело позатекало без движения в узком, нами же разрытом окопе. Тимка осторожно выглянул и сообщил, что ферверка не будет.

Костер догорал, и наши трофеи лежали там мертвыми за копченными железяками.

— Айда отсюда, — предложил Серега. — Еще успеем искупнуться на озере.

— Может, обменяем с кем что нашли, — остановил нас хозяйственный Тимка. — Не пропадать же добру...

— Ага, а потом дядь Саш затаскает — не обрадуешься, — разумно напомнил Серега.

— Ладно. — Тимка согласился, но очень сомневающимся голосом.

Мы засыпали-забросали костер и пошли прочь. Долбануло, когда мы отошли метров на сто. Оглянувшись, мы увидели, как медленно оседает холм, вздыбленный взрывом.

— Айда за мной! — скомандовал Серега, и мы полетели за ним не чуя ног и хлестающих веток, сначала удивляясь, что летим не в сторону поселка, а в лесную чащу, но тут же соображая то, что Серега сообразил раньше: наши односельчане сейчас уже мчались-неслись-ехали-добирались к взорвавшемуся холму, и лучше было с ними не встречаться.

Через пару часов мы вернулись на место преступления, где собрался, как нам показалось, весь поселок. Вместе с остальной детворой мы шмыгали между возбужденными одно-

сельчанами, чутко улавливая все их пересуды. Озабоченные парни с радиостанции властно оттесняли народ от воронки. Люди с облегчением прекращали переживать за своих паршивцев, которые могли здесь подорваться, и таинственным шепотом сообщали друг другу все новые подробности о шпионах, которые устроили диверсию против стратегического объекта, но не рассчитали мощность заряда, благодаря чему объект чудом уцелел.

Всего несколько лет спустя, прорываясь к западным голосам через глушилку, оборудованную на той самой таинственной радиостанции, я жалел, что в давних наших трофеях не нашлось еще с десятков мин и снарядов, чтобы этот и действительно стратегический объект точно взлетел на воздух. Но это — потом, а тогда мы бродили среди взрослых и разинув рты слушали их невероятные толкования происшествия.

Версия о шпионах нам нравилась и казалась очень убедительной. Совсем недавно мы своими глазами видели в клубе кино, где шпион, нацепив коровьи копыта, перешел нашу границу. Главное ведь — границу перейти, а там — садись в поезд и мчи куда пожелаешь, хоть и к нашему стратегическому объекту. Очень может быть, что шпионы снова сюда вернуться, когда узнают, что они недовзорвали свое задание.

— Какие шпионы? — попробовал нас образумить Серега.

Тут мы его быстренько убедили, что наших зарядов там было — всего ничего, а взрыв был — ого-го! Значит, это шпионы подложили свою взрывчатку, как раз чтобы и взорвать, и бросить подозрение на нас. Они же хитрые, но тут у них ничего не вышло.

Сереге крыть было нечем.

В следующий день мы прибегали на станцию к каждому из четырех останавливающихся у нас пассажирских поездов,

чтобы следить за появляющимися незнакомцами, среди которых обязательно будет шпион. Тут нас дядя Саша и выловил. Сереге велел идти за ним, а меня и Тимку вел собственноручно, взявши нас за уши (меня левой рукой, а Тимку — правой). Все-таки сынам начальников куда легче переносить житейские невзгоды, чем простым смертным.

У себя в милицейской избе дядя Саша выстроил нас вдоль стены и быстро все узнал про шпионов, коровьи копыта, костер и ракеты. Там, у стены, он нас и оставил исходить страхами и тоской, а сам надолго утарахтел на своем мотоцикле. Потом все пошло совсем плохо. Наши родители понабежали вслед за приехавшим Александром Иванычем. Они похватили нас кто за что и повели по домам, не дав попрощаться и злобно поглядывая каждый на всех других.

Меня лично матушка в этот день выпорола на будь здоров, а как обошлись с Тимкой и Серегой, я не знаю, потому что у нас не принято было спрашивать о домашних делах. Дома одна жизнь, а за домом начиналась совсем другая, и на эту другую домашняя власть не распространялась.

Родители, может быть, и хотели бы управлять нашими друзьями и внедомашними занятиями, но даже и не тратили силы в эту сторону, понимая полную бесполезность таких трат. Правда, несколькими годами позже, когда жить стало повольготнее и у кого-то завелись деньги, а в магазинах появились диковинные вещи, — тогда некоторые взрослые пытались что-то диктовать своим детям по поводу их друзей-приятелей, понукая, с кем дружить, чтобы не водиться с теми, кто “нам не ровня”, но фиг что из этого получилось. Детвора в своих дружбах мудро перемешивала односельчан в один народ, напрочь игнорируя проклюнувшуюся тягу к социальному расслоению. Единственным обособленным и обособляющимся слоем, общим для всех возрастов, оставалось начальство.

Надо сказать, что учителя и продавцы к начальству не относились, как, например, и директор школы, а вот директор магазина — это начальство, и директор фабрики — еще большее начальство, даже начальник станции — начальство, хотя совсем маленькое. Начальство могло что-то отобрать, что-то не дать тебе, а дать другому или ему тоже не дать, а оставить себе. А что могли у тебя отобрать учителя, кроме, разумеется, времени и хорошего настроения?

Позже, когда поступление в институт станет общенародной ценностью, повысится и ценность учителей, потому что будет считаться, что от них в этом деле что-то зависит, но будут и сомневающиеся, и учителя так и не выбьются в отдельность, которая остальным “неровня”. А продавцы, например, очень даже выбьются, и к ним будет не подступиться, но все равно их самостоятельная отдельность не распространится на их детей, которые конечно же будут брэнчать на пианине в Доме пионеров, как настоящие дети начальников, но на дружбы с ними не появятся никаких запретов, и по одному этому будет ясно, что их неприступные даже для “здрасти” родители пусть хоть три раза оденутся в шмотки, которых ни у кого нет, но начальством не станут.

Сергея, к сожалению, природно был из начальства, и нам с Тимкой трендели во все уши про “неровня”, а как давили на самого Серегу, можно только догадываться. Но Сергей еще в самом нежном возрасте сообразил, что все, чего требуют от него властью и силой, ему только во вред. Ну а если и не во вред, то уж точно — не по нутру. Он все делал наперекор и упрямо пер поперек любых властных запретов. Он даже книжки, при всей своей тяге к ним, проглатывал укромно и незаметно, чтобы никто его не застукал за увлеченным чтением и не решил, что он послушной овцой следует по колее взрослых понуканий.

А вот Тимка — тот вообще все книжки презрительно называл букварями и предпочитал не читать, а слушать про там

написанное в моем или Серегинном пересказе. Тимка вовсе не считал, что в книгах пишут что-то бесполезное или враное, — он разумно полагал, что слушать книги в нашем исполнении куда практичней, потому что это экономит ему кучу времени.

Школа закончилась.

Мы загорали на берегу озера и слушали от Сереге историю о давней жизни Вильгельма Теля. Впереди было чистое счастье бесконечных каникул.

Правда, в этом году нам их изрядно подпортили. В последний школьный день по всем классам ходил директор с объявлением важных приказов.

Во-первых, нам указали день, в который наш класс должен будет работать на недавно и спешно организованной школьной кроличьей ферме. Так что один день в июне накрылся.

Во-вторых, нам было приказано сдать каждому по двадцать веников для прокорма тех же кроликов — десять веников в июле и десять к началу учебного года. Мне казалось, что кролики едят траву, и я плохо представлял, о каких вениках идет речь. Серега на мои недоумения предложил закосить под му-му и сдать обычные березовые, как для бани.

В-третьих, надо было объявить родителям об обязательной сдаче к началу года по одной курице с носа.

— ...И мы догоним и перегоним Америку по мясу и молоку. Понятно? — спросил директор и строго осмотрел класс.

Мы молчали, потому что нас это не очень касалось. Наше дело малое: передать директорский приказ родителям — чего тут не понять?

— Нет, непонятно, — сказал Серега.

— Что тебе непонятно? — ласково улыбнулся директор, довольный, что сможет что-то объяснить сыну самого Степана Сергеича.

— У нас нету курей, — буркнул Серега.

— Тогда пусть твои родители купят курицу на базаре, — разъяснил директор, — а ты принесешь и сдашь. Партия все посчитала и решила, что если каждый советский человек сдаст по одной курице, то мы догоним и перегоним Америку. Понятно?

— Нет, — упрямо мотнул головой Серега. — Непонятно. Ну догоним Америку, и что? Что будет с курицей, которую я сдам? Зачем она Америке?

Директор растерялся и поэтому сразу осерчал.

— Америке не нужна твоя курица! — заорал он. — Она упадет на стол советскому человеку. Например, рабочему. Он перевыполнит план и даст стране дополнительную продукцию. Что здесь непонятного?! Ты что, ненормальный?

— Партия решила, чтобы каждый советский человек купил на базаре по курице, сдал партии, а она потом раздаст их обратно каждому советскому человеку на стол, и кто же здесь ненормальный? — с искренним недоумением не отставал Серега.

— Разбирайтесь сами со своими балбесами, — бросил директор Елизавете Лукиничне и ушел, грохнув дверь.

— Будешь безобразничать — отведу к директору, — пригрозила та Сереге...

В общем, если подумать — ничего страшного: день на кроликов, пара дней на веники, все остальное — наше. Много-много дней обретенной свободы.

Мы прожаривались на солнце и молча завидовали давней необыкновенной жизни Вильгельма Теля, о которой только что слышали от Сереги.

— Слушайте, пацаны, — подал голос Тимка (вообще-то до пацанов нам еще расти и расти, но между собой любые мальки и салаги всегда называли себя пацанами). — Давайте сделаем луки, научимся стрелять по яблокам и станем этот фокус показывать за деньги. Денег огребем — кучу...

Мы даже бросили загорать. Сидели и восхищенно смотрели на Тимку. Идея была гениальная. Я тут же увидел новенький бинокль на своей шее. Нет, лучше, чтобы он висел не на шее, а на руле велосипеда. И я всем-всем буду давать смотреть и кататься. А еще я куплю матушке стиральную машину, что видел в телевизоре, и она не будет больше вздыхать про железные нервы, когда я снова заявлюсь измызганный по макушку. А деду я куплю блестящие зубы, потому что ему “легче каленые орехи есть, чем говорить со мной”, но на эти загадочные орехи у него совсем нету зубов...

Судя по мечтательным лицам, Серега с Тимкой тоже придумали для себя что-то очень нужное.

— А кто будет сыном Теля? — спросил Серега. — Кто — с яблоком на голове?

Мы задумались. Стоять с яблоком на голове не хотелось. То ли дело — стрелять...

— Кто будет хуже стрелять — тот и сын, — довольно справедливо решил Тимка.

— А если все одинаково? — не отставал въедливый Серега.

Тимка молчал, а его глаза лихорадочно бегали по сторонам в поисках решения.

— Давайте пригласим Мешка. — Тимка показал пальцем на сидящего у самой воды Мишку-Мешка из нашего класса. — Даже жалко его — все один и один.

Мешок сидел абсолютно неподвижно, похожий на чуть оплывший здоровенный кусок закаменевшей глины. Яблоко на его голове смотрелось бы замечательно.

— А он согласится? — засомневался Серега.

— Еще как! Обрадуется — вот увидите...

Мешок если и обрадовался, то виду не подал...

Впереди было море дел, и не было никакого смысла напрасно тратить время. Тут же в кустарнике мы выломали несколько подходящих орешин и отправились домой к Мешку мастерить лук.

Мы ждали во дворе, оглядывая скудное хозяйство, пока Мешок искал в сарае необходимые инструменты. Любопытная коза разглядывала нас в упор. Наконец он выбрался из сарая, стряхивая ошметки сена с головы.

— Зови сябров в хату, — велела ему Клавдяванна, выходя на покосившееся крыльцо.

— Пошли! — Мешок пожал плечами. — Все равно не отстанет.

— Руки помойте, няряхи, — велела Клавдяванна.

Мешок еще раз пожал плечами и повел нас к капающему умывальнику, висящему на стене сарая.

В доме бабка Мешка усадила нас за стол, на котором стояли кружки, миска с пирожками и горлач с молоком. Обжигаясь, мы глотали пирожки, запивая их жирным молоком взахлеб, не разбирая вкуса и торопясь вернуться к своим неотложным делам. Даже Мешок вытряхнулся из обычного для себя сонного состояния и нетерпеливо поглядывал на дверь.

Я украдкой взглядывал на глаза, сверлящие меня с иконы в углу, и слушал ровный голос Клавдиванны, отстраненно перечисляющий все прегрешения Мешка, который на самом деле чистое наказание на ее старую голову... Удивительно, но в этих жалобах Клавдиванны не было никакой жалобы: это было похоже на бесконечную песню, на завораживающее журчание...

— Будете еще пирожки? — спросила хозяйка, убирая со стола пустую миску.

Я кивнул, не очень соображая чему, а мои приятели отрицательно занекали и повскакали из-за стола.

— Вот и дóбра, — урчала Клавдяванна, — пускай они идут себе безобразить, а ты поешь, поешь, а набезобразить успеешь еще.

— Давай быстрее к нам, — бросил мне от дверей Тимка.

— Вот тебе горяченькие. — Клавдяванна поставила на стол полную миску и уселась напротив меня, как раз под глазами с иконы. — Ешь, ешь, хриstopродавец, набегался поди...

Я слушал ее отстраненное повествование, качиваясь в ее голосе, не все понимая и о чем-то только догадываясь, но цепко запоминая эту на самом деле совсем не жалобную жалбу.

“Как по радиву войну сказали — и тыдня не прошло до немца. Кто-то сбёг. А куды бечь? У вакуацию по чужим углам?.. Мы остались. Немец спачтку с нами нормально обходился. Ваших, правда, пострелял — вельми сильно вы его чем-то пакрыдили. И — камунистов, кого знашли, ну да это понятно: с камунистами он и войну воевал. А с нами спачтку — нормально... Уладу поставили — как же без улады? — и поперли далей, але и тута много немца осталось: и на чугунке, и на лесапильне, и на спиртзаводе... Ему надо было, чтоб все работало. Нас таксама начал немец на работы гонять, но не так, как в колхозе. Там — не отвертишься, а немец, когда взялся мостить сашу, что нонча еще в район идет, — он баб, кто с малыми дитями, не гнал. Так мы, у кого детей два и больше, мы их по хатам раздадим и на работу не идем. Тяжкая работа — сашу мостить. А на легкие сами шли. Немец платил. Гроши их мы брать не любили — так он продуктом платил, куревом, спиртом с завода, карасином... А пад осень скребется нехта ночью в окно... Это сейчас хата сярод инших, а тады за нашей оградой — сразу лес. Батяня открывает, а это — из ваших. Уцёк, когда немцы сгоняли всех на убой. Уцёк и ховался в лесу. Всё лето ховался, а пód зиму лесом не прокормиться. Да и холодно уже ночью. Фамилия у него смешная — Иоффа. Богатый до войны был. Добра и детей — полный двор, дом под железом и цепка на брюхе. Сына старшего в камунисты определил, и те его не чапаюць, а он — богатеет. Правда, когда пошел голод косой косить — он весь свой мага́зин, что при кооперации был, весь дочиста под пустые расписки раздал. Если бы не сын — его бы тогда еще заарестовали. Вот стоит этот Йоф на пороге — сивый, худой, задрипанный, и куда деться?.. Знайдёт его немец — всех поубивает, но и на смерть его не

пошлешь: хоть он и Йоф, а человек все-таки... Сховали его в подпол и каждый день обмираем со страху... Тем же часам все, кто от немца лесами прятался, сбились в партизаны. Одного немца забили, другого, ну и немец в ответ лютовать стал. Прежним в помощь другой немец пришел. Совсем другой. В черных шинелях. Каратель, по-нашему. Вот и пошел карать. Прознает, где партизанов подкормили, — тех и спалит дочиста... А партизану до этого и дела нет. Ему, понятное дело, тоже жить надо... Они и сыночка мого к себе в лес сманили. Ему еще только пятнадцать годочков, а — не утримать... Дочка тем часом с немцем сашлась — хороший немец, вежливый, из медицинских офицеров... А каратель прознал, что сын в партизаны ушел, и отца моего забрал для расстрела. Уж так молили — и я и дочка, — не отмолили... Вот осталась я одна: муж где-то войну воюет, сын в партизанах, дочка с немцем — как ушла, так и с концами. Сумасшедший дом, а в подполе сумасшедший Йоф плачет о своем и по-своему... Я ему и говорю — ты плач по-нашему, чтобы мы могли вместе поплакать. Вот и плачем с ним на пару тихонечко... “Господи, — повторю за Йофом, — Господи! зачем же Ты меня покинул? Зачем дом мой погубил? Зачем лишил меня деток моих? Разве противилась я воле Твоей? Разве сделала я что-то несправедное? Разве справедливо Ты поступаешь, Господи? Кто еще будет верить Тебе так, как верю Тебе я? Кто еще будет чтить Тебя так, как чту Тебя я? Зачем караешь Ты любящих тебя? Где же Твоя совесть?..” Про совесть — это я уже от себя добавила. Йоф замолчал и смотрит на меня, а потом смеяться начал. Сидим с ним в подполе — до смерти полшага всего — и смеемся. Сумасшедший дом... Потом мой сын Йофу этого переправил в партизаны — к своим. Был такой партизанский отряд из ваших. Командовали им три брата, то ли Бельские, то ли Беленькие — запаматовала. Вот к ним Йофа и отправили... А я как-то выжила... После войны туго пришлось. На мужа похоронку получила, из-за дочки в контору таскали, но — выжила... Сынок мой живой возвернулся, за хозяйство взялся, женился.

Только жить начала складываться с порухи, и приходит от того Йофа письмо из самой Америки. Пишет он, что живет хорошо, что у него новая жена и что народил он, старый козел, уже двух новых сыновей, и спрашивает, чем мне помочь, потому что он век не забудет мою доброту, чтоб ему пусто было... Вот из-за этого письма сыночка моего и забрали, а жена уже рожать собралась и ото всего этого — померла родами. Мишку вот народила, а сама — померла. Мы ж дома рожали — больниц не было... А сыночек мой так и не вернулся — сгубил его этот Йоф, начисто сгубил... Справочку прислали про реабилитацию, а где зарыли его — так и не дозналась. И где отца зарыли, не знаю, и мужа... И дочка где-то — неведомо, за что об ней молить: за здоровье или за упокой... Тяжко было, но в землю не ляжешь — Мишаню подымать надо... А когда Сталин помер — полегче стало. У них там какой-то Маленкович объявился — из ваших? не из ваших? — не знаю. Вот он и сделал нашей жизни облегчение. Животину держать разрешил, налоги поуменьшал — хороший, видать, человек. Только начали обживаться — все порушил кукурузник этот, чтоб ему... Последнего цыпленка уже со двора забирают, каждое деревце данью обложили, божницу из дома — и ту норовят вынести. Когда б не батька вашего с Мишкой сябра — совсем бы пропали... У Стяпан Сяргейча светлая голова, дай ему Бог здоровья, — он и придумал, как людей не згубить...”

Много позже я узнал, как именно Серегин отец помог сельчанам пережить то время поголовных реквизиций домашней животины, которыми властные мудрецы додумались догнать и перегнать Америку. С его подачи в Москву был отправлен победный рапорт, в котором указывалось, что местная партийная организация не только собрала у населения столько-то голов-головёнок крупного скота и прочей живности, но и в целях сохранения и приумножения живого веса скотины назначила буквально каждой животине личных шефов, которые

обязаны эту животину холить и оберегать. Так одной только бумагой и отделались, даже и не думая сгонять скотину с личных подворий на колхозную губительную бескормицу, — только дотошно пересчитали все народные богатства, приписывая каждому двору процентов на пятьдесят того, чего не было и в помине. На этой придумке все и выживали, пока в Кремле не заменили перегонки с Америкой с мясо-молочных на ракетно-космические...

К друзьям я присоединился, когда первый лук уже опробовали. Лук — дело нехитрое. Согнул орешину, связал концы бечевкой, выстругал стрелу — и готово. Но концы орешины разные по толщине, и из этого скособоченного оружия никакой Тель ничего бы не настрелял.

— Надо достигнуть точности боя, — раздумчиво заключил Серега.

Нам очень понравилось, как он сказал. Это было так научно и серьезно — как в жизни, и поэтому мы сразу согласились. Оставалось понять, как этого достигнуть.

Степан Сергеич, довольный тем, что отбившийся от рук сын обратился к нему за помощью, и не обращая внимания на протесты жены (“Вот вышибет кому-нибудь глаз — будешь отвечать”), растолковал Сереге, как и что, а он назавтра все объяснил нам.

Надо было две примерно одинаковые орешины аккуратно скрепить толстыми концами, а тетивой потом стянуть тонкие концы. И тетиву делать не из бечевки, а из сплетенных и надраенных воском шелковых ниток, которые Серега принес с собой. Хорошо бы еще и орешины предварительно высушить, но на это у нас не было времени.

Мы перепортили немало ореховых прутьев, но за два дня соорудили настоящий боевой лук с нас ростом. Не лук, а загляденье. Стрелу тоже выстругали не спеша и на совесть — с заостренным патронным наконечником.

В первом же пробном выстреле эта чудо-стрела просвистела мимо мишени, прибитой на щелястый забор, точненько в оградную щель, вжикнула вдоль улицы и насквозь пробила ведро с водой, что колыхалось на коромысле у одной из дальних Мишкиных соседок, которая остановилась поточить ляды с другой. Соседки сначала ойкнули, а потом заголосили...

— Добре сробили, — похвалил дядя Саша лук и с удовольствием его конфисковал...

Второй лук ему еще больше понравился, хотя мы из него даже стрельнуть не успели: участковый держал нас на строгом пригляде.

— Запаримся луки для него делать, — сказал Серега. — Делаем два дня — изымает вмиг, никакого расчета.

Мечта рушилась на глазах.

— Можно заменить лук на рогатку, — нерешительно предложил Мешок.

Рогатку, конечно, проще спрятать от дяди Саши, но для артистических представлений, к которым мы готовились, никакого сравнения с луком — совсем не тот эффект.

— Тогда надо очень классную рогатку, — предположил Серега. — Красивую.

Рогатки у всех нас где-нибудь валялись, потому что — как же без рогатки? Только, при всей простоте изготовления, были они, прямо сказать, неказистые. Рогатину еще можно выстругать покрасивее, но с резиной — беда. Камеры от довольно редких еще мячей и тем более камеры от велосипедных шин заклеивались и переклеивались до последней возможности, и если уж становились совсем негодными для починки, то мудрено было открыть с них резину и на рогатку.

Мешок достал из-под стрехи свою, но мы ее согласно забраковали.

Я знал одну ну просто сказочную рогатку. Резина на ней не с какой-то камеры, а неведомо откуда — красная, крепкая, в растяге на всю длину руки и даже больше. Богатство это принадлежало совсем взрослому пацану.

Весь вечер я уговаривал Толяна сменять рогатку, но он, убедившись, что у меня ничего стоящего нету, гнал меня прочь, чтобы я не зудел и не приставал баннным листом. Потом я удумал. Я знал, где у моего деда хранится целый горлач с красивыми монетами, на которых рабочий лупит молотом по наковальне. На монетах был написан давний-предавний 1927 год и еще написано 50 копеек, но в магазинах эти пятьдесят копеек не принимали даже за десять, так что монеты можно было только разглядывать или играть ими в расшибалочку, потому что эти пятьдесят копеек по размеру были с медаль.

Я обменял горлач на волшебную рогатку и клятвенно пообещал себе, что куплю деду зубы даже раньше, чем бинокль.

Когда через несколько дней дед прознал про монеты, он долго смотрел на меня, даже уже и не разочарованно, а как-то совсем потерянно, будто сомневался в нашем с ним родстве, хотя дедом он был мне со стороны матери и никаких сомнений у него не могло быть и в помине.

— Ты не яурей, — сказал дед. — Ты адивота кусок.

И ушел, забыв даже про подзатыльник, полагающийся мне по его же неумолимой таксе. Но — вспомнил, вернулся и засветил. Я тут же решил, что никакие зубы покупать ему не буду.

С того дня дед полностью махнул на меня рукой, отказываясь видеть во мне не только еврея, но и вообще — человека. Только в конце восьмого класса дед снова посмотрел на меня с надеждой и посоветовал в девятый не идти, а идти в училище, где из таких вот балбесов готовят зубных техников,

потому что зубы человеческие — это самый надежный источник обогащения. Я не согласился и сказал, что у человека есть и другие органы для обогащения и, например, гинеколог...

Дед глянул на меня с разочарованием и отвращением, примерился к традиционному подзатыльнику, но не решился...

Надо сказать, что эта обменная операция с рогаткой так и осталась на всю жизнь моим самым удачным коммерческим предприятием...

Рогатку я сразу принес друзьям, и, не откладывая более ни на минуту свою затею, мы тут же на дворе Мешка приступили к тренировкам по стрельбе. Мишень нарисовали на стене сарая и прочертили несколько барьеров: метрах в десяти от мишени, подальше и совсем далеко — метров за пятьдесят. Набрали гору камешков и принялись вколачивать их в сарай, выбивая щепу из трухлявых бревешек.

Выяснилось невероятное — Мешок был прирожденным стрелком. Он с любого расстояния всаживал один камень вслед другому прямо в серединку мишени, пробив худое бревнышко насквозь. О том, чтобы ставить его с яблоком, не могло быть и речи. Мы снова оказались без сына Вильгельма Теля.

Жребий выпал на Серегу.

— А где мы сейчас, в начале лета, яблоко найдем? — с надеждой спросил Серега.

— Давай я из погреба картошину притащу, — нашелся Мешок. — Какая разница?

— Пацаны, — попросил Серега, — давайте поначалу чего-нибудь побольше картошки. Страшно ведь...

— Может, арбуз? — предложил Тимка.

— Арбузов няма, — сказал Мешок, — но есть кочан капусты.

Он притащил из погреба кочан, и мы установили его на Серегиной голове. Серега мужественно стоял, закрыв глаза, и

только правое колено его мелко дрожало. Мешок стрельнул, и камень с хрустом пробил кочан, вылетев с другой его стороны с капустным шмотьем впереди себя.

— А это не хуже Вильгельма Теля с его луком, — обрадовался Тимка красочному зрелищу.

Было решено найти зрителей и провести пробный показ номера. Серега совершенно справедливо предложил нам троим бросать жребий на сына перед каждым новым выстрелом. Жребий опять выпал на него.

Предвечерние улицы были пустынные, но, свернув на свою, я увидел компанию взрослых пацанов на бревнах, сваленных у калитки нашего соседа Трофимова. Скоро из этих бревен сосед нарежет столбики для новой ограды, а пока на них удобно сидеть за неторопливой вдумчивой беседой, или шлепать по ним старыми пухлыми картами, или острым ножом вырезать по коре свои инициалы... Пацаны шлепали картами.

Мы решили, что эта компания вполне подходит для первого выступления, и я пошел к ним объяснить. Пошел совершенно безбоязно, потому что все они — с нашей улицы, и кроме того, среди них сидел тот самый Толян, у которого я вчера и выменял его классную рогатку...

— Чой-то я не понял, салага, — сплюнул Толян на бревно. — Ты мне предлагаешь заплатить рубль за то, что я посмотрю, как ты стрельнешь из моей рогатки?

— Не рубль, а десять копеек, — напомнил я ему про реформу денег, которую провели в начале года, чтобы мы ходили в кино всего за десять копеек, а не за целый рубль, как ходили раньше.

— Не важно: по-старому — рубль, — стоял на своем Толян.

Подошел Серега и рассказал про Теля, яблоко и демонстрацию меткой стрельбы. Толян слушал, поплеывая и подмигивая своим приятелям. Потом взялся дурковать.

— Эт вон — твой Тель? — Он указывал концом ножа на Мешка и ждал, пока Серега кивнет. — А эт вон — яблоко? — Он указывал на кочан в руках Тимки... — А ты, значит, будешь изображать сына вон того Теля? — Он снова указывал на Мешка...

Пацаны на бревнах хохотали вповалку, дрыгая ногами в воздухе.

— Слушай сюда, сынок, — Толян нацелил свой нож в Серегин лоб, — ставь на свой кочан тот кочан, который у тебя за яблоко, и я покажу тебе, кто тут настоящий Тель.

— Нашел дурака, — отказался Серега. — Как стреляет наш Мишка — тебе век не стрельнуть.

— Ладно, салага, — сощурился Толян, — сейчас я тебе покажу, как надо стрелять. А когда я с первого раза собью вашу капусту — с вас, салабоны, рубль, понял?

Тут он нас припер — не откажешься, ведь мы сами только что предложили ему то же самое.

— Не рубль, а десять копеек, — уточнил все сразу Серега.

— Ну, я и говорю — рубль по-старому. Коляка, — скомандовал он приятелю, — бери кочан и становись к забору напротив.

— Да ладно тебе, — пробовал отнекнуться Колька, — посмеялись и будя...

— Сказано, становись. — Толян уже не смеялся, а злобно щурился. — Дай-ка сюда мою рогатку, — велел он мне.

— Это моя рогатка, — напомнил я.

— Твоя-твоя, — согласился Толян. — Не ссы — стрельну, рубль получу и верну.

Колька, трясясь от страха, стал к забору напротив бревен и поставил кочан на голову. Кочан упал. Колька поставил снова и остался держать кочан руками, все выше поднимая его над головой.

— Не трясись, — процедил Толян приятелю, растягивая резину.

Свист камня, Колька с кочаном над головой, звон разбитого стекла в доме напротив, рогатка у бревен на земле и —

никого на бревнах. Сиганули за угол — как провалились. Оглянулся — и Кольки нету. Серега успел подобрать рогатку, передать мне, нацелиться бежать, а мы с Тимкой и Мешком ничего не успели. Набежавшие отовсюду соседи взялись нас трясти, перешвыривать из рук в руки и вытягивать рогатку у меня из-за пазухи...

По настоящему совету дяди Саши каждому из нас назначили домашний арест, и если руководить нашими внедомашними забавами родители не могли, то запретить покидать дом было вполне им по силам. После некоторых пререканий о том, входит ли, например, сарай в понятие домашний арест или не входит, моя матушка приказала: “За забор — ни шагу”. Пришлось подчиниться. Каникулы пропали напрочь.

В основном я торчал в доме. Читал с утра до вечера — сидя, лежа, за столом, на пороге в створе открытой на улицу двери, на крыше дома и на крыше сарая, снова в доме. Матушка то и дело спотыкалась об меня, чертыхалась и — раз уж случилось — очередной раз объясняла, что я уже загубил ее жизнь, а сейчас пытаюсь загубить свою, но она мне этого не позволит...

Когда начинало темнеть, в дом набивались соседки. Они приносили с собой скамеечки и табуретки, плотно рассаживались перед телевизором и глядели все подряд, бесшумно смахивая семечную шелуху в аккуратные ладошки, иногда коротко всхрапывая и тут же просыпаясь — усталые, наломавшие на работе и по дому до гуда в ногах, они пересиливали дрему и сидели чуть ли не до окончания передач, чтобы потом уже, зная, что ничего интересного не пропустили, вернуться к недовольным своим мужикам и еще полночи проедать им плешь покупкой своего телевизора. На меня соседки поглядывали с испугом и очень жалели мою матушку, которой достался такой неслух, а сами тихо радовались, что ихних детей милиция не арестовывает на домашнее заключение, хотя у ихних детей мамки совсем даже и не учительницы, а простые работающие женщины.

На нашей улице телевизор появился у нас у первых, и потому приходилось нести эту ношу принудительного гостеприимства. Я старался на этих собраниях не присутствовать и насматривался разными передачами днем в воскресенье, когда соседкам, занятым домашними хлопотами, было не до телевизора, но иногда на несколько минут останавливался позади всех в двери и коротко ухватывал от какой-нибудь программы. Меня бесило тупое равнодушие моих земляков, с которым они походя комментировали увиденное, но правила гостеприимства, даже насильственного, не позволяли выказать это свое отношение, и я уходил из “зрительного зала”.

Вся страна в светлом воодушевлении поднимает целину, рвется в космос, а они только и знают, что копохаться в своих грядках.

Я сгорал завистью к очень симпатичным парням и девчатам из телевизора, которые в прекрасном порыве плечом к плечу все это поднимают и покоряют, и очень боялся, что на мою долю не останется ни этого воодушевления, ни этих целинных земель. Было понятно (и обидно), что мои односельчане никогда в жизни в трезвом уме (тем более в нетрезвом) не прутся плечом к плечу чего-то там двигать, менять, переделывать, а если их и погонят на это какой-нибудь силой, то и тогда всяк постарается пристроиться наособняк и чуточку с краю...

Тогда по малолетству я не понимал, что именно в этом уникальном и гармоничном состоянии ума и души — главное очарование моих земляков, что нет ничего более унижительного и разрушительного, чем захват всеобщего воодушевления, но уже в пятом классе мне повезло получить стойкий иммунитет к любым массовым восторгам...

Нашей школой служили обычные бревенчатые домишки, незаметно разваливающиеся внутри развалин высокого забора, отделявшего школьное пространство от остального по-

селка. Мой пятый класс занимал самую удачную избу — самую дальнюю от дома с учительской и кабинетом директора, и поэтому звонок на начало урока доходил до нас намного позже других классов (доходил в буквальном смысле, так как звонком был самодельный колотун-колокольчик в руках школьного сторожа, с которым тот неспешно обходил школьный двор). Мы не знали точно, насколько позже: я считал, что минут на пять, а Тимка клялся, что на все десять, но Тимка так часто клялся во всяких небылицах, что особой веры ему не было. Правда, и кончался урок в нашем пятом тоже позже других, и поэтому мне иногда казалось, что у нас самое неудачное место во всей школе. Но в минуты спокойных размышлений я все-таки убеждался, что удачного в расположении нашего класса много больше. Дело в том, что учителя чаще всего выходили из учительской по наши души только тогда, когда сторож возвращался туда со своим бренькающим звонком. Считай, еще пять минут — наши (а по Тимкиному — еще десять). А кроме того, большинство учителей заканчивало урок, сверяясь не с сигналами сторожа, а со своими часами, что прибавляло к нашей свободе еще пять минут. Вот и выходило, что от 45-минутного урока нам оставалось мучений всего на полчаса (а у Тимки — совсем ничего), и можно было только удивляться, сколько же неприятностей умудрялись сотворить наши учителя за такое короткое время...

Больше всего гадостей можно было (и даже нужно было) ожидать от нашей классной руководительницы — Таисии Николаевны. Главной ее работой была должность старшей пионервожатой, хотя она и была куда старше, чем это было принято для пионервожатой, даже и старшей. У нас, кроме классного руководства, она вела еще уроки пения, и каждую неделю мы с Тимкой, Мешком и Серегой буквально до чесотки силились заново придумать, как увернуться от очередной унижительной экзекуции. Дело в том, что на уроках пения Таисия Николаевна заставляла всех нас петь хором с ней ее лю-

бимые песни, а самую любимую — “Мы с тобой два берега” — наш пятый жалостно орал несколько раз в урок, распугивая окрестных коз.

Обычного, нормального ее голоса мы не слышали, и, может быть, даже его у нее и не было. Иногда она тихо рыдала, посматривая искоса в ожидании, когда же мы устыдимся своей черной неблагодарности и раскаемся в своих бесконечных перед ней преступлениях. Смотреть на это было очень неприятно, и мы конечно же отворачивались, снова убеждая Таисию Николаевну, что внутри этих тупых уродов ничто человеческое не ночевало. Все остальное время она визжала, и, например для Тимки, это было куда невыносимей, чем песня про два берега. А в промежутках между пением, визгами и рыданиями она что-то постоянно придумывала, чтобы преодолеть нашу деревенскую косность и поселить нас среди тех же светлых идеалов коммунизма, с которыми, по ее словам, она не расставалась ни на секунду...

Однажды она объявила, что три ряда наших парт в классе — это на самом деле три боевых звена, которые будут каждый день напролет бороться за обладание вымпелом “пионер-активист”. Потом она назначила в каждый ряд по два командира и напомнила нам, что мы — пионеры и должны стыдиться сами себя за все свои безобразия. Уже должен был начаться урок географии, и директорская жонка (на самом деле — историчка, а для нас и учитель истории, и учитель географии, и учитель рисования) нетерпеливо постукивала указкой, но Таисия Николаевна что-то ей пошептала, закатывая глаза, и сняла с урока всех ею назначенных командирш, уводя их с собой. “Пионеры! К борьбе за дело Ленина будьте готовы!” — взвизгнула она в дверях, да так резко взвизгнула, что вздрогнули все, включая директоршу.

А на следующее утро сразу же за скриплой дверью классной избы на меня дружной стаей налетели все шесть Таисиных избранниц. Меня закрутил этот неожиданный напор

многорукого воодушевленного чудовища, щебечущего в несколько ртов невероятную хрень. “Покажи руки... светлые идеалы... чистые уши... гигиена... как завещал великий Ленин... карманы... нет носового платка... пионерский галстук в кармане... в портфеле нет дневника...” Тут только я заметил, что одна из командирш шарит в моем портфеле, и рванулся из цепких рук, но мог бы уже и не рваться, потому что задавачная гадина отбросила мой развороченный портфель на парту, а сама старательно записывала в специально разлинованной тетрадке про то, что у меня галстук в кармане, нет дневника и утиральника для носа.

Пришедшие раньше одноклассники сидели за партами, уворачивая в сторону глаза, ненормально тихие и пристыженные собственным бессилием, а в дверь что есть сил рвался очередной бедолага. Командирши оправили свои чистенькие фартучки, подровняли белые повязки с красным крестом на правой руке, сверкнули на нас необычайно сияющими глазенками на восторженных мордах и откинули дверной крючок...

Из глубины класса на все это благосклонно смотрела Таисия Николаевна, и победная улыбка страшновато ползала по ее разруганному лицу.

Скоро все мы, слегка помятые санитарным кордоном, заняли свои места. Точнее, почти все. Тимку уличили в том, что у него грязные руки и уши, и отправили все это отмывать, а поскольку в наших классных избах для этого не было никаких приспособлений, он и умотал вразвалочку обратно домой, вызывая жгучую зависть и открывая нам обалденные перспективы.

— В каждом человеке и даже у таких хулиганов, как вы, — назидательно взвизгивала Таисия Николаевна, подводя первые итоги своих новаций, — все должно быть прекрасно и безупречно чисто: и руки, и мысли, и уши...

Наши одноклассницы, приставленные стражами к прекрасному, сияли таким необыкновенным счастьем, что даже

смотреть на них было неприлично, и мы себе позволяли только подсматривать за ними.

Несмотря на то что первый урок в нашем пятом теперь начинался с существенным опозданием, остальные учителя некоторое время полностью поддерживали наших стервенеющих на гигиене и порядке командирш, грозя все более многочисленным нарушителям снижением оценок за четверть и другими очень отдаленными карами. Но с каждым днем носителей грязных рук и ушей становилось все больше, и в конце концов на первых уроках порядок и гигиена стали идеальными: ни шума, ни гама, ни самих пятиклассников — только шесть восторженных идиоток, сияющих счастьем и преданностью.

Наверное, к этому времени учителя перестали полагать, что в каждом из нас так уж непременно все должно быть прекрасно, и бушующим стражницам запретили отсылать нас на отмывание рук и ушей. Теперь за такие преступления нас по жалобам санпропускниц просто заставляли стоять стоймя урок напролет, возвращая за парту только на время письменной работы. Правда, это делали лишь самые правильные учителя, а другие — нормальные — выслушивали жалобы, советовали обратиться с этим вопросом к классному руководителю и начинали урок. Злобные санитарки поджимали губы и жаловались Таисии Николаевне уже не только на нас, но и на неправильных учителей, а сами с еще большим остервенением записывали в специальные тетрадки любые наши нарушения порядка и чистоты. Не помогали ни подзатыльники, ни разбросанные из портфелей учебники — никакие традиционные и специально придуманные способы болезненного (и весьма болезненного) воздействия. Все это превращалось в очередные записи нарушений, а затем появлялось в наших дневниках двойками и колами по пению и поведению и грозными посланиями родителям.

Выход нашел Серега. В каждой классной избе была печка, которой обогревались классы с поздней осени и до самой весны. Сейчас еще печкой не пользовались, и Серега зачерпнул

из поддувала полные горсти холодной золы, а когда две санкомандирши подлетели к нему проверять чистоту рук, он их и показал — резко разжал пальцы, окутывая жриц гигиены двумя облачками сизого пепла. Под мощный хохот всего класса стражницы чистоты отправились отмываться.

На следующий день отмывались и другие санактивистки, и постепенно весь их гигиенический пыл сошел на нет. Таисия Николаевна несколько раз пыталась возродить затухающее движение к светлым идеалам, но против золы все ее резоны оказались несостоятельными.

Однако и не любимая нами Таисия Николаевна все-таки дождалась от нас настоящего сочувствия и нашего общего перед нею раскаяния. Оно было недолгим, но самым искренним.

В самом конце пятого класса всю школу поголовно заставили проходить рентген на предмет обнаружения тайных пороков организма. Мы надеялись, что рентген обнаружит, какой порок гложет Мешка день за днем — Мешок ходил совсем отсутствующий, потому что на него уже свалился его сказочный дар, про который, разумеется, никто из нас не знал.

В установленный для нашего класса день Таисия сняла нас всех с последнего урока и повела в поликлинику, объясняя по дороге, что в рентгеновских лучах нет ничего страшного и бояться нам нечего, потому что партия и родное правительство заботятся, чтобы у нас хватило здоровья на построение запланированного коммунизма, и для этого просвечивают наши болячки рентгеном, через который сразу будет видно, кто из нас для коммунизма негоден. Она так много говорила, что любому было ясно: Таисия то ли из-за рентгеновских лучей, то ли из-за тайных пороков, которые от этих лучей не спрятать, но до жути боится рентгена, что предстоит ей тоже вслед за нами...

Рентгенологом в нашей поликлинике был старый доктор Насовский (на самом деле все говорили “полуклиника”, оче-

редной раз подчеркивая, что все целое и настоящее где-то далеко — не у нас). По совместительству он еще работал пат-анатомом в морге при больнице. Насовский всегда был немножко прилично пьян, потому что в рентгеновском кабинете пил из страха перед радиацией, а в морге — из страха перед покойниками. Иногда он путал пациентов, которых в данный момент пользовал, и взамен вежливых обращений клявшегося Гиппократу сельского интеллигента больной мог услышать, что у него для покойника вполне приличные легкие. Со слов посвященных, его каждый день привычно поругивали на врачебных летучках, но сделать ничего не могли. Насовский вместе с хирургом Бакановым были нашими главными достопримечательностями — главней их, пожалуй, был только целебный воздух Воронцового бора, потому что за этим воздухом приезжали к нам из далекого Ленинграда, а за помощью Насовского и Баканова приезжали самое дальнее из района, правда, однажды к Насовскому приехали за консультацией из самого Витебска...

В рентгеновском кабинете, понятное дело, было жутковато: полумрак, сладкий воздух, тревожащий гул и потом — полная темнота, в которой тебя зажимают экраном, а появившаяся из ниоткуда резиновая рука хватает тебя за локоть и тащит, и крутит, и плющит об холодную пластину...

— Одевайтесь, — прошелестел Насовский, когда зажглась красноватая лампочка и я выбрался из-за пластин его рентгеновского аппарата. — Курите? — любопытствовал он, довольно-таки нетрезво покачиваясь в клубах папиросного дыма. — Вредное дело — поверьте мне, молодой человек. — Он хлебнул из стакана, затянулся папироской и скомандовал: — Следующий...

Мы довольно быстро отстрелялись. Потом по очереди были девчонки, а за ними Таисия Николаевна. Прежде чем скрыться за дверью рентгена, Таисия сказала, чтобы мы ничего не хулиганили, пока она не освободиться, а ждали, когда она ответит нас в школу культурным строем.

Обратно она вывалилась через пару минут в совершенно разобранном виде и в оглушительной истерике. Она рыдала не только красным жалким лицом, но и всей грудью, кое-как прикрытой кофточкой в один надетый рукав. Впервые мы ее видели без пионерского галстука, и от этого она казалась куда более голой, чем от недоодетой кофточки. Сквозь захлеб рыданиями, зубовную дрожь и истошные “ай-я-яй” мы поняли, что, по заключению Насовского, Таисии осталось жить всего ничего — может, даже несколько минут.

Насовский был безусловным светилом, и Таисию стало жалко до слез. Мы с дрожащими губами обступили ее, не обращая внимания на ее “оставьте меня, помогите мне”, и не знали, что сделать и как загладить нашу перед ней вину не важно в чем.

На Мешке и совсем лица не было. Он вышел на крыльцо, поднял свои огромные глаза вверх — точненько на вывеску “Богушевская поселковая поликлиника” — и зашептал с паузами, запинками, поправками, но очень настойчиво и убежденно:

— Пусть Таисия не умрет... Сейчас пусть не умрет... Потом, от старости — конечно, но не сейчас... Господи, сделай так!

И Таисия не умерла, а совсем даже наоборот — долго еще портила нашу жизнь...

Позже появилось вполне разумное объяснение чудесному излечению Таисии Николаевны от неминуемой смерти.

Чтобы смотреть нас на рентгене, нам поставили туда скамеечку, на которую мы и вставали перед аппаратом. Таисия взгромоздилась на ту же скамейку, и Насовский на какое-то время потерял дар речи. Потом он отхлебнул изрядную порцию своего лекарства от лучей и изрек:

— Сказочная каверна!.. Не жилец... Совсем не жилец...

Но Мешок нисколько не сомневался в своем даре и в истинных причинах исцеления Таисии, потому что заказанные им

чудеса и должны выглядеть самыми обыденными событиями, чтобы никто не догадался про его тайную миссию и необыкновенные возможности...

Сейчас, когда читателю точно известно место, где совершал свои чудеса Мешок, наверное, появятся возмущенные очевидцы или даже самые настоящие уроженцы поселка Богушевск Витебской области, которые начнут размахивать пропиской в паспорте и доказывать, что все это — сплошная фантазия и ничего подобного в Богушевске отродясь не было: ни этих жителей, ни этих событий. Конечно фантазия. Все, что мы любим, во что мы верим, что мы помним и храним, — все это только наши фантазии. Но если поднять глаза вверх и честно повторить фантазии, в которые мы верим, а потом не забыть сказать “Господи, сделай так”, то все наши фантазии обязательно станут реальностью. Если, конечно, ты при этом вправду желаешь только добра и справедливости и не выкраиваешь какой-то выгоды для себя. И вот это уже — очень трудно. Из всех людей, кто такое бы умел, я знаю одного только Мешка, но и у него очень часто все получалось наперекосья.

4. Мешок (Бремя чудес)

После замечательного воскрешения Таисии Николаевны Мешок ненадолго встряхнулся и стал почти прежним, но дальше все понеслось вкривь и вкось, и можно было только удивляться, сколько же несчастий происходит на свете из одного только светлого желания очевидной для всех пользы.

Мешок пожелал, чтобы исчезли хлебные очереди.

Наверное, к этому времени мы уже почти догнали Америку по запасам зерна, и оставалось еще чуть-чуть поднапрячься, но тут Америка сама испугалась и стала продавать нам свое зерно, лишь бы мы перестали за ней гоняться. При этом все равно она оставалась нашим заклятым врагом и зерна нам продавала совсем мало, а поэтому и хлеба вдруг стало очень внехватку.

К хлебному магазину выстраивалась длиннющая очередь, в которой стоять приходилось с раннего утра, когда и магазин был еще на замке, и до самого обеда. Можно было все время и не стоять, но надо было прибегать и посматривать, чтобы не прозевать совсем, а потом еще сгонять за всеми домашними и поспеть всем гуртом занять скарауленное место в очереди, а эти места, как правило, занимались по два-три раза вразбивку, потому что хлеб выдавался по две буханки черного (и, когда был, по батону белого) в одни руки. Нам с матушкой этих двух буханок, которые я покупал, хватало на три-четыре дня,

а соседям приходилось набирать сколько только возможно, потому что хлебом кормили домашнюю живность. С этой дурной привычкой громогласно боролись на всех собраниях и плакатах, но других кормов не было, а справедливыми словами о цене хлеба, который всему голова, хрюшек не накормишь...

В общем, Мешок пожелал совершенно правильно, иначе бы все эти каникулы так и прошли у нас в очереди за хлебом. Но, зная, что даже с правильными желаниями все может получиться совсем неправильно, Мешок постарался все предусмотреть и пожелал вдогон, чтобы сам хлеб не исчез. Радуюсь своей предусмотрительности, Мешок еще раз все внимательно повторил и с чистой совестью произнес им же установленный пароль, запускающий всю эту неведомую механику: “Господи, сделай так”. И очереди — исчезли.

Буквально на следующий день объявление на дверях хлебного магазина разъясняло моим землякам новый порядок покупки хлеба. Отныне хлеб продавался по спискам всех семей поселка из расчета одна буханка черного и полбатона белого на каждого человека. В поселке и окружающих его деревнях начался скотобой.

Хозяйки плакали, хозяева матерились, животные стонали молча, но Мешок, даже и затыкая уши, слышал эти смертные стоны. С того времени Мешок стал вегетарианцем. Само слово мы узнали много позже, а в те дни считали, что Мешок просто придуривается, но Клавдяванна здорово переполошилась, подозревая у внука какую-то неведомую и редкую болезнь. Не добившись результата привычным воспитательным набором из плача, проклятий и подзатыльников, бабка собрала узелок с закуской, прихватила бутылец самогона и поволокла Мешка к “доктору” Насовскому, чтобы тот вправил мозги ее неслуху.

Насовский сначала отнекивался, разъясняя Клавдеванне, что он здесь совсем по другой части, но та развернула хустку

с закуской, и перед этой скатертью-самобранкой доктор не устоял, тем более что специалиста по мозгам в нашей “полуклинике” все равно не было.

— Вы, доктор, скажите этому паршивцу, что у меня на зиму только бульба с салом, — поучала Клавдяванна Насовского. — Инойшей еды у меня для него няма.

— Мне хватит и одной бульбы — без сала, — буркнул Мешок.

— Что же вы, молодой человек, бабушку огорчаете? — естественно ласковым голосом промурчал Насовский, любовно разглядывая на свет стаканчик с самогоном. — Вам надо быть сильным... Единственный мужчина в доме... Мужиком надо быть... — Доктор заглотнул всю порцию единым махом и зажмурился. — А от бульбы без сала — какая сила? Один только крахмал. — Насовский сквозь выбитые самогонкой слезы шарил чем закусить — ухватил чищеную луковицу, хрустко откусил от нее, как от яблока, и тут же заойкал-заухал: — Ух, как ядрёно — слез не напасешься... — Он нашарил графин с водой, хлебнул из горлышка и отдышался, а потом достал большучий носовой платок, утерся им, ухло прочистил горло и следом — огромный свой нос и совсем пришел в себя...

— Так о чем мы, молодой человек? — Доктор разминал папироску, а Клавдяванна наново наполняла его стаканчик. — Ах да, бульба, крахмал... Поверьте мне: от крахмала только воротнички стоят...

— Какие воротнички, дохтор? — Клавдяванна зорко следила за ходом лечения. — Скажите этому обалдую, чтоб не кочевряжился и ел что дают.

Насовский затравленно посмотрел на Клавдюванну и потянулся к стаканчику. Ему еще не приходилось вести врачебный прием в таких неблагоприятных условиях под диктовку решительной старушениии, а Мешок, уловив этот полувиноватый взгляд, неожиданно решился откровенно все объяснить.

— Их нельзя есть... они такие же, как мы... они плачут от боли... и от страха... только говорить не могут... молча плачут... я слышу... они все понимают... не словами, но понимают... и плачут молча... бессловесные — так и есть их?.. Бабка рассказывала, что я до трех лет тоже не говорил... молча жил... так что — меня тоже?.. А годовалые дети совсем не говорят... тоже бессловесные... никакой разницы: годовалый дитё или молочный поросёнок...

Насовский внимательно рассматривал Мешка, потом хмыкнул, хлопнул стаканчик, крякнул, взял подсушенный Клавдеванной лапоток свежезажаренной свиной печенки, понюхал, опять глянул на Мешка — и отложил в сторону...

— Не волнуйтесь — ваш внук совершенно здоров. Пусть ест что хочет. Граф Толстой тоже не ел мяса и замечательно себя чувствовал — даже стал великим писателем...

— Графьям можно с разными причудами... У графьев мармелады с марципанами — небось голодными не останутся, а у меня только бульба с салом...

Клавдяванна с ворчем затыкала бумажной пробкой недопитый самогон и собирала оставшуюся снедь. Потом махнула рукой, выпростала из-под закуски свой платок и пошла прочь, подпинывая вперед себя Мешка, чтоб не мешкал. Она хотела сказать доктору про то, что евоному народу на сало дан полный запрет и потому он с зависти готов отказать в сале и ее внуку, но вспомнила докторовы слова про графа и промолчала. Вся эта загадочная история про графа, который был так похож на ее Мишку, несколько дней подряд не давала ей покоя. Клавдяванна не поленилась и пошла в поселковую библиотеку, чтобы у библиотекаря Шуры все обстоятельно порасспросить про графа Толстого.

Шура Сорочкина была пышной культурной барышней в рыжем окрасе и училась заочно в институте культуры. Кроме того, она была дочерью еще более пышной и культурной Сороч-

киной Софьи Борисовны, которая в нашем поселке наследственно руководила народным театром, организованным еще в 20-х годах ее отцом. Тогда театр был не народным, а простым драматическим коллективом и ставил пьесы еврейских писателей на их же еврейском идише, и уже по одному этому можно представить, какое поразительное засилье евреев испытывал наш поселок, пока война не установила их более справедливое соотношение с коренным населением, что и позволило переименовать театр в народный и ставить там пьесы прославленных белорусских драматургов.

Мы с друзьями никогда не были членами этого знаменитого коллектива, но в старших классах театральное закулисье манило нас своими резкими запахами, что только там и блуждали, сильно подпитывая наши и без того блудливые помыслы. Вполне может быть, например, что и для пламенного большевика Кирова, и для истрепанного всесоюзного старосты Калинина причина их самозабвенного увлечения артистками (и в частности, балеринами) была в том же будоражащем запахе, а не в том, что они были похотливыми козлами. Впрочем, причин могло быть и две...

Вокруг Шуры Сорочкиной постоянным плотным облаком висел этот запах грима, духов, пыли и перегретого тела.

Клавдяванна принюхалась, чихнула и приступила к дознанию, начав с национальности графа Льва Николаевича.

Домой Клавдяванна возвращалась в сильном беспокойстве. Она очередной раз убедилась, что верить докторам нельзя, пусть даже манерами они намного обходительнее, чем все остальные нехристи. Немецкий доктор давным-давно сманил ее дочурку, да так и сгинули оба неведомо куда, а этот зальет зенки и видеть не видит хворобу, которая гложет ее внучку. Конечно, за чужой щекой зуб не болит. “Совершенно здоров”!.. А граф этот — тоже здоров? Разве здоровый человек бросит жену, усадьбу, все нажитое добро, чтобы уйти мыкаться по

чужим углом, где и помереть?.. А как и Мишка уйдет с хаты — куда ей, старой, деваться?..

С этого времени из нехитрых воспитательных приемов Мишкиной бабки напрочь исчезли тумачи с подзатыльниками и даже проклятия стали реже и тише. Мы смертельно завидовали и удивлялись, что Мешок не использует чудесную бабкину придурь в полный мах.

Примерно в эти же дни Мешок дал нам еще один повод для удивлений. Вдруг оказалось, что для всей поселковой живности, включая злючих собак, Мешок что отец родной (ну разве одни куры на него по-прежнему не обращали внимания, но что с них взять, с безмозглых?). Первым эту странность заметил Тимка. Стоило появиться Мешку, и потихоньку начинали собираться беспривязные собаки, лениво располагаясь возле (если Мешок был один, то поближе, а если с нами — повдалеке). Кошки безбоязно расслаживались по столбикам забора, если Мешок болтался рядом, и даже собаки, караулившие в это время свою долю внимания Мешка, на них не взгрызались, делая вид, что в упор их не видят, а стоило Мешку устроиться на скамейку или хоть на бревно, обязательно появлялась какая-нибудь мявчи́ла, чтобы забраться к нему на колени. Да ладно бы только это — главное, что огромный Ингус Домового норвил быть рядом с Мешком, ввергая нас в завистливое восхищение, а Мешка — в испуг.

— Прямо дед Мазай, — восхитился Серега, отрываясь от игры в ножички.

— Это потому, что Мешок мяса больше не жрет, — предположил Тимка, принимая от Сереги ход в игре.

Мы осмотрели четвероногих Мешковых телохранителей, разлегшихся у соседского забора метрах в тридцати от нас.

— Да это случайно, — отнекнулся Мешок, с опаской поглядывая на поднявшего морду Ингуса.

— Давай проверим, — уперся Тимка.

Мы отряхнулись, прошли до переулка, свернули и устроились играть заново. Минут через двадцать вся псиная свора под водительством Ингуса протрусила мимо нас дальше по улице и разлеглась метрах в сорока.

— Теперь понял? — победно подытожил Тимка. — Если бы я мяса не жрал — они бы и за мной бегали, как бобики. Ничего хитрого.

— Не-е, — отмахнулся Серега, — тут дело в другом: в том, из-за чего Мешок мяса не ест. Вот из-за этого они его и считают своим.

— Из-за чего? — не уступал Тимка.

— Не знаю. Может, Мешок, как Маугли, одной с ними крови? Вот и они чувствуют...

— Так получается, что наш Мешок — немного животина, как эти псы?

— Наверно...

В этом предположении сквозила какая-то главная истина, но нас вполне удовлетворила его поверхностная правда — она странным образом утишала нашу зависть. Мешок краснел и отмалчивался, оказавшись в центре нашего внимания.

Игра расстроилась. Мы молчком мечтали о том, как бы каждый из нас распорядился такими замечательными способностями, которые Мешок разбазаривает попусту. А еще и бабка его ничем не ругает, а только вьется, не зная, как угодить...

Перебравшись в старшие классы и узнав о том, что такими же умениями, как у Мешка, обладал Домовой, мы даже предположили, что именно Домовой по-соседски стал настоящим отцом Мешка. Мы высчитывали вероятность этого, совмещали даты, прикидывали, когда Домовой вернулся из первой своей тюрьмы, проверяли, насколько Мешок похож на сына Домового, и даже сдуру начали устанавливать сходство Мешка с женой Домового, хотя это не имело никакого отношения к

нашим подозрениям. Мешку об этих своих изысканиях мы не сказали ни слова и сами в них ни к чему не пришли. Может, и так, а может, этот талант свалился на Мешка совершенно случайно, как раньше — на Домового, и может даже быть, что, например, пес Домового Ингус каким-то образом передал Мешку способности своего несчастного хозяина.

А тогда наша игра в ножички закончилась совершенно неожиданно.

— Мешок, а давай ты отдрессируешь этих собак, как в цирке, — предложил Тимка. — Мы будем твои номера показывать за деньги. Денег огребем — кучу.

Мы так и эдак прокатали Тимкину идею и не нашли в ней никаких изъянов, но в мечты о будущих доходах и связанных с ними возможностях уже не погружались, хорошо помня, что пока все очень разумные Тимкины идеи обогащения заканчивались крахом и горечью утраченных мечтаний...

Первым делом мы отправились в библиотеку за каким-нибудь учебником по дрессировке. Библиотекарша Шура по случаю летнего дня была в цветастом сарафане с большим вырезом. Она млея в жару, расслабленно облокотясь на высокий стол. Мы толкотались с другой стороны этого стола, вытягиваясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, потому что разглядывать было что...

— На — изучай. — Серега протянул добытую книжку Мешку.

— Лучше ты... а мне расскажешь что и как.

Мы согласились, что так будет правильно, потому что Мешок пока что читал с трудом, и в это время единственным его чтением были сказки, которые мы с Серегой щедро отдали ему из своих домашних запасов исключительно по своей натуральной доброте, а совсем не потому, что мы уже выросли из этих детских книжек.

Мешок искренне полагал, что всякое сказочное волшебство вполне может быть самой взаимправдашной реальностью (уж ему ли не знать!), и свято верил, что в сказках (да и в книгах вообще) написана чистая правда — только все это еще надо разгадать. Несколько раз он попытался поговорить с нами о прочитанных сказках, но мы отмахивались от его недоразвитых пониманий и советовали быстрее учиться читать не по складам, а по-настоящему, чтобы перейти на стоящие книги.

Помню, однажды Мешок сказал, что в незапамятные времена...

— В незапамятные, — поправил Серега.

— Ну да... В общем, люди тогда были маленькие и такие уродливые, что отличить их от зверья не было никакой возможности.

— Откуда ты это узнал?

— Из книги про Красную Шапочку.

— Интересно, что бы ты узнал из книги про Мальчика-с-пальчика, — засмеялся Тимка. — Или из истории про почти мертвую царевну и семь мужиков-богатырей.

Мешок покраснел и расстроился.

— Ты, Мишка, не дуйся, — примирительно сказал Серега. — Может быть, наоборот: в те времена волки были здоровушие и очень похожие на людей...

На следующий день Серега принес ржавый обруч от бочки и целый карман рафинада, спертого им из приготовленных на самогон запасов.

— Давайте сначала обучим собак прыгать через обруч и ходить по бревну.

По Серегиным объяснениям, надо было показать собакам, что им делать, и каждый раз поощрять ласковым словом и куском сахара — в нашем случае Мешок должен был протаскать пса через обруч, похвалить и угостить рафинадом. Потом еще и еще, пока псина не поймет, что от нее требуется.

— Все просто, а для Мешка — еще проще, — обрадовался Тимка. Он взялся руководить дрессировкой и Мешком и, забрав у Сереги сахар с обручем, командовал: — Пошли.

При нашем приближении Ингус встал, потянулся, издевательски зевнул и потрусил прочь, а вся стая — за ним. Мешок забрал у Тимки обруч и пошел к собакам один. Они поднялись с места, но не ушли, а сердечно приветствовали Мешка радостным кручением хвостов. Мешок поставил обруч перед Ингусом, и тот лениво прошел сквозь него. Потом Мешок приподнял обруч над землей — Ингус грациозно прыгнул. Этот же трюк Мешок запросто повторил с остальными псами.

— Я же говорил — проще простого, — шептал Тимка, возбужденно топчась и даже подпрыгивая на месте.

Мешок несколько раз повторил всей стаей аттракцион с обручем, а потом потный и счастливый подошел к нам.

— Давай сахар, — сказал он Тимке, — надо, чтоб по науке, а не за так.

— Пацаны, я его слопал, — развел руками Тимка.

— Что — весь? — не поверил Серега.

— Ну да... В волнении... Не заметил...

— Это невозможно, — сказал Серега и для проверки похлопал по Тимкиным карманам. — Ну ты и проглот...

— Правда, нечаянно...

— Ладно, мы и без науки могём...

Мешок придумал, чтобы Ингус сначала перепрыгнул через всех собак по очереди, а потом — в обруч. Этот номер у него получился не сразу, но получился.

— Ну, что дальше делаем? — Мешок снова вернулся к нам и вопрошающе смотрел на Тимку.

Делать было нечего.

Стоило нам только на чуточку приблизиться к Мешку и его четвероногим артистам, как любой номер прекращался и начи-

нался прежний: собаки уходили подальше, а когда мы попытались неожиданно подбежать из-за угла, Ингус вздыбился нам навстречу и зарычал.

Это был полный облом, и против него оказались бессильными все Мишкины таланты.

— А если издаля показывать — чтоб из-за угла смотрели? — предложил Мишка.

— Издаля, из-за угла, никто денег платить не будет, — резонно возразил Тимка.

— А мы бесплатно.

— Ты что — опупел? — Тимка глядел на Мешка с жалостью.

— Чтоб порадовать, — упрямо не уступал Мешок.

— Не надо никого радовать бесплатно, — философски заключил Серега. — Ты их порадуешь, а завтра какой-нибудь пес кого покусает и тебя же в этом овиноватят.

— Нет, я не пойму, — сокрушался Тимка, — чем мы им не угодили? С чего они воротят от нас свои вонючие носы, а к Мешку — всей душой?

— Может, мы пахнем не так, как Мешок? — предположил Серега.

Тимка встал и взялся обнюхивать Мешка, а потом Серегу. Мешок краснел, держался, а потом взялся хохотать, а следом за ним и мы.

Обессиленные переживаниями долгого дня, мы забрались подальше в лес и бездумно валялись на мягком прогретом мху.

Если честно, то леса за нашей стороной поселка ничем не хуже Воронцового бора на той стороне. Надо только знать места и тропинки, чтобы не вляпаться в болотные омуты. А, например, в полуболотинах тоже бывает много хорошего. Глубже в осень там целое море брусники и клюквы — горстями можно собирать и лопать от пуза. И укромок в этом густолесье куда больше, чем в сосновой колоннаде бора. Но главное преимущество здесь в крутых холмах, и, если забрать-

ся на высоченную ель, которая раскачивается где-нибудь на самой верхотуре поближе к краю глубокого обрыва, если осматривать все вокруг оттуда, то ничего плохого в тебе не останется, кроме сильной радости, что тебе повезло родиться в таком прекрасном месте, а не где-нибудь в бескрайних степях, в которых на сто верст вокруг не найдешь ни одного деревца, чтобы залезть на него в избытке своих восторженных чувств.

Даже непонятно, почему такой замечательный лес зовется просто лесом и не заслужил какого-то специального себе названия, как, например, тот же Воронцовый бор...

— Пацаны, гоните ко мне, — позвал откуда-то из чащи Тимка, который вроде должен бы валяться рядом, но не валялся.

— Вот шевутня, — более восхищенно, чем недовольно прокомментировал Серега, но поднялся.

Мы пошли на голос и обнаружили Тимку посреди прожаренной солнцем маленькой полянки — всей целиком в сплошном земляничном ковре.

— Небось, не сразу позвал, — съязвил Серега, — а когда сам налопался.

— Тут лопать — не перелопать, — отмахнулся Тимка.

В этом Тимка был прав, и через какое-то время нам уже лень было даже переползти по этому ковру на нетронутое место...

— Слышь, Мешок, — окликнул Тимка, — ты как думаешь, разное зверье тебя будет привечать так же, как домашняя живность, или не будет?

— Не знаю.

— Наверное, будет, — предположил Серега. — Какая разница? Нашему Мешку теперь в лесу никакой медведь не страшен.

— А давайте Мешок будет подманывать на себя зверей, а мы — стрелять. Денег огребем...

— Кучу, — добавил Серега.

— Я серьезно. — Тимка от души отсмеялся, но продолжал гнуть свое. — Мешок, давай попробуем.

- Чего попробуем?
- Ну, давай ты попробуешь продмануть к себе лесное зверье, как собак деревенских.
- Какое зверье?
- Ну, разное — волков, лисиц, медмедей...
- Чтобы стрелять? Не, не буду — жалко.
- Ну ты чудила! Они ж — зверье... Чего жалеть-то?
- Не по-людски...
- Не трожь его, — вступился Серега. — Мешок прав — так нечестно.
- Что нечестно? — не сдавался Тимка. — Все честно.
- Это — как в зоопарке стрелять.

Серега был прав, и Тимке пришлось с этим согласиться, но он уже завелся и совсем отказаться от своих новых идей не мог.

— Мешок, а рыбу подманывать честно или нечестно? — издали начал Тимка новый заход.

— Рыбу — честно. Ее всегда прикармлиют и подманывают, — после долгого раздумья признал Мешок.

— А ты можешь? На тебя рыба пойдет?

— Не знаю.

— Так надо попробовать.

Тимкина идея снова была светлая. Единственным препятствием в ее немедленном осуществлении оказался наступающий вечер, и рыбную ловлю на Мишку-живца мы вынуждены были отложить до завтра, договорившись встретиться с утречка прямо на озере.

Озер вокруг нашего поселка — море. А если бы можно было какой-то силой все эти озера согнать в одно, то и взаправду получилось бы целое море. Только лучше, чтоб так, как есть, потому что море — оно везде то же самое море, а озера — все разные. Есть маленькие, размером всего с большой пруд, но такой глубины, что и без дна почти. Одно так и называется —

Бездонное и глядит в небо круглым голубым глазом среди густого ельника. Лесные озера вообще кажутся какими-то волшебными. Есть лесное озеро Дивенское, и оно на самом деле дивной красоты — точно по названию. В лесных озерах один недостаток — они, как правило, небольших размеров. А громадные озера вырываются из лесов на ровные места, где и расправляются вольно в кустарных или травяных берегах. Километров за пять от поселка разлеглось замечательное Кичинское озеро, и названо оно так совсем не потому, что на его берегу отстроена какая-то “кича”. Кичинское столь ослепительно, что само кичится своей красотой, и, право слово, есть чем кичиться: вытянутый почти идеальный овал в два с гаком километра в поперечнике и километров пяти в длину в ровных травянистых берегах — не налюбуйешься... Наше озеро, на котором мы с друзьями договорились встретиться, называется по имени поселка — Богушевское, и оно извилисто прячет свою красоту от постороннего глаза. Сразу и не понять, какое оно громадное: начинается прямо от железки и петляет через пристроившиеся на его берегах деревни — Застенки, Цыпки, Худолеи — до самой той недозорванной нами радиовышки, что километрах в семи от железной дороги. А если бы можно было расправить все озерные извивы, то оно было бы раза в два длиннее. В некоторых местах оно сужается до пары десятков метров, а в некоторых вольно расправляется вширь, и в самом широком — свыше километра, а в самых глубоких местах, по словам знающих рыбаков, — до сотни метров, если не больше...

Ранним утром следующего дня мы разматывали удочки на его берегу. Запасливый Тимка на всякий случай притащил ведро. Солнце еще не разогналось для обогрева земли, и раздетый Мешок мелко дрожал в утренних порывах довольно прохладного ветра.

— Ну, Мешок, с Богом, — подал сигнал Тимка.

Мешок перекрестился и полез в воду.

С полчаса мы молча смотрели на поплавки. Рыба не шла.

— Да не плескайся ты там — всю рыбу распугаешь, — шикнул Тимка.

— Пугать некого, — справедливо заметил Серега.

— Надо его — на глубину.

— Мешок еле-еле на воде держится, — напомнил Серега.

— Вот пусть лежит и держится... и не шевелится.

Рыба на Мешка не шла.

— Дохлый номер, — еще через полчаса подвел черту Серега. — Мешок, вылезай.

Мы помогли Мешку выбраться из воды и принялись музуть его и гонять по берегу, потому что у того зуб на зуб не попадал, но Мешка гонять — последнее дело, и он продолжал стоя трястись до тех пор, пока мы не сварганили для него малый костерок на скорую руку...

— А ты говоришь — Маугли... одной крови... — Тимка не мог скрыть разочарования.

— Мешок мог бы другую рыбу подманывать, а не эту, — предположил Серега.

— Какую другую?

— Китов или дельфинов, которые рождаются не икрой, а такими же родами, как и люди.

— Так тех ему снова стало бы жалко, — отмахнулся Тимка.

— Тех и мне жалко, — согласился Серега.

За этими ежедневными забавами и заботами Мешок на некоторое время счастливо отвлекся от необходимостей справедливого обустройства мира. Однако совсем отказаться от доверенного ему служения Мешок не мог, и за летнее время перед шестым классом он сделал еще два добрых дела. В результате дочиста сгорела Тимкина хата и колхозный бригадир Кузьма стал калекой на всю оставшуюся ему жизнь.

Кузьма был вечным бригадиром, и так же вечно самым убедительным орудием его бригадирства был невероятной длины кнут, которым Кузьма управлялся с артистической

ловкостью. Рассказывали, что еще зеленым юнцом при немцах он уже бригадирствовал над односельчанами, чтобы те добросовестно мостили сашу, что и по сегодня булыжной лентой шириною в две полосы петляет из поселка в районный центр. Шептались, что таким же, а может, и этим самым кнутом на той саше он до смерти засек своего отца в стремлении к идеальному качеству работы. Подпевалы Кузьмы (а у любого бригадира обязательно есть свои подпевалы) уточняли, что отца Кузьма и кнутанул только легонечко один раз исключительно для примера и назидания, а сердце разорвалось у старика вовсе не от кнута, а от обиды, но самое главное, что урок оказался убедительным и сашу замостили на совесть, в чем каждый может убедиться собственными ногами.

Неведомо, каким был Кузьма в те давние времена, а сейчас это был маленький, сухонький, визгливый и вертлявый мужичок, ловко кульгающий на неодинажных ногах по своим бригадирским делам, а еще ловчее носящийся по тем же делам верхом на бригадирской лошади. Все пацаны его боялись, потому что ежегодно все мы на месяц, а то и больше попадали под его начало, когда школа посылала нас в помощь колхозу, и там кнут бригадира постоянно висел над нами, что тот домоклывый меч. Кузьма появлялся всегда вдруг и ниоткуда и со словами “Лынды бьете, паршивцы!” звучно стрелял кнутом над нашими головами. И хоть всегда — над головами, а все равно было страшно.

Но еще больше, чем бригадира, мы боялись его старуху-мамашу, с которой Кузьма жил в справном доме на Тимкиной стороне поселка. Обликом она была натуральной ведьмой из страшных сказок, а ее здоровенная отполированная годами клюка жутким образом довершала это сходство. Бывало, что она замирала и долго-долго глядела на кого-нибудь из нас, беззвучно шевеля провалившимися губами, и несчастный бедолага беззащитным кроликом обмирал в ужасе, не в силах дать деру. При этом никаких худых дел за ней не числилось,

не считая шепочащего слушка, что сын в послевоенные годы принудил ее жить с ним как с мужем, а не как с сыном. Но это — слухи, а по жизни односельчане часто пользовались ее помощью, когда надо было заговорить какую-нибудь хворобу — хоть у человека, хоть у скотины. Может быть, от одного ее вида любая хвороба стремилась исчезнуть с глаз долой — так она была страшна.

Чуть раньше, когда Дорогой Никита Сергеевич пообещал всем поджигателям войны показать кузькину мать, все наши пацаны сразу догадались, кого он имел в виду, и, преодолевая страх, несколько дней чуть ли не до ночи дежурили у дома бригадира, чтобы не пропустить обещанный показ. Однажды и мы с Тимкой лежали за щелястым бригадировым забором и, стараясь не дышать, караулили привоз поджигателей войны.

— Будь ты проклят, ижверг, — шамкала за забором старуха, хлопоча по хозяйству и не успевая за распоряжениями Кузьмы.

— Иди в п-зду, мамаша, — привычно отзывался Кузьма, по-нукая свою домработную мать новыми указаниями.

При этом они оба споро, ловко и практически мирно управлялись с немалым своим хозяйством.

Надо сказать, что приговорка “иди-в-п-зду” была у Кузьмы постоянным пожеланием любому встречному безо всякого исключения на малолетство или даже на начальственную должность в колхозе, где Кузьма бригадировал. За глаза его и звали Идипздом или для краткости — Идиптом.

В самой середке лета мы лежали в кустах, разглядывая колхозное гороховое поле перед собой и утишая колотящиеся в страхе сердца.

— Идипт это поле постоянно объезжает, — рассуждал Тимка.

— Интересное дело, — отзывался Серега, — нас он гоняет, чтоб не вытапывали, а сам — на лошади... по гороху... копытами...

— Евоная лошадь знаешь какая умная? — разъяснял Тимка. — Она нипочем ни одного кустика не скопытнет.

— У него на самом конце кнута специальный узелок завязан, — вспомнил я рассказы взрослых пацанов, — чтоб если вжакнуть, то до костей.

— А может, это совсем даже кормовой горох? — попытался остановить себя и всех нас Серега.

— Какая разница? — не понял Тимка.

— Так кормовой — он для корма скота, а не для людей, — объяснил Серега. — Батя рассказывал, что из района приказали растить корм для скота, чтобы скрыть, что на самом деле весь скот уже поизвели в этих ихних догонялках с Америкой.

— Кормовой не кормовой, но сейчас он молочный и сладкий-пресладкий — уж поверьте мне.

Тимка знал толк в таких делах, и мы решились. Мешка оставили дожидаться в кустах (потому что бегун из него никакой и если что — ему от бригадира не улизнуть), а сами поползли по полю.

Я срывал молодые стручки и наталкивал их за пазуху, где они своей мохнатой кожицей щекотали голое пузо. Мне уже казалось, что все обойдется, но Кузьма прилетел свирепым драконом мгновенно и ниоткуда, стреляя на ходу своим кнудом пока еще вхолостую. Мы неслись не разбирая куда, напроць позабыв о своем же плане, по которому должны были при любой опасности бросаться врассыпную.

Мешок в ужасе закрыл глаза и замер в кустах, гоня по кругу одну и ту же мольбу: “Пусть он их не догонит, пусть он их не догонит”, но потом опомнился и скороговорно закончил: “Господи, сделай так”...

Странный и тревожный звук вынудил Мешка открыть глаза и осмотреться. На пустом поле топоталась бригадирская лошадь и обеспокоенной мордой толкалась в бок Кузьмы, который стоял на четвереньках и выл. То ли лошадь сбилась с галопа, то ли рука впервые подвела бригадира, то ли вправду вмешалась неведомая сила, но Кузьма своим же кну-

том напрочь вышиб себе левый глаз и очень сильно повредил правый.

Однако он еще и потом долго бригадировал уже без кнута — почитай одним только слухом. Как-то сразу выяснилось, что хвалителей у Кузьмы неизмеримо больше, чем хулителей, хотя бы потому только, что во все годы своего бригадирства он умудрялся платить своим колхозницам не одними лишь палочками (трудодней и прочими), но и продуктами и даже деньгами, для чего приходилось регулярно посылать в п-зду много кого из разных начальников — вплоть до всего районного партийного руководства. Хозяйство его теперь полностью вела мать, которая уже и не старела, а жила в одном и том же своем запредельном возрасте и облике... Лет через десять после нашего вытаптывающего набега на колхозный горох она вылечила пупковую грыжу моего недогодového сына, привязав к его животику обыкновенное полено и пошептав что-то невразумительное, хотя я до сих пор не верю во все эти заговóры и шепотания.

А Тимкину хату Мешок спалил совсем уж по-глупому.

В то лето Тимкина матушка сменила работу и теперь командовала всеми почтальоншами в должности Галочки-цветочка. По крайней мере именно так все ее подчиненные тет-ки к ней и обращались. Но начальник почты называл ее Галиной Сергеевной и очень любил рассказывать ей какие-нибудь страшные истории из своей и чужих жизней, потому что в самые кульминационные моменты очередной страшилки Галочка-цветочек хваталась за грудь и с причитаниями “ай-я-я-йй” быстро-быстро трясла ее, наверное, массируя сердце, которое эта грудь полностью заслоняла, в общем, начальник так любовался, что даже прекращал рассказывать дальше...

Оказавшись на главном перекрестке всех на свете новостей, слухов и сплетен, Галина Сергеевна не только разузнала кучу невероятных подробностей о своих односельчанах и

разных их почтовых и телеграфных адресатах, но и много чего узнала про себя из того, что еще раньше знали ее подчиненные и разной дальности соседи. Сначала она сильно огорчилась и даже плакала, держась за грудь на радость суетящемуся в утешениях начальнику, но потом взяла себя в руки и круто взялась за немедленное изменение всей своей жизни. Она надумала наладить наконец домашнее хозяйство, “чтобы все было не хуже, чем у людей”, и полностью сменить гардероб, “чтобы не ходить как анучка”, но и не выглядеть “девкой с проспекта”.

В Тимкином дому теперь во все ее нерабочее время стрекотала швейная машинка и, перекрикивая этот стрекот, постоянно приказывались какие-нибудь хозяйственные распоряжения. Но и в рабочее время матушки Тимке не было никакой возможности отлучиться со двора. Он должен был постоянно что-то делать по дому, возле дома, в огороде. Это уже не были прежние понятные поручения про сложить дрова, или поправить забор, или помочь с выкапыванием картошки, которые с нашей помощью исполнялись влёт. Теперь от Тимки требовалось быть хозяином в доме и делать все необходимое, чтоб не стыдно было перед соседями.

— Мне не стыдно, — пожимал плечами Тимка.

— А мне — стыдно, — перекрикивала через неостанавливаемую швейную машинку Галина Сергеевна.

— Но от меня что ты хочешь? Что?

— Чтобы ты человеком был и настоящим мужчиной в доме, а не как эти, которые ходят как козлы в огород и толку с них как с козла молока...

Все это было вроде бы разумно, только — трудноисполнимо, но Галина Сергеевна не отступала и по крайней мере по части гардероба добилась полного осуществления своих замыслов, сострочив себе два в меру строгих костюма, необыкновенно преобразивших ее в неприступную красавицу. Однако хозяйство никакими ее разумными распоряжениями не налаживалось и даже наоборот — с каждой попыткой оче-

редного улучшения обнаруживались все новые дыры. Тимка совсем извелся и стал нелюдимым да огрызливым.

Вот тогда Мешок в переживаниях за Тимку и пожелал, чтобы того не заставляли работать по дому. Только это и пожелал, упустив из виду хорошо известные ему побочные эффекты.

Дом загорелся, когда Тимка с приглашенным в помощь пенсионным соседом-печником прочищали на крыше засорившуюся печную трубу.

— Не пойму, что там застряло? — бурчал печник. — Но чтой-та держит... Что б это могло быть? И изнизу глядел — не видать, и изверху... Придется всю трубу разбирать — по кирпичику и до самого энтото засору...

— А если не найдем? — Тимка хотел знать все свое ближайшее будущее.

— Печку станем разбирать... По кирпичику...

От такой перспективы впору было взвыть.

— А может, посветить туда чем-нибудь? — предложил вдруг Тимка.

— Так светили уже фонариком. И изверху светили, и изнизу — не видать...

— А если факел туда спустить?

— Можно и факел, — не возражал печник.

В общем, ума — палата, что у старого, что у малого.

Старик скручивал газетные жгуты, поджигал их и ронял в трубу, где они сразу же и гасли.

— Вот идрить твою, — сокрушался печник и сворачивал очередной жгут.

Наконец его упорство победило, и в трубе загорелась сажа, пыхнув жарким выдохом наверх — прямо в лицо старика, а пока тот отирался да “идритькал”, на чердак сквозь неплотную кладку кирпича валом валил дым из трубы. Потом и с огнем...

Галина Сергеевна прибежала к пожару, голося громче пожарной машины, которая медленно катила следом за ней, чтобы посмотреть, что и как, потому что свой запас воды она уже израсходовала только что во время показательных учений перед неожиданной инспекцией из района и теперь как раз собиралась мчаться на озеро, чтобы из него засосать в себя новую порцию. Она уже и мчалась, но стало известно о пожаре, и профессиональное любопытство пересилило профессиональную необходимость — вот и завернули посмотреть.

Галина Сергеевна увидела живого испуганного Тимку, сразу успокоилась и бросилась спасать вещи из дома, крыша которого жарко пылала, стреляя огненными искрами во все стороны.

— Стой, сумасшедшая! — заорал из пожарной машины мой сосед, пожарник Трофимов, и даже выскочил из кабины на землю. — Вот сейчас крыша рухнет и — кранты, — со знанием дела объяснил он столпившимся вокруг Тимкиным соседям.

И как в воду глядел: крыша действительно рухнула, выпалив столб огненного фейерверка высоко в небо, но Галина Сергеевна уже успела выскочить из дому, унося из пожара свой новый костюм (второй был на ней), чтобы, и став погорелицей, можно было ходить не каканучкой, а решительной и неприступной красавицей. В конце концов, может быть, именно это через несколько месяцев их с Тимкой и спасло.

Вот с того учиненного им пожара Мешок и придумал тетрадку с новыми правилами исполнения его желаний. Он дал себе (и Богу, конечно) честное-пречестное слово быть впредь рассудительным, осторожным и предусмотрительным. Точнее сказать, он клял себя самыми последними словами, обещая неведомо кому, что больше никогда-никогда не будет ничего перedelывать в мире.... А тетрадку он придумал несколько погодя — когда чуточку успокоился...

Вскоре Мешок удумал абсолютно бесспорное по доброте и справедливости дело безо всяких сопутствующих неприятностей. Он разложил тетрадку и с долгими сопениями накараулил: “Пусть никто и никогда не убьет Фиделя... Кастро, который из Кубы... Пусть он доживет до глубокой старости и будет счастливым. Господи, сделай так”. Мешок еще раз все передумал и уверенно поставил точку, а чтобы это его правильное обустройство мира точно сбылось, несколько раз прошептал свои пожелания как бы прямо на ухо Богу (или кому там его донесения попадают).

Фидель улыбался со всех плакатов и газет, им были полны все киножурналы перед фильмами в клубе и новости по радио и телевизору. У Мешка не было телевизора, но он часто бывал у кого-то из нас и всегда застывал радостный, когда показывали Фиделя, застывал и замороженно глядел. Да и не он один. Все вокруг влюбилась в этого бородача. Куба вместе с ее революцией стала мечтой мальчишек, а Фидель был в этой революции что наш Ленин, только красивый и героический. Фиделя возили по всей стране, обряжали в тулуп, таскали на охоту, а вся страна любовалась им и пела про Родину или смерть...

И Фидель Кастро действительно счастливо уберегся ото всех многочисленных покушений на свою жизнь и свою революцию. Жаль, что советский агитпроп с тем же размахом не рекламировал Че Гевару, а то, глядишь, и этот уникальный революционер дожил бы до глубокой старости и глубокого маразма...

В общем, в пожелании Мешка не было ничего удивительного. А сам Мешок так радовался своей правильной удумке, что на какое-то время стал совсем прежним и нормальным, хотя отличить нормального Мешка от грустного и задумавшегося до полной отключки вряд ли кто смог бы, кроме, разумеется, его бабки да нас с Серегой и Тимкой. Мы знали Мешка как

облупленного и с ходу определяли, что он снова не в себе. Вернее, почти целиком в себе и в своих неведомых думах, которые он ворочал чуть ли не кряхтя от усилий, и мы точно углядели, когда Мешок сызнова всеми силами наморщил мозги.

Мешка изводили глобальные вопросы порученного ему служения.

Вот, например, можно ли просить чего-нибудь хорошего для бабки? С одной стороны, было бы правильно и справедливо, чтобы бабке наконец выпала в жизни какая-нибудь радость. Ну, скажем, попросить, чтобы она узнала, где позахоронены ее и Мишкины близкие родственники, — вот ей и счастье. И что в этом ее счастье может быть плохого, когда всем от этого одно только хорошее? Но, с другой стороны, просить хорошего для бабки — это же почти что просить для себя, а для себя просить нельзя. А вот если бабка сильно захворает и возьмется помирать — что тогда делать? Не просить ей добра несправедливо, а просить нельзя, потому что опять же получается — для себя.

А можно ли просить чего доброго для нас с Серегой и Тимкой? Это ведь тоже какой-то частью получается и для самого Мешка? А что, если именно поэтому так жутко все получилось с его просьбой для Тимки?

Или вот еще: почему прежние Боговы разведчики, что были до Мишки, не остановили войну? Не может же быть такого, что разведчиком у него один Мишка. Надо, чтобы по всей земле и во все времена. Так что же эти разные рихарды зорге такое допустили? Подсказали бы вовремя, чтобы кто убил Гитлера, и не было бы войны, и были бы у Мишки живые отец и мать, да и вообще — полный дом родичей. Так просто было сделать все для всех справедливо, а почему-то не сделалось...

Мешок долго поздними вечерами молился перед бабкиной иконой, выпрашивая ответов на свои неразрешимые вопросы, и чутко вслушивался в засыпающий мир. Небеса по-

малкивали. Когда в такой же ситуации оказывались не Боговы, а самые настоящие советские разведчики во время войны, то в фильмах об этом говорилось, что они остались без связи.

Клавдюванну эти ревностные молитвы не на шутку встревожили, особенно тем, что в горячечных шептаниях внука она не слышала никаких положенных причитаний из известных ей правильных молитв. Она снова вспомнила графа, будь он неладен, — вспомнила, что граф тоже молился неведомо кому, за что его и нарекли анафемой, но главное, что этот граф после своих неправильных молитв ушел навсегда из родимого дома.

Слезами и уговорами Клавдяванна снова потащила Мешка к доктору, но на этот раз — к хирургу Баканову, потому что никак нельзя было с таким деликатным и, можно сказать, божественным делом идти к хриstopродавцу Насовскому, а Баканов хоть по жизни своей и нехристь, но скорее всего — крещенный с издества, ведь были и у него какие-никакие, но православные родители, которые никак не могли не покрестить родное дитя.

— Пригласите следующего, — попросил Баканов уходящего с приема пациента и потом долгим удивленным взглядом наблюдал, как ловко Клавдяванна расправляет на его столе свою самобранку. — Простите, я не пью, — остановил Баканов наполнение его же стаканчика, который Клавдяванна вмиг опорожнила от карандашей, протерла рушником и обдула для еще большей чистоты.

— Совсем? — замерла Клавдяванна.

— Совсем.

— Хвороба какая? — посочувствовала Клавдяванна. — Вот и у меня... у внука... — Она подтолкнула Мешка к хирургу. — А что за хвороба? — Клавдяванна начала сомневаться в квалификации доктора, который и себя-то вылечить не может.

— Нет-нет, я здоров, — улыбнулся Баканов. — Я хирург, а хирургам пить не рекомендуется — от этого руки дрожат, а нам этими руками — резать.

— Ну, это ж сколько выпить надо, чтобы дрожали... — успокоилась Клавдяванна и наполнила стаканчик. — А чуток — всегда можно. Тем более вам и резать, Бог даст, не спонадобится.

— Не пью, — более решительным тоном хирург прекратил все хлопоты по застолью. — Как желудок — не беспокоит? — Баканов плохо помнил людей, да и не трудился помнить, но все свои операции помнил досконально и посетительницу сразу опознал как резекцию желудка семилетней давности.

— Спаси Бог, доктор, излечили. Спаси Бог... — Клавдяванна уже сожалела, что снова не пошла к Насовскому, потому что непьющий человек может быть сильно опасен в ее божественном, а потому противозаконном деле.

— Так на что жалуетесь? — Доктор смотрел на Мешка.

— Я не жалуюсь.

— А вы на что жалуетесь? — обратился Баканов к Клавдяванне.

— Молится. — Клавдяванна решила. — До самой ночи стоит на коленях перед божницей и молится... Но и молится не по-правильному.

— Я же хирург, — удивился Баканов. — Молитвы не по моей специальности. Вам бы в область — там есть специалисты...

— Да там вядомые специалисты, — вздохнула Клавдяванна. — Раз — и под замок...

— Так ты что — в Бога веришь? — Баканов с интересом смотрел на Мешка.

— А как? — Мешок не мог скрыть удивления от какого-то неправильного вопроса врача. — Верю. И вам верю, и Богу верю, и учителям в школе...

— Постой-постой, — улыбнулся Баканов. — Меня и учителей ты видишь и слышишь, а Его? — Доктор будто бы заробел и споткнулся. — Бога?..

— И Бога... и видел и слышал. — Мешок подумал и уточнил: — Ну, не совсем Бога...

— А кого?

— Не знаю, — честно признался Мешок.

— Ну и что этот не совсем Бог тебе говорил?

— Этого я сказать не могу, — вздохнул Мешок. — Не имею права. — Сейчас он чувствовал себя почти как настоящий разведчик на допросе, но он ничего-ничего не расскажет, сколько бы враги его ни пытали... ну или не враги, а этот знаменитый в поселке хирург...

— Ты ведь с моим Андреем в одном классе? — припомнил Баканов. — А ему, например, ты мог бы рассказать про своего не совсем Бога?

— Никому не могу.

— Жалко...

Доктор и вправду казался расстроенным, и Мешок решил его приободрить:

— Чего жалеть? Вы тоже можете сподобиться. — Мешок осмелел под любопытным взглядом хирурга. — Надо только сильно-сильно пожелать чего-нибудь доброго, правильного и справедливого, но только не для себя — и, может, сподобиться...

— Чего сподоблюсь?

— Может, тоже увидите.

— Бога?.. Не совсем Бога?..

— Ну да... Сначала увидите, что все сбудется, а потом, может, и его...

Мешок думал, не выдал ли он тайну своей службы Божьим разведчиком, но кажется — не выдал. Он же не про себя говорил, а вообще... рассуждал...

— Так просто? — не отставал доктор.

— Очень даже непросто, — вздохнул Мешок. — Очень трудно придумать что-нибудь правильное и справедливое, но совсем не для себя.

— Чего же трудного? Например, мир во всем мире...

— Так разве ж это не для себя тож?

— Действительно. — Баканов хохотнул, а потом долго и молча смотрел на Мешка. — Жалко...

Ему было и вправду жалко этого увальня из Андрейкиного класса и жалко его бабу, которая сидела сейчас на краешке стула большой сторожкой птицей и только вертела головой вслед за словами: то повернет к врачу, то к своему внуку... Баканов думал о том, что Мешка и вправду могут упрятать под замок, и не знал, как уберечь его от такого будущего. Может, и вправду сильно-сильно этого пожелать? Это ведь и будет абсолютно справедливо... и точно — не для себя...

— Ваш внук совершенно здоров, — успокоил Баканов Клавдюванну. — Пусть себе молится... Только не на людях...

— Это понятно, — отозвалась въедливая посетительница. — Кто ж на людях молится?.. Но он молится неправильными словами.

— Пусть молится как хочет.

— А он с из дому не уйдет... как тот граф? Тот тоже неправильно молился.

— Какой граф? Толстой? — Баканов рассмеялся. — Не уйдет. Ты же не уйдешь от бабки? — Баканов смотрел на Мешка.

— Куды мне итить? — отмахнулся Мешок.

— Вот и хорошо. Вопросов-жалоб нет? — дежурно спросил доктор, заканчивая этот необычный врачебный прием.

— Есть один, — все-таки решился Мешок, покоренный первым взрослым, который, кажется, что-то понимает. — Вот Гитлера убить — было бы правильно?

— Конечно.

— Не-е, не тогда, когда уже все знали, что он Гитлер и враг всего человечества, а раньше — когда он еще вынашивал?..

— Наверное, правильно, — растерялся Баканов. — Хотя — не знаю. Это очень трудный вопрос.

— Знаю, что трудный, — согласился Мешок.

Тем временем мы уже учились в шестом классе, чувствовали себя совершенно взрослыми, щелбанили на переменах суетную малышня и еле досиживали до конца нудных уроков, чтобы вырваться из-под пригляда приставучих взрослых к своим неотложным занятиям и забавам. Но вырваться приходилось с трудом, потому что нас то и дело сгоняли на всякие внеклассные мероприятия: то в школьный перекосившийся спортзал, то в поселковый клуб, то на стихийный митинг на школьном дворе, которым почти всегда заканчивалась учебная неделя. Одни лишь осенние дожди могли сорвать этот митинг, но те же дожди срывали и наши забавы, так что мы им не очень радовались, хотя все-таки радовались, потому что хуже митинга и всех этих сгоняемых сборищ трудно что-либо и придумать. Там наши охрипевшие учителя по-заученному осуждали мировую военщину, готовившую нам и всему прогрессивному человечеству третью мировую войну себе на погибель, потому что мы сокрушительно накажем всех поджигателей войны, и в первую очередь главного поджигателя — Америку... Впрочем, все, что только могло говорить, говорило про то же самое, пока не выключишь.

Мешка эти речи попросту вгоняли чуть ли не в летаргический сон (Сергея рассказал нам недавно жуткую историю про покойника, который, оказывается, умер не насовсем, а в этот сон... в общем — не дай бог...).

К началу зимы Мешок решился.

Всего за какие-нибудь полчаса он нарисовал в своей тетрадке ровными буквами: “Пусть кто-нибудь убьет главного поджигателя войны... Начальника Америки... Господи, сделай так”. Вздыхнул — и поставил точку.

Вечером этого же дня у меня дома, когда мы, по словам моей матушки, “готовили очередную пакость”, Мешок увидел по телевизору симпатично улыбающегося начальника всей Америки (по ихнему — президента) и сильно забеспокоился.

Перед сном он опять открыл свою тетрадку и собрался зачеркнуть написанное им донесение, но вспомнил, что ничего

нельзя исправить назад. Мешок снова поставил то же число и быстро написал: “Надо остановить того, кто должен убить начальника Америки”. Зачеркнул два последних слова и заменил на “президента Америки”. Мешок даже начал задыхаться — так он переволновался впервые в жизни, решившись на самое настоящее убийство и осознав вдруг, что это такое — убийство. “Обязательно остановить. Любым способом”... В общем, понаписал.

Похороны Кеннеди мы смотрели по телевизору дома у Сереги. Когда мелкий кеннедёнш отдал честь у гроба своего отца, Мешок зарыдал. Это было впервые в жизни. Мы привыкли, что из него не то что рыданий — слезинки не выдавишь. Мы даже между собой полагали, что Мешок начисто обделен возможностью плакать, как, например, и возможностью быстро бегать, и если за вторую недостачу мы его жалели, то за первую — сильно уважали, а тут вдруг такое. Оказывается, Мешок все чувствует так же, как и все — ну или почти так же, — и тогда его слезы вполне понятны, потому что и мне, например, было жалко улыбочивого американца, и у меня тоже при виде салютующего клопа перехватило горло...

Истинной причины тех рыданий мы, разумеется, знать не могли.

Тем же вечером Мешок снова открыл свою тетрадь и написал туда, чтобы никто и никогда не разузнал тайну убийства президента Кеннеди. Теперь, кроме него самого, только эта его тетрадь хранила страшный секрет. Тетрадку Мешок запрятал в один оклад с домашней иконой, полагая это самым для нее правильным и самым укромным местом на свете...

Следующий раз он ее достал через пару недель, чтобы помочь Тимке, вернее, Галине Сергеевне, потому что Мешок все еще не был уверен в том, что он имеет право помогать непосредственно Тимке. Тем более что Тимке и не нужна была никакая

помощь. Все это время Тимка жил вольно и как вздумается, завидно наслаждаясь небывалой свободой.

Ночевал он у кого-то из нас, и чаще всего — у Мешка, а с матушкой виделся каждый день, когда после школы приходил к ней на почту и они вместе шли обедать в поселковую столовую. Оттуда Тимка срывался на свою неожиданную свободу, как необъезженный жеребенок, а Галина Сергеевна возвращалась на почту, где теперь и жила с позволения почтового начальника и к его огромному удовольствию.

Пытаясь заработать на строительство нового дома, она одна заменяла всех ночных дежурных на телеграфе, выполняла еще кучу разных обязанностей в дневное время и такую же кучу специальных распоряжений начальника почты, для придумывания которых тот все чаще отлучался из дому, объясняя домашним про неотложные служебные дела.

Его жена Зинаида Павловна, работавшая бухгалтером на древесно-мебельной фабрике, как-то специально пришла вечером к мужу на службу, чтобы лично посмотреть на эти его неотложные дела. Она внимательно и со всех сторон оглядела засмущавшуюся яркую Галину Сергеевну, потом перевела глаза на своего мужа — потрепанного и обтерханного жизнью предпенсионера в полувоенной начальственной униформе, привычно пощелкала костяшками счетов где-то в глубине своего черепа и сказала:

— Вам, милая Галина Сергеевна, надо квартиру получить.

Та развела руками.

— В поселковом доме, который скоро будет готов, — пояснила Зинаида Павловна.

— Так там же...

— Знаю-знаю — дом строит наша фабрика, но две квартиры там выделяются для самоотверженных ударников коммунистического труда, которыми должен гордиться наш поселок. — Она поподжимала губами и добавила: — Лучшей да ударней кандидатуры и быть не может. Надо собирать бумаги, дорогуша, и я вам помогу...

Галина Сергеевна завертелась в оброненной на нее мечте да в сборе необходимых документов и измоталась до того, что на нее нельзя было уже и смотреть без жалости...

Вот тогда Мешок и пожелал, чтобы Галина Сергеевна обязательно получила квартиру в первом на весь поселок точно как городском двухэтажным кирпичном доме, который построила фабрика.

И Галина Сергеевна эту квартиру выхлопотала. Так у Тимки появилось новое жилье...

5. Тимка (Пробуждение страсти)

Мешок удовлетворенно рассматривал маленькую, но абсолютно личную комнату Тимки в их новой квартире на втором этаже почти городского дома.

Собственно, городским этот дом назывался только потому, что был кирпичным и двухэтажным. Более ничего городского в нем не было — ни отопления, ни воды, ни остальных удобств. Квартиры обогревались обычными дровяными печами, воду для раковины и других нужд надо было таскать ведрами из колонки на улице, все прочие удобства, как и в обычных хозяйствах, тоже располагались во дворе. Еще одной похожестью с городскими домами было полное отсутствие у его жильцов земельных участков и хозяйственных построек, кроме дровяного навеса, разгороженного на клетушки по числу квартир. Тимкины соседи ворчали, писали, жаловались и втихую самозахватывали куски общего небольшого двора у дома для постройки крохотных своих сараюшек, в которых потихоньку заводилась мелкая домашняя живность. Галина Сергеевна, к огромной радости Тимки, никаким приквартирным хозяйством не обзаводилась, и всех домашних забот было у них — это заготовить дрова на зиму, а у Тимки еще — принести воды и дров в квартиру да истопить печь. Галина Сергеевна хоть и сбавила обороты в поисках заработков, но продолжала вкалывать на две ставки для приобретения телевизора и

разных мебели, так что дома она бывала мало, и ничто уже не мешало Тимке жить своей жизнью и так, как ему нравится.

За год-полтора этот дом превратился в склочную грязную коммуналку. По изгрызенным лестничным ступенькам пробираться можно было с трудом, переступая через ведра с солениями, узлы и кадушки и рискуя свалиться вниз (благо — невысоко), потому что самой большой ошибкой было бы искать опору в болтающихся лестничных перилах. Болталось все, что только могло болтаться, а что не могло — перекошилось, провисло, разъехало. Из щелей тянуло сквозняками с запахами горелого, испорченного да сопревшего, и все это же лезло в глаза и даже в уши, когда на некоторое время от слуха отступала обиденная соседская переругань. Ругались в основном женщины, и даже не ругались, а разговаривали, как они привыкли по-соседски разговаривать через забор, не сходя с крыльца — над всем огородным простором.

Но сейчас дом дружно готовился к новоселью. Торжественное открытие и заселение первого коммунистического дома затянулось в зиму, и новоселье было решено совместить с новогодним праздником, потому что такое важное дело никак нельзя было свершить с бухты-барахты и требовалось хотя бы запастись самогоном для грандиозного гулянья. А пока что новые соседи ходили друг к дружке в гости, осматривали чужие хоромы, радовались, что у них не хуже, или огорчались, если хуже, и делились секретами нехитрых закусок, свято оберегая тайну лично своего самогонного рецепта. Другие поселчане тоже постоянно захаживали, цокали языками, желали, чтоб — полной чашей, и требовали немедленной выпивки, чтоб уже точно сбылось про полную чашу.

Старый печник Богдан, подрядившийся летом прочистить в Тимкином доме печную трубу, появился на пороге, когда Галина Сергеевна в короткий свой перерыв готовила обед на несколько дней вперед.

— Кепская печка. — Богдан вместо приветствия пренебрежительно кивнул на раскаленную печь. — Не дымить?

— Твоими молитвами, — усмехнулась Галина Сергеевна.

— А хорошую квартиру мы тебе соорудили, Сергеевна. — Богдан топтался у двери.

— Ты, старый, Тимку моего попроси и вместе с ним сооруди себе такую же.

— Мне не дадут, Сергеевна, — я же пенсионер, а не ударник.

— Да ты всем ударникам ударник.

Разговор увял, но Богдан и не думал уходить.

— Слышь, что скажу, Сергеевна... Ты же ж, почитай, кучу грошей огребла... Почитай, задарма... А мне за работу так и не уплотила...

— Так я тебе еще и должна?

— А как же ж? Вядомае дело — должна. Кали тебе самой такой дом строить — тыщи три надо, не меньше... А по-старому — так и все тридцать. А мне не заплатила. Я так думаю, Сергеевна: дай мне с этих своих тридцати тыщ рублик на красненькое — и мы в расчете...

— Тыщи мои сосчитал? — Галина Сергеевна взяла кочергу. — А дом, что ты спалил, если продать — тысячи три стоил бы? А все при доме — еще тысячу? Итого — четыре, а на старые — целых сорок тысяч. Получается, что ты мне десять тысяч остался должным — вот с них и возьми себе на красненькое. — Галина Сергеевна поставила кочергу на место и махнула рукой. — Иди, Богдан, — зла не хватает...

— Слышь, что скажу, — печник не уходил, — ты же ж на своем паленом участке строиться не бушь?.. И сеяться — тоже ж не бушь?

— Сил нету.

— Во-во... Дык дозволю мне там по весне засеяться... Супротив не бушь?..

— Не буду — сейся.

— Постой-постой, — вмешался Тимка. — Не задарма же. Ты нам за это три мешка картошки и — по рукам.

— Ну ты и кулачину вырастила, Сергевна, — крикнул Богдан. — Ладно — по рукам.

Тимка протянул старику руку, но потом отвел в сторону:

— И машину дров на зиму.

— Да ты совсем без стыда — эксплуататор! — взревел старик.

— Как знаешь, — отвернулся Тимка.

— Полмашины... и уцелевшую сараюшку ремонтирую для себя, — предложил Богдан из распах уже открытой на выход двери.

— Машину и стакан самогона... фирменного, что для новоселья стоит.

— А вот я Иванычу про самогон доложу, и будет тебе новоселье — за решеткой, — совсем уж по-глупому повернул торг печник.

— А я тебе хату спалю, и твое новоселье будет — под звездами, — спокойно отозвался Тимка.

Богдан молча поперекидывал в голове все эти слова, будто аккуратненько перебрал руками заготовленные к работе печные огнеупорные кирпичи, и и подвел черту:

— Ладно — по рукам...

Минут через десять он уже нахваливал и Тимку, и крепкий ароматный самогон.

— Слышь, Сергевна, большим человеком вырастет твой кулачина... Попомни мои слова... Эдак вот: за горло — и по рукам... — Богдан хлебнул и прижмурился. — И на чем эт-то он у тебя в настое?.. Никак трава какая?..

Но секрет Галины Сергевны был не в травах. Она процеживала обычный самогон через марлю с марганцовкой, но предварительно настаивала его на кофе, зеленые зерна которого покупала в Витебске, потом жарила и толкла в муку.

— Коньяк! Натуральный коньяк, — похваливал кофейный самогон пожарник Трофимов, сделав остановку у Галины

Сергеевны, а до того бродивший гостем по дому, справлявшему новоселье в наступающем 1964 году.

Дом гудел и покачивался. Соседи и гости из поселка за просто заходили в любую квартиру, переносили туда-сюда закуски и выпивку, пели песни и рвали меха гармошек. Такого грандиозного гулянья никто из нас и вспомнить не мог.

Мы болтались у всех под ногами, в основном в Тимкиной квартире, потому что украдкой старались лизнуть самогона, а на других столах он, в отличие от самогона Галины Сергеевны, был натуральным, вонючим и довольно противным. Да и вообще здесь было просторней. На новоселье Галине Сергеевне подарили отслуживший почтовый стол и несколько стульев, кто-то пожертвовал табуретки, кто-то — пожившую утварь, соседи снизу торжественно преподнесли слегка пожелтевшие тюлевые занавески на окна, но даже и карнизов пока не было, и занавески эти держались гвоздями, вбитыми прямо в оконную раму. Остальное пространство было пустым — пляши — не хочу, хотя до плясок праздник еще не разогрелся.

— Если б ты, Сергеевна, этот коньяк продавала... — продолжал восхищаться Трофимов, затягиваясь от папироски.

— ...То села бы в тюрьму, — резко закончила раскачивание его очень нетрезвых рассуждений Галина Сергеевна.

— Тебя, Сергеевна, никакая тюрьма не возьмет... Если тебя огонь не взял — тебя ничто не возьмет. — Трофимов встал, требуя внимания, да так и стоял, позвякивая вилкой по стакану, покуда все не уgomонились и не настроились внимать. — Я что хочу сказать? Когда я Сергеевну из польмя спасал...

— Ты? — Галина Сергеевна возмутилась так, что даже привстала с табурета, но потом махнула рукой и села обратно. — Бреши дальше.

— И нич-чо не брешу... У меня и свидетели есть... Народ помнит, как я кричал. “Куды, — кричу, — дура? Вяртайсь, — кричу, — зараз крыша рухнет — и звездеч”. Звиняйте за выражение... Только зараз я не об том. Спас и спас — дело прошлое... У нас работа такая — людей с-под польмя спасать...

А хочу я выпить за эту новую квартиру нашей Сергевны, которой зараз никакое полымя не страшно. Потому как квартира кирпичная, а не с бревна складенная, а кирпич полымя не берет...

Чтобы продемонстрировать всем эту глубокую мысль, Трофимов взялся наглядно тыкать папирской в кирпичный оконный откос, пока не подпалил занавеску, пыхнувшую с каким-то даже выдохом, который погнал пламя быстро вверх к потолку.

Сидевший рядом с Трофимовым Микола Гарнак ахнул, сорвал горящий тюль и бросил под ноги для затоптания, в котором приняли посильное участие все желающие. Заодно потоптали и Трофимова, чтобы впредь не дурил. Потоптали не больно, но — сильно и обидно, а потом еще и выпинали вон.

От этих переживаний все разом протрезвели и потому немедленно вернулись к застолью. Гарнак с полным правом занял самое главное место — у окна в торце стола, где до него сидел Трофимов. Гарнак получил квартиру здесь же на втором этаже по соседству с Галиной Сергеевной. Свою старую избу он выгодно продал и радовался каждый раз, как вспоминал о заныканных грошах, а так как вспоминал он об этом все время, то и радостным был теперь всегда. Работал он плотником на древесно-мебельной фабрике, и квартиру ему выдали как самому настоящему ударнику, потому что на фабричной Доске почета он висел безвылазно незнамо сколько лет, строго поглядывая с пожелтевшего фотопортрета нынешними ключичими глазами на прежнем молодом лице.

— Слухай, что я удумал, — втолковывал он Галине Сергеевне. — Надить нам на свою сторону дома построить сплошной балкон, и будет у нас типа веранда — хошь солнцем грейся, хошь запасы храни. Тем, кто с-под низу под нами, — тем свезло: оне могут погреб выкопать, а нам — только балкон... Я все сосчитал: с тебя рубликов сто и матерьял...

— Сидять голубки. — В дверях стояла вторая половина, а точнее, три четверти супружеской пары Гарнак. — Гляжу —

нями, а он туточки. А у тя — стыда нету. Пристроилась безмужней занозой сярод чужих мужиков...

Но этот скандал созреть не успел, потому что, оттеснив от двери плотницкую жену, в квартиру ввалился расхристаный Трофимов, а следом и вся пожарная команда. Через несколько минут шума, ругани, хватаний за грудки, угроз и криков Гарнак овладел всеобщим вниманием, перекричав всеобщий же гомон предложением испить мировую.

— Но вы согласитесь, граждане, что так нельзя... — вполне миролюбиво рассуждал начальник пожарной смены с подходящей фамилией Огарков. — Мордовать пожарного человека — никак нельзя. А если пожар? А он с побитой мордой? — Огарков прижмурился, прислушиваясь, как там устроился внутри изрядный самогонный глоток. — Это, можно сказать, полное нарушение правил противопожарной безопасности.

— Да ты послухай-послухай, — втолковывал ему Гарнак. — Раззи ж так можно? Папироской тычить и знай себе посмеивается. “Камень, грит, не сгорит, грит”. Ему смех, а тут...

Гарнак так наглядно все это демонстрировал, что именно в этот момент уже от его сигарки полыхнула вторая занавеска.

Галина Сергеевна мигом содрала ее с окна и пошла ею же хлестать Гарнака, пожарных, кого попало, сбивая огонь и разгоняя застолье.

Потом она сидела и плакала за разгромленным столом, размазывая по щекам копоть. Но вволю поплакать ей не удалось, потому что мы вчетвером так напробовавшись кофейного самогона, что ей пришлось выхаживать нас обратно к жизни всю эту шумную новогоднюю ночь.

Не считая того грандиозного перепоя, тайну которого Галина Сергеевна надежно сберегла от наших родителей, вся эта зима и все время после нее — до самого окончания шестого класса — прошли без каких-либо существенных потрясений.

Мешок оставил на время переустройство мира и с головой утонул в книгах, глотая их ночи напролет к очередным беспокойствам Клавдиванны, которая опять было надумала показать внушка докторам, но потом все-таки решила, что большой беды от этой новой напасти не будет. Все это время Мешка грело его тайное могущество, тем более что сейчас из этого его могущества никакие катастрофы пока не происходили. Наверное, ему очень хотелось, чтобы мы как-нибудь прознали про его секретную миссию и стали его по-всякому уважать, но рассказать нам про это он не мог, а разные туманные намеки мы не понимали.

— Знаете, какой у нас поселок? — заявил как-то Мешок. — У нас волшебный поселок.

— Опять про Красную Шапочку прочитал? — съязвил Тимка, хотя Мешок в эту пору глотал совсем даже не сказки, а самые стоящие книги.

— Правда-правда, — продолжал Мешок. — Думаете, почему он так называется — Богушевск? Потому что к этому месту повернуты уши Бога и он все-все слышит, что здесь ему говорят, и вообще — что здесь говорится.

— Бедный Бог, — заключил Серега. — Если он все-все будет слышать, что здесь только не говорится, он умом попятится.

— Это почему же?

— Так по радио каждый день говорят, что Его нет и весь Он — сплошное мракобесие. Если бы тебе постоянно говорили, что тебя нет. думаешь, ты смог бы быть? Тебя бы и не было. Согласен?

— То я, а то — Бог, — и соглашался и возражал Мешок.

Только на самом деле Бог не имел никакого отношения к нашему поселку, а если и имел, то примерно такое же, как и к любому другому людскому поселению. Давным-давно все земли вокруг принадлежали пану Богушевичу, и когда в начале прошлого века шло строительство железной дороги между

Оршей и Витебском, этот пан совершенно забесплатно выделил часть своих земель для дороги, но с условием, чтобы была построена станция и чтобы ее назвали в честь его жены, в которой он души не чаял. Так появилась станция Богушевская, и несколько энергичных евреев, вместо того чтобы, по обыкновению, заняться русской революцией или читать тору, завели здесь по согласованию с паном свои выгодные гешефты. В результате возникли винокурня, корчма и лесопилка, а жители окрестных деревенок потянулись к этим чудесам, расселяясь вокруг и попутно застраивая новый поселок, бывший тогда самым настоящим местечком, имя которому дала железнодорожная станция, то есть — панская жена.

Самым деловым и успешным из еврейских отцов-основателей Богушевска был хозяин лесопилки по фамилии то ли Лейкин, то ли Лейбов, и если бы он еще некоторое время продолжал свое дело, то он бы не только сказочно обогатил себя и пана, но и извел бы все леса в округе, подрывая на будущее основу мощного партизанского движения и вместе с ним — победоносный разгром фашистских захватчиков. Впрочем, в его сказочном обогащении тоже было бы мало толку, и через несколько лет все богатства — его и пана — все равно бы пошли прахом, потому что немало других евреев вместо чтения торы и интересных гешефтов ринулись в революцию, и это уже получился такой гешефт — мамочки мои... Тем более к нынешнему времени леса все равно извели — не так быстро, как мог это сделать Лейкин-Лейбов, и не так рентабельно, как он, а в основном на ветер, но извели.

К сожалению, я тоже приложил к этому руку, когда работал на древесно-мебельной фабрике, которая в три смены перегоняла бревна убитых деревьев в опилки и стружку, чтобы клеить потом древесно-стружечную плиту. На самом деле эту плиту придумали для правильного использования отходов древесной промышленности, чтобы никакая попутная стружка не пропадала даром, но если делать ее, как и положено, из одних отходов, то весь план полетит к черту

вместе с премиальными и переходящим красным знаменем. Для спасения всего этого добра мудрые передовики социалистического производства решили в сырье для древесно-стружечной плиты (по-простому — в отходы) перегонять сразу целые бревна, и плиты пошли с перевыполнением плана.

Тот давний то-ли-Лейкин от подобных новаций пришел бы в ужас, однако и сам умудрился учудить такие новации, от которых в ужас пришли все евреи Богушевска и окружающих местечек, ожидая страшной и неминуемой кары. Но кара их минула, и они мирно дожили до самой революции, переживая в восхищении и осуждении невероятное происшествие. Впрочем, может быть, именно революция и грянула той самой карой и расплатой не только на евреев, но и на всех людей, среди которых было допущено подобное святотатство.

Дело в том, что хозяин лесопилки сбежал с женой своего пана, когда красавица Богушевская приехала осмотреть собственные владения своего же имени.

Еврей с католичкой! Слуга с госпожой! Скупердяй отказался от кровью нажитых сундуков с золотом и отправился куда глаза глядят! Балованная барыня убежала из роскоши в нищую жизнь! Шекспир отдыхает, а всем, кто не верит в сказки, тоже хорошо бы заткнуться...

Мне хочется думать, что они выжили во всех грядущих революциях, джекказганах и освенцимах, потому что именно они самым естественным образом совместили в одно целое и Отца, и Сына, и Святого Духа, имя которому — любовь...

А Мешок упрямо верил в свою выдумку про место, куда обращены уши Бога, но, не умея убедить нас, отмахивался от любых возражений и зарывался в книги. Из-за этой своей страсти он полюбил теперь, чтобы вместе нам собираться у

меня или у Сереги дома, где откапывал на полках книжки по ему одному известным признакам и затихал, шелестя страницами.

В тот год Тимка тоже приохотился к книгам и тоже подолгу затихал на пару с Мешком.

— Два психа на четверых — это перебор, — комментировал Серега и демонстративно тренировал пальцы дрессировкой карточной колоды. Свою тягу к чтению он по-прежнему прятал от чужих глаз.

А Тимка на самом деле и не читал. Он смотрел. Отыскивал изображения античных скульптур и репродукции с картин старых мастеров и долго разглядывал всю эту обнаженку, потому что ничего, кроме обнаженки, его не интересовало. Тогда же он взялся за карандаш, срисовывая все тот же срам сначала с репродукций, а потом и из собственного воображения. Довольно быстро он, что называется, набил руку и продолжал ее набивать везде, изрисовывая тетрадки и промокашки на уроках, беленые бока печей на переменах и что придется в остальное время.

Таисия Николаевна сильно воодушевилась и решила, что у Тимки наконец проснулась тяга к Прекрасному. Собственно, так оно и было, за исключением того, что прекрасным для Тимки было все то, что Таисия Николаевна считала лишь маленькой частью из целого мира Прекрасного. Тимка рисовал свои части прекрасного целого... фрагменты... точнее, грудь... но уже примеривался к другим, еще более прекрасным фрагментам.

Таисия привела его в пионерскую комнату, где единолично командовала, выдала ему там несколько тетрадей для рисования, карандаши, акварельные краски и даже краски в тюбиках, которые валялись неиспользованными для пионерских нужд с незапамятных времен. После щедрых даров Таисия усадила Тимку слушать и взялась нацеливать его неокрепшее сознание на идеалы Прекрасного, страстно рассказывая про огромный вклад живописцев, и прежде всего передвижников,

в дело освобождения советского народа от пут угнетения капитализма.

Пока Таисия тащила Тимку поближе к идеалам, тот привычно рисовал новыми карандашами в новом альбоме. Таисия остановилась сзади, сказала по инерции несколько правильных фраз и замолчала, разглядывая Тимкин набросок, а чтобы увидеть поближе, привалилась на Тимкин затылок той самой частью своего прекрасного, которую Тимка и изобразил. Тимка замер дышать.

На самом деле Тимка сильно польстил Таисии, потому что опознать, что на рисунке торжествует именно ее грудь, можно было только по пионерскому галстуку, а все остальное — праздник Тимкиного воображения. Таисия вздохнула, забрала рисунок и отпустила Тимку, сожалея, что нельзя похвалиться этим наброском среди коллег (даже среди коллег-женщин)...

Тимка стал каким-то дерганым, бегал глазами сразу во все стороны и иссыхал, пожираемый дикими мечтами. Например, ему хотелось на остров, где будут только он и Дашка из девятого, а лучше — Сонька, или неприступная Марина из десятого с косой до... ух до чего, или еще лучше — все сразу и еще практикантка по русскому. Или он вдруг погружался в фантазии о каком-нибудь пожаре, в котором все сгорят, а останется одна только Марина с косой, да и она угорелая... ну и еще пусть останется практикантка и тоже — без чувств...

Серега вертел пальцем возле лобешника и спрашивал:

- А мы?
- Чего вы?
- Мы останемся или тоже — сгорим к чертям?
- Конечно останетесь... Вас вообще в том пожаре не будет.
- Так ты же говорил, что все, к чертям, сгорят.
- А вы уцелеете, — успокаивал нас Тимка. — Вы в это время будете на острове и уцелеете.

— Тогда пусть и Марина с косою будет на нашем острове.

Тимка глядел набычившись, с трудом врубаясь в Серегинны подколки, но все равно было видно, что отдавать Марину к нам на остров ему очень не хочется.

Тимку было жалко. Не то чтобы мы не понимали его мечтаний — что там непонятного? — но нам казалось, что такая ерунда даже не стоит того, чтобы тратить на нее мечты. Хорошо бы, конечно, получить в свое владение и Марину и практикантку в обмороке без чувств, но мечтать об этом в то самое время, когда можно помечтать о чем-либо по-настоящему ценном, — это уже чересчур...

Тимка попросту забежал от всех нас далеко в завтра и там нас подждал, дергаясь и шаря вокруг себя лапающими глазами. Успокаивался он, только рисуя свое Прекрасное, да и то успокаивался ненадолго.

К концу шестого класса Тимкина слава оригинального художника какими-то шепчущими тропками распространилась среди всех старшеклассниц школы, а некоторые хвастали его рисунками, ввергая подруг в черную бездну зависти. К Тимке все время прибегали старшие девчонки и с таинственным видом совали комочки еще более таинственных записок. Тимка практически никому не отказывал, и проблемы возникали только из-за отсутствия места для сеанса живописи с натуры, но и эти проблемы были разрешимы хотя бы потому, что чаще всего необходимое место обустраивалось у него дома. Девчонки смущались, краснели, но в конце концов обнажали свои рвущиеся вперед возраста груди, успокаивая себя тем, что Тимка — мальчик маленький и ничего пока не понимает. С какого-то времени Тимка, подрагивая руками и голосом, принялся объяснять добровольным натурщицам, что ему надо развивать свой талант и переходить к рисованию других фрагментов, продемонстрировать которые он и просил в качестве оплаты заказанного рисунка. Скоро в его тетрадях появилось сильное разнообразие фрагментов Прекрасного.

Когда Таисия Николаевна, запинаясь и краснея, попыталась объяснить свои воспитательные тревоги Галине Сергеевне, та засмеялась:

— Весь в отца, паршивец, а тот был лучшим мужиком, которого я знала, уж поверьте мне... Впрочем, и он был последней сволочью...

В самом начале весны Клавдяванна получила письмо. Она долго разглядывала конверт, заранее пугаясь, потому что до того все немногие письма, которые она получала, приносили ей одно только новое горе. Она запрятала конверт за божницу, но через несколько дней достала и велела Мешку прочитать.

— Читай все как есть... Все, что написано.

— Капулетовой Клавдии, — прочел Мешок с конверта, — в Богушевск, что в Витебской вобласти...

— Откудова письмо? — спросила Клавдяванна. — Из конторы?

— Архангельская область, — прочитал Мешок. — А дальше неразборчиво... Вскрывать, что ли?

— Вскрывай, — вздохнула Клавдяванна.

Короткое письмо было написано старательным круглым почерком второгодницы безо всяких знаков препинания.

здравствуйте тетка клавдия храни вас бог пишет вам бывшая соседка мария что ушла разом с вашей дочкой дуняшей за немцем и поручила мне про все вам пересказать если останусь живой а я мечтала приехать на родную землю чтобы рассказать и помереть с легкой душой но мне апосля лагеря определили место жизни здесь потому и пишу письмом чтобы успеть раз смерть кажись прийшла и за мной а тады с немцем мы аташли совсем недалёка и наш поезд разбомбили под оршей и далее мы добрались до деревни вароны за оршей а там уже нас окружили наши солдаты и дуняшин дохтор дал нам яду и

сам принял яду а я забоялась бога гневить и не приняла а дуняша так убивалась по своему дай бог памяти кажись фон монтеку так убивалась что только голосила и обнимала хоть тот уже и помер а когда появились наши красноармейцы то и они не могли оторвать ее от ееного дохтора чтобы ссильничать да так и закололи штыками а меня ссильничали и отправили в лагерь на лесоповал и там я понадорвалась а апосля меня определили жить здесь а я мечтала оклематься да бог не дал и вот я вам все рассказала и мне прямо на душе полегчало а всю эту жизнь сделали над нами гитлер со сталиным напару.

Мешок замолчал, осиливая прочитанное.

— Все, что ли? — спросила Клавдяванна. — Может, еще что написано? Что там еще — в конце?

— Последние слова, что ли? — переспросил Мешок. — Гитлер со Сталиным на пару...

— Чума на их ободвух, — вздохнула Клавдяванна, забрала у Мишки письмо и долго его вертела в руках.

Потом она сходила на почту, и там по почтовому штемпелю ей подсказали, что письмо было отправлено из деревни Норенская Коношского района Архангельской области.

— Надо ехать, — сообщила Клавдяванна Мешку, как только у него начались школьные каникулы.

— Куда?

— В Норенскую эту... К Марии той непутевой, что письмо писала...

— Зачем? — недоумевал Мешок.

— Мабуть, вспомнит, где Дунечку мою захоронили... Надо ехать... — Клавдяванна хмуро считала деньги, хранившиеся за божницей на будущие ее смертные расходы...

Предстоящая поездка сильно будоражила Мешка, который до этого дальше районного центра из поселка не уезжал, но в конце концов путешествие доставило ему одни только разочарова-

ния. Толкотня на вокзалах у касс, безрадостные люди вокруг, бабкины частые слезы, долгая усталость — все это подталкивало мысли вперед, быстрее добраться до места, но и место это не шло ни в какое сравнение с родным поселком. Вроде все похоже, но в каждой отдельной похожести все равно сильно хуже: поменьше лесов, побольше болота, холоднее ветер — сыро, зябко, грязно, и даже посреди июньской жары потянет вдруг стынью прямо под припекающее солнце, будто на дворе и не лето, а черт-те что. Да и вся поездка оказалась напрасной, потому что Мария померла, и надо было сразу же по приезде собираться в долгий обратный путь. Клавдяванна задержалась, только чтобы помолиться на могилке Марии да порасспросить мужа и жену Пестеровых, которые одни лишь с той и общались.

— Жалко бабоньку, — кивал Константин Борисович, с удовольствием угощаясь запасенным Клавдеванной в дорогу самогоном. — Совсем поистрепало ее — совсем хворая была. А что ссыльная — так что ж? Ссыльные тоже люди. Правду я говорю, Афанасия? — окликал он жену, суetsyющуюся с закуской. — Вот у нас нынче тоже ссыльный живет. Из самого Ленинграда. Хороший человек — ничего плохого не скажу. Только лампу ночами жгеть — все пишет и пишет. А посмотреть с другой стороны, так что же ему еще остается, если он — писатель...

— За то и сослали, что писатель? — спросила Клавдяванна, чтобы поддержать беседу.

— Не... за то что он — тонеядец.

— Он-то — неядец? Сектант, что ли? Мой унук тоже не все ест. Если по мясу — так тоже неядец...

Мешок вышел во двор, где на сваленных у покосившейся изгороди бревнах сидел тот самый ленинградский писатель-сектант и что-то строчил в блокнот. Он мельком взглянул на Мешка и снова склонился над блокнотом, но ненадолго — оторвался от своей писанины и задрал голову к солнцу, кото-

рое как ожидало этого и засияло, выскочив из-за облака, расцвечивая рыжие растрепанные волосы писателя в совсем уж огненное пламя...

— А вы правда писатель? — Мешок все-таки решился потревожить этого странного рыжего ссыльного.

— Писатель? Это ты увидел, что я пишу, и подумал: писатель, да?.. — Рыжий говорил быстро, экал между словами и все время вопрошал “да? да?”, совсем даже не ожидая ответа. — Я скорее поэт...

— Это еще больше.

— Больше чего?

— Ну, важнее... главнее, чем писатель.

— Важнее в чем? — заинтересовался рыжий.

— Ну, в жизни... — Мешок прочертил рукой неуверенный круг в воздухе. — Во всем Божьем мире...

— А в чем эта важность-то?

— Ну... это как... как на стройке... как опалубка... писатель пишет, как опалубку строит, а жизнь что бетон — льется в нее, и получается этот вот Божий мир... А без опалубки бетон будет растекаться и застывать бессмысленной кучей... А поэты — еще главнее: в ихнюю опалубку жизнь первое всего и заливается.

— А если кто лабуду написал? Дрянь?

— Наверно, такая и жизнь будет... Да кажись, такая чаще и происходит... Богу же некогда во всем разбираться — вот Он и заливает жизнь в то, что есть... Но если сильно хорошая книга, то Он это сразу увидит и тогда уже льет в ту опалубку, а плохие — побоку и стоят в пустоте...

— Интересный ты фрукт, да? И Бог твой интересно устроился... На легкую работку... Сам ничего почти не делает, да? Мы, значит, здесь придумываем вместо Него, как должно быть в жизни, а Он и соглашается, да? Он по нашим придумкам и направляет жизнь?..

— Ну так не надо худого придумывать, — заспорил Мешок. — Сами же худого напридумают, а Бога виноватят.

— И что этот твой Бог — и вправду не вмешивается в наши придумки, да?

— Не-е, он умней... У него есть люди, которые ему говорят, что надо исправить, когда мы тут совсем все зальем этим серым бетоном... в каменную кучу... — Мешок внутренне ахнул, перепугавшись, что проболтался, и зачастил, исправляя: — Правда-правда, я даже знаю одного такого старика: он может попросить, и Бог вмешается в наши выдумки и все сделает по просьбе.

— Красиво получается, да?.. Мне нравится... Честное слово... Значит, наша жизнь создается нашими же книгами, выдумками и иногда подправляется какими-то специальными Божьими людьми, да?..

— Наверное... Только у всех сила разная. В книгах — ого сила! И у этих специальных людей. А у выдумок любого другого — сила махонькая. Но вот если все, у кого махонькая сила, чего-то одного сильно захотят — наверное, все равно получится по-ихнему... Я в бабкиной книге читал, что если есть столько веры, сколько весу у горького зерна, то и этого хватит на большую гору... Главное в том, чего такого они захотят, потому что — именно это и будет...

— Так у тебя получается, что жизнь — это не то, что есть, да?.. а то, что должно быть по твоим выдумкам... по твоим желаниям, да?..

— А как же иныш?..

— Не в том смысл жизни, — бормотал под нос рыжий. — Не в том суть жизни, что в ней есть... а в пожелании, что должно быть... а в вере в то... — Он снова прикурил новую сигарету от старой, поплеывал с губы табачную крошку и сказал: — А ты своего старика — того, Божьего — тоже можешь попросить о чем захочешь, да?

— Не-е, о чем захочу — не могу, — еще на чуточку приоткрыл свою тайну Мешок. — Только о добром каком деле и чтоб — не для себя. Для себя — нельзя... Хотите, я для вас попрошу? Для вас — можно. Вот чего вы хотите, а?..

— Все, чего захочу? — засмеялся рыжий.

— Так вы ж худого не запросите? — подстраховался Мешок.

— Тогда попроси, чтобы мне дали нобелевку, — прищурился на вновь выглянувшее солнце поэт. — Знаешь, что это такое?

— Не-ет, — растерялся Мешок.

— Это премия такая, награда писателям, да?.. Не тревожься, — опять хохотнул рыжий, — очень хорошее дело... и хорошая премия.

— Это запросто, — перестал беспокоиться Мешок.

Поэт с восхищением разглядывал странного пацана, думая, как будет рассказывать про него знакомым и описывать в письмах, но и вполне предполагая, что все знакомые сочтут эту историю сплошной его выдумкой и ни за что не поверят, так что, может, и не надо ни писать, ни рассказывать.

— Ну, я пойду, — улыбнулся Мешок. — Не волнуйтесь — будет вам нобелевка.

Поэт расхохотался — и невероятно, но на на секунду поверил.

— Постой-постой, — остановил он Мешка. — Нобелевку пока особо не за что. Давай лет через примерно двадцать или двадцать пять, да?

— Ладно, — согласился Мешок.

— Только есть одна тонкость. — Поэт уже снова смеялся. — Нобелевку дают только живым писателям, да? Поэтому твой старик должен в придачу попросить, чтобы лет через двадцать — двадцать пять я был еще жив.

— Само собой, — пожал плечами Мешок...

Мешка не было всего каких-то десяток дней, но мы так обрадовались его возвращению, будто он отсутствовал целую вечность, а то и две.

Дальше лето покатило своими обычными тропинками, если не считать того, что Тимка, будучи всегда рядом, умудрялся все-таки быть как бы и в стороне. Мы вынуждены были

признать, что в постоянных своих рисованиях с натуры он достиг завидной виртуозности — как в поисках натуры, так и собственно в рисовании. За летнее время Тимка необыкновенно вытянулся, заметно обогнав нас троих, — стал тонким и гибким, и теперь уже его многочисленные натурщицы вряд ли могли оправдать свои с ним исключительно художественные занятия тем, что мальчик, мол, маленький и ничего не понимает. Они и не оправдывали, а, наоборот, радостно выставляли свою напирющую на них красоту под его любования и совсем уж расцветали под ними. Тем более что летом для этой школы живописи было настоящее раздолье: где-нибудь в лесном закутке, в любом укромном местечке у озера, в самой озерной воде, чуть показавшись из нее, — только рисуй, только позируй, только зорко посматривай, чтоб не оказалось нежелательных очевидцев. Мы, рассматривая Тимкины наброски, в конце концов вынуждены были признать, что в его неослабевающих фантазиях про спасаемых им женщин без чувств что-то есть, и сами уже мечтали даже не о такой необыкновенной удаче, как землетрясение, в удобном завале которого запросто можно спастись вместе с красивой барышней в глубоком обмороке, — мы мечтали всего-то о том, чтобы Тимка взял нас помощниками на свои живописные сеансы. Ну, например, карандаши точить или что... Тимка обещал, но говорил, что это трудно — натурщицы не согласятся. Мы понимали, что трудно, но надеялись.

Удивительно то, что эти Тимкины занятия при такой вовлеченности в них болтливых девчонок все еще оставались тайной и для школьных приятелей, и для взрослых, иначе страшно было бы и представить шквал возмущений эдаким невиданным развратом.

Взрослые — и вообще дикие люди. Они что-то видят в тебе или что-то о тебе узнают, с ходу определяют причину — причем, как правило, самую неправильную из только возмож-

ных — и начинают эту выдуманную причину в тебе искоренять всеми силами и всей своей властью. При этом они самодовольно и безоговорочно уверены, что знают тебя как облуپленного, имея в виду вовсе даже не тебя, а ими же выдуманные причины твоих поступков.

Чужое знание о тебе — это тупая непробиваемая стена.

Впервые я наткнулся на нее шестилетним мальком (наверное, наткался и ранее, но или не слышал, или не понимал и потому не запомнил).

Мой взрослый дядя согласился взять меня с собой в город на целый долгий летний день. Там в городе на каждом углу продается мороженое, там где-то есть парк с каруселями, и туда иногда приезжает цирк. Все это я знал по рассказам своих счастливых сверстников, но даже не ждал себе каких-то особых удовольствий. Да мне их и не обещали. Достаточно уже того, что я окажусь в совершенно другом мире, набитом до отказа неведомыми звуками, красками и запахами.

Слово “радость” и близко не светилося с тогдашним моим состоянием. Скорее это была горячка, лихорадка, потрясение. Поезд отходил от поселковой станции в шесть утра, и всю ночь я не спал, а потом всю дорогу стоял у окна, расплющив лицо вагонным стеклом...

Вокзал в Витебске оказался громадным дворцом, где, точь-в-точь по словам горластого репродуктора, искусство соединялось с достижениями сельского хозяйства и техническим прогрессом.

Достижениями сельского хозяйства был увешан и навьючен весь люд, выхлестнувший из поезда и затопивший здание вокзала, через которое надо было пройти, чтобы выйти в город и далее — на ближайший рынок.

Искусство давило и поражало, нависая прямо над лестницей громадной картиной во весь лестничный пролет. Я чуть не загремел вниз, выворачивая шею, чтобы снова и снова самим позвончиком ощутить прожигающий взгляд генералиссимуса.

Технический прогресс караулил впереди.

Я уже умел вполне бегло читать и в зале ожидания крутил головой во все стороны, используя по максимуму свое недавно приобретенное умение. Вывеску “Полуавтомат для чистки обуви” я прочитал несколько раз, не очень веря своим глазам. “Газеты и журналы”, “Буфет”, “Комната матери и ребенка” — все вокруг было вполне понятно, но этот полуавтомат был чистой фантастикой. Я догадался, что это и есть тот самый технический прогресс, с помощью которого мы в два счета догоним и перегоним Америку.

Мне пришлось ускользнуть из-под опеки и подобраться к техническому чуду поближе. На железном боку агрегата висела инструкция. “Всуньте в прорезь 15 коп. (дело происходило до хрущевской реформы 61-го года), откройте дверцу, возьмите щетку и гуталин и почистите обувь”. Тут меня снова крепко взяли за руку, и мы вышли в город.

Я вприпрыжку весело попевал за своим провожатым, крутил лопаухой башкой и лыбился во всю щербатую пасть... В какой-то момент я освободил руку и, чтобы избавиться от властного захвата, принялся ею размахивать. Мне это понравилось, и вот я уже крутил руками, будто двумя пропеллерами, подстраивая это вращение со своим подпрыгивающим скоком. Мне казалось, что я нашел именно те движения, которые необходимы для полета. Надо только посильнее крутить пропеллером и все время чувствовать приподнимающую тебя радость. Вот честное слово: еще чуточку — и я взлечу...

— Не маши руками, — одернул меня дядя.

— Почему?

— Ты хвастаешь, что у тебя на руке часы, а хвастать — нехорошо.

Я даже задохнулся от сокрушительной несправедливости услышанного.

— Пожалста! — Я отстегнул часы, которые дядя дал мне носить на сегодня, и протянул их ему.

Я представлял, как снова начну всю свою предполетную подготовку, а потом взлечу и докажу, что часы здесь ни при чем...

Настроения не было даже на прискок, не то что на кручение пропеллера.

— Без часов не машется? — удовлетворенно подначил дядя.

Уже тогда я точно понял, что взрослые — совсем не умные, а их всезнающие улыбочки, с которыми они поглядывают на нас из своего верхнего мира, свидетельствуют не о какой-то необыкновенной мудрости, а всего лишь о непроходимом самодовольстве...

Потом и до сегодня неисчислимое количество раз меня толковали, объясняли и комментировали — практически всегда невпопад. Раньше я частенько протестовал, выходил из себя, что-то доказывал. Позже чаще всего отворачивался. Зачем мне люди, которые заранее знают обо мне все что можно и при этом — не так, как есть?

Тот незначительный эпизод из детства вывернулся для меня в стойкий иммунитет к чтению в чужих душах. По крайней мере, я железно запомнил, что в подобных читках результат всегда предположительный и поэтому лучше всего к нему добавлять слова “может быть”. А всего лучше — не считать чужую душу открытой книгой и не читать в ней.

А если интересно?

Спроси. Может быть, тебе ответят. Возможно — правду...

Если бы тем летом перед седьмым классом нас спросили о Тимкиных уроках рисования, то мы могли бы сказать чистую правду о том, что в этих его занятиях не было еще никакого распутства, да только — кто бы нам поверил? Поэтому мы помалкивали, а вместе с нами и все остальные соучастницы и хранительницы Тимкиной тайны. Впрочем, вполне возможно,

что кто-нибудь считает развратом именно то, что Тимка и практиковал той порой...

Осенью художественная студия Тимки переместилась с природы в большую горницу шелапутного семейства Шидловских, потому что квартирка Галины Сергеевны попросту не вместила бы всей той роскоши, до которой Тимка дошел в своем ремесле. И вот тогда уже сбылись наши мечты.

Многочисленные братья и сестры Шидловские совершенно не стеснялись наготы и прикрывались одеждой только от дружного осуждения окружающих и еще, может, от холода. Сама хозяйка дома тоже могла выскочить по домашним делам из дому во двор в чуть застегнутом халате или сарафане, да и застегнутом только для успокоения случавшихся за забором соседей.

— Стыдоба какая, — плевались ей вслед поселковые женщины.

— Ясное дело — язычница, — соглашались с женами наши мужики, сплевывая больше для вида и как-то даже восхищенно. — Цыганская кровь.

Любая дружба с большим и безалаберным семейством немедленно вызывала к жизни нудные воспитательные проработки в школе и дома, и потому с Шидловскими дружили втихую, а гостевания в их дому всячески скрывали от взрослых, чтобы только не навлечь на свою голову невразумительные нотации с поджиманием губ и с попыткой туманными намеками связать между собой эмоциональные восклицания “какой срам” или “какая грязь”... Нам тоже приходилось скрываться, потому что той осенью мы всякий вечер норовили улизнуть к Шидловским. А началось это, когда Нюрка Шидловская из десятого попросила Тимку сделать ей портрет.

— Негде, — развел руками Тимка. — Мамка хворает, и у меня нельзя.

— Приходи к нам.

— А твои против не будут?

— Да ты что? Все будут рады.

— А можно тогда я с друзьями? — вспомнил Тимка свое давнее обещание.

Родительница Шидловских до ночи пропадала на разных заработках, родитель что-нибудь сторожил для того, чтобы выпить и вспомнить славное военное прошлое, когда он был еще цел и здоров. Весь дом был в нашем распоряжении на долгие вечера.

В большой комнате, где на ночь прямо на полу разворачивались матрасы для сна, мы все и размещались. Тимка раскладывал на столе рисовальные принадлежности — чаще всего карандаши, но пробуя уже свои силы и в красках, а старшие сестры Шидловские из девятого и десятого класса позировали сразу втроем, Тимка увлеченно рисовал, и мы смотрели во все глаза, сгорая внутренним жаром и страшно завидуя Тимке, которому дозволялось дотрагиваться до позирующих сестер — чтобы поправить руку, или иначе повернуть тело, или даже просто так. Иногда к трем своим сестрам, посмеиваясь над своим же чудачеством, присоединялась и Аннушка, закончившая школу уже пару лет назад и работавшая дояркой в колхозе. Она сразу же начинала командовать, расставляя сестер в картинные позы, и очень живописно становилась между ними сама, но долго не выдерживала и подбегала к Тимке посмотреть, что получается. Получалось здорово, но живые картинки все равно были лучше рисовальных, потому что на рисовальных Тимка по-прежнему все внимание уделял фрагментам, пририсовывая к ним остальное почти намеком, а на самом деле и остальное было очень красиво. Все было красиво, а Аннушка — лучше всех.

Мешка, например, более всего восхищало то, что пышная и налитая до прозрачности, как осенняя антоновка, Аннушка была разноцветной — с белыми до плеч волосами и черными

кудряшками внизу. Однажды он поделился своими восхищениями по поводу редкой Аннушкиной породы с Сергей, и тот вмиг развеял все Мишкины очарования.

В самый разгар роскошной осени очередной вечер у Шидловских не состоялся. Тимка как раз насобирав целую охапку желтых листьев, чтобы украсить ими свои модели, но в горнице царил мрачная тишина. Мы даже подумали, что учителя или другие взрослые несображались что-то прознали и устроили всему семейству какой-нибудь разгоняй, однако в реальности все было много хуже.

Накануне отец семейства пропьянствовал ночь напролет на пару со старшим сыном, сбежавшим для этой пьянки с самих целинных земель. Правда, и покорять их Виктор Шидловский отправился несколько лет назад не от избытка воодушевления, а для получения паспорта, которого колхозники тогда еще не имели, а покорителям целинных земель его выдавали, не глядя на то, если они даже колхозники. Паспорт нужен был Виктору, чтобы вырваться, как он говорил, из “вечной беды”, зацепиться в каком-нибудь городе и начать жизнь по-человечески.

Отец планы сына не одобрял, но и найти им убедительные возражения тоже не мог. Пил, подливал, слушал сыновние рассказы про целину, привычно поварчивал...

— Этот Хрущ всю страну распашет для своей кукурузы...

— Не дуруйте, батя. Целину пашут не под кукурузу. Под хлеб. Другого не бачыл...

— Ты яго не абараняй. Он всех загубит.

— А я и не абараняю. Он, ясный пень, тоже не падарунок, але жизнь делает полегче — и на том спасибо...

— Чым легче? — орал старший Шидловский, расплескивая самогон.

— А вы, батя, не кричите, а послушайте. Паспорта выдали — раз. Гроши в колхозе взялись платить — два. В городах, говорят, можно самому себе квартиру купить — три...

— Ты слухай больше — тебе наговорят... Сталин кватеры бесплатно давал, а тут — купить... Это ж какие гроши меть надо!..

— Бесплатно? В год по чайной ложке бесплатное-то...

— По чайной, але — бесплатно! Цены каждый год поменьшал, а сейчас? Только больше и больше...

— Ага, поменьшал. На шнурки. А продуктов — шиш...

— Сталин за ордена платил. Я бы мог на те гроши всю семейству поднять...

— Очухайтесь, батя, это же Сталин отменил орденские гроши.

— Хрущ отменил...

— Нет-нет. — Виктор придержал отцов стакан. — Погодьте. В каком году отменили орденские?

Шидловский напряг память и ахнул. Ладный его мир рушился на глазах.

— Если совсем честно, то вот что я вам, батя, скажу: самое хорошее, что исделал Хрущ, — это то, что он вашего Сталина вынес, на хрен, из мавзолея и закопал...

— Молчать! Не смей...

— А вы послушайте, а не орите...

— И слушать не хочу...

— А куды подевались все те послевоенные инвалиды, что на каталках... по поездкам?.. Вы ж сами рассказывали...

— В дома для инвалидов. Их там заботой обеспечили... Всем обеспечили...

— Ага, в дома для инвалидов. На Соловках... На других островах... На смерть повывозили...

— Брехня! Не сметь!

— Вы, батя, что слепец. — Виктор махнул рукой и жакнул одним глотком полстакана. — Не бачыте и бачыть не хотите. Вы бы хоть дядьку Захара порасспросили. Его в ту облаву случайно загребли, думали, что и он из уличных инвалидов. Вот он тех забот хлебнул полной мерой, пока семья до его доискалась...

— И он брешет...

— А ему-то зачем?.. Ну ладно — пусть так. — Виктор пошел в новый заход: — А заградотряды? Сами же говорили. Да ва-ша же пуля в груди — от тех сталинских молодцев... Молчите?.. Да не в одной армии мира такого не было... А мамкины родители — где? Их за что Сталин ваш погноил в лагере? За то, что они ему же поверили и не успели с-под немца убежать?..

— Зато Хрущ твой — прям ангел, — буркнул родитель и налил снова.

— Да и он — дрянь... И виноватый в том же, что и усатый ваш... Но он хоть попробовал стать человеком... И нам показал, что можно... Хотя...

Виктор помрачнел и обрывисто рассказывал притихшему отцу о работе на целине, о невиданном урожае и о том, как выращенный надрывом сил хлеб зарывали в овраги с глаз долой, потому что — бардак, дураки... ни амбаров, ни элеваторов, ни нормально оборудованного тока...

— Во-во, а Сталин навел бы...

— Это как? — Беседа снова перешла в регистр ора. — Порасстрелял бы всех?

— А бардак с дураками лепш?..

— Лепш. Лучше. Много лучше. Пусть лучше дураки, чем кровавый психопат и убийца, а ваш Сталин — именно психопат и убийца...

— Вон! Убирайся прочь!.. — Шидловский, будучи уже совсем не в себе, запустил опорожненной бутылкой в голову сына...

Рассвет старый Шидловский встречал, смоля на корточках у забора поселковой больницы, где его Виктора готовили к операции. Шидловский вспоминал всех известных ему от жены древних богов и пытался договориться с каждым из них по отдельности о благополучном излечении сына. Потом — то ли по собственной догадке о том, как их умаслить,

то ли по какой подсказке свыше — скоренько вернулся домой, достал из чуланчика добротный портрет генералиссимуса, с которым ходил на ноябрьские и первомайские демонстрации, и разнес его в щепки. Уверяя себя, что теперь все будет хорошо, он заново вернулся на свой пост у больницы изгороди.

— Вы бы все-таки поаккуратней пьянствовали, — остановился возле него выходящий из больницы Баканов.

— Как он? — Шидловский вытянулся в смиро и кивнул головой на больничные окна.

— В этот раз пронесло.

— Спасибо, доктор. — Шидловский схватился трясти руку, спасшую его сына, а Баканов достаточно неприязненно вырывал свою руку из единственной, но цепкой благодарственной клешни обратно.

Шидловский улыбался прямо в небеса, а потом начал думать, чего же ему не хватает для достижения настоящей гармонии и равновесия в этом противоречивом мире. Надумал. Здесь же недалеко от больницы на стене поселкового клуба висел громадный и парадный портрет Никиты Сергеевича Хрущева. Шидловский нашел какую-то дряхлую лестницу в доме по соседству и после долгих пыhtений умудрился своей одной рукой перетащить эту лестницу к клубу и, вскарабкавшись на нее, сжечь, на хрен, портрет главы нашего единственного в мире такого удивительного государства.

Боги молчали, ничего больше не требуя, потому что равновесие было достигнуто, а довольный собой террорист отправился спать и даже успел выспаться к тому времени, когда вежливые до дрожи мужчины усадили его в черную “Волгу” и увезли из дому.

— В самый Витебск увезли — не в район, — опустошенно говорила осиротевшая хозяйка осиротевшего дома. — Оттуда не вызволить.

Она уже обессилела плакать и тупо сидела, глядя неузнавающими глазами на своих же детей, шмыгающих тихими мысатами по горнице.

— Видите, мальчики, горе у нас, — развела руками Аннушка. — Папку заарестовали. Совсем. И брат в больнице. — Она привычно и как-то легко заплакала — без рыданий, одними только слезами из глаз. — Вы идите, мальчики... идите...

— Я помогу, — пообещал Мешок, направляясь к двери. — Все будет хорошо. Не плачь...

— Какой ты хороший. — Аннушка проводила нас на крыльцо и там чмокнула Мешка в щеку.

Мешка этот неожиданный чмок мокрыми от слез губами смутил и вскрылил одновременно. Он достал свою секретную тетрадь, где последней была его июньская запись про нобелевку, и застыл, обертывая коварными и ненадежными словами такое простое и понятное желание — помочь Аннушке, ее сестрам, всему ее семейству и их веселому запойному отцу...

На этот раз неведомым силам понадобилось несколько дней для исполнения Мишкиного заказа. Да оно и понятно, если вспомнить, что для этого надо было провести октябрьский пленум руководства всей нашей родной партии, чтобы отстранить от власти прежнего дорогого руководителя и назначить на его место другого и, как позднее выяснится, еще более дорогого...

Шидловского привезли под вечер прямо домой очень вежливые мужчины, может, те же, а может — другие, но “Волга” была точно другая и белая. Они долго прощались с обалдевшим Шидловским на его крыльце, по очереди тряся неудобную для этого левую руку и улыбаясь во все зубы, говорили, кто, мол, помянет — тому и глаз вон.

— Это понятно, — соглашался Шидловский. — Куды мне без руки да еще и без глазу?..

Мужчины радостно смеялись, но в дом не заходили. Впрочем, их и не приглашали.

Нас тоже не приглашали, но мы пришли сами. Шидловский — маленький, тихий и трезвый — сидел на табурете во главе стола, а вокруг сияла-хлопотала-напевала-носила его счастливая жена, накрывая праздничный ужин.

— Идемте-идемте, — уводила всех Аннушка, — пусть родители попразднуют одни, — убеждала она сестер, братьев и нас, видимо догадываясь, что Шидловскому невтерпех родить еще одного сына, который и появится ровненько через девять месяцев, повергая в уныние поселковое начальство, потому что этот новый Шидловский окажется последней каплей, после которой все семейство обретет право требовать немедленного улучшения жилищных условий и всякой другой заботы, а хозяйке дома придется давать золотую медаль матери-героини и сажать ее наравне с собой во всяких президиумах за кумачовым столом.

Но это все — чуть погода, а сейчас радостным клубком все мы выкатились на улицу и рассыпались там на каждый себе.

— Мальчики, давайте я с вами, — спросила, а вернее, сообщила Аннушка, беря Мешка под руку.

Так мы и пошли по поселку, отворачиваясь от встречающих сельчан в напрасном старании остаться неузнанными: смущенный Мешок с Аннушкой впереди, за ними мы втроем, а за нами — все Аннушкины братья и сестры. У клуба мы пообсуждали, идти ли в кино, которое начиналось через час, и в конце концов за кино проголосовали все Шидловские, но денег на всех не хватило, и мы с Тимкой, Серегой и Мешком самыми искренними голосами вспомнили про неотложные дела и распрощались. Через пару сотен метров Аннушка нас догнала.

— И я с вами, — сообщила она. — Пойдем рисовать? — спросила она чуть погода у Тимки. — Только куда?

— Можно ко мне, — предложил Тимка.

В маленькой Тимкиной комнате было не так вольготно, как в избе Шидловских, но мы как-то разместились и с нетерпением подгоняли начало так давно не случавшегося рисовального представления. Тимка, как назло, медленно и обстоятельно раскладывал свои художественные принадлежности.

— Мне куда? — спросила Аннушка, готовая к уроку пока только верхней частью.

— Куда хочешь, — разрешил Тимка.

— Да-а, — вспомнила Аннушка, — я же тебя, Мишонок, еще не поблагодарила. Ты и правда молился за папку?

Мешок молчал, пыхтел и краснел в жар прямо на глазах.

— Давай я тебя поцелую, — предложила Аннушка. — Вместо благодарности.

Мешок молчал и отворачивал от нас пунцовое лицо.

— Поцелуй меня? — подал голос Тимка. — Мы друзья, и это практически то же самое. — Тимка стоял уже рядом с Аннушкой и, в отличие от нас, был с ней одного роста. — Ну, что же ты? Вместо благодарности... А Мешку я потом твою благодарность перескажу...

Аннушка засмеялась, слегка прижалась к Тимке и охватила Тимкину нижнюю губу своими большими и яркими. Мы смотрели почти в столбняке.

— Ого-го, — пропела Аннушка, отодвигая свое лицо от Тимкиного и прислушиваясь к прижавшему ее к себе Тимкиному телу. — Да ты совсем не обычный художник — ты...

Тимка не дал ей договорить, запечатав ее губы своими и прижав ее к себе в неразрыв. Мы смотрели, где шарят и гладят Тимкины руки, и не могли отвести глаз. Потом заметили Тимкино медленное передвижение вместе с Аннушкой от стола к кровати, у которой мы и застыли, и быстренько исчезли с их спирально-кружащего пути.

У порога мы еще раз оглянулись, и если бы не Серегино “пошли-пошли”, обязательно увидели бы, что и как следует делать, потому что Тимке повезло и его первой женщиной

оказалась очень знающая барышня, а каждому из нас пришлось все это позже постигать с такими же, как и мы, малоопытными девочками-одногодками.

С того дня Тимка свое рисование забросил, а если и брал карандаши и бумагу, то только как повод для скорейшего обнажения будоражащего его объекта — не объекта рисования, а объекта страсти. Других объектов не существовало вообще, потому что страсть пылала все время, а объекты могли меняться как угодно и были не в силах ни удовлетворить Тимкину страсть на сколько-нибудь продолжительное время, ни даже утишить ее. Аннушка открыла ящик Пандоры — и Тимка пропал. Теперь его жизнью более всего руководил его же торчун и постоянная забота о том, куда бы того пристроить...

Мы по-прежнему много времени проводили вместе, но очень часто Тимкин взгляд становился прозрачным и отсутствующим, а когда он этим своим сквозняковым взглядом вдруг фокусировался на какой-нибудь представительнице женского пола, то смотрел уже совсем иначе — липким и мутным прицелом. Однажды он всерьез нас перепугал, когда во дворе Мешка поймал в такой свой мутный прицел невинную козочку за соседским забором. Сереге понадобилось несколько раз довольно чувствительно садануть Тимку по спине, чтобы вернуть его обратно к нам...

— Ну что я могу сделать? — оправдывался Тимка в ответ на наши смешки. — Все время торчком.

— А ты его привязывай, — посоветовал Мешок, не зная, как помочь. — Прибинтовывай.

— А я, по-твоему, что делаю? Но это ж только чтоб вид был нормальный, а мне от этого только хуже...

— Послушай, — осенило Серегу. — Ты видел на молочной ферме новые аппараты для дойки? Насаживают на коровьи

сосцы такие специальные трубки, включают электричество, и они...

Тимка все понял и задумался.

— Считаешь, получится? — спросил он у Сереги.

— А какая разница? — убеждал Серега. — Там сосцы, у тебя — твой дурак торчком, а трубке этой все едино...

В перерыве до вечерней дойки мы лежали у просевшего коровника и поджидали Тимку. Серега заметно волновался.

6. Серега (Суд с танцами)

— Меня там чуть не кастрировали, — набросился Тимка на Серегу, когда мы все жданки прождали и ни на что хорошее уже не надеялись, потому что Тимка не появился и после того, как Серега по-уговоренному свистанул во всю мочь, увидев, что доярки плетутся на вечернюю дойку, лениво сплевывая вечные жалобы попеременно с вечной же семечной лузгой.

Первой в коровник втиснулась необъятная Домна Ивановна и застыла, не в силах уразуметь, что этот паршивец пытался сотворить с драгоценным аппаратом для автоматической дойки. Уразумела, когда Тимка ошалело вскочил, схватившись застегивать штаны.

— Да ты убить мало, распутник! — завопила она. — Девки, держите его — мы сейчас этому дровиче всю его дровичильную механизму пообрываем. Это ж надо такую пакость удумать. Нам дойку доить пора, а теперь из-за этого паскудника придется усю систему отмывать...

Тимка бегал, перепрыгивая из одного стойла в другое и пытаясь укрыться за коровами от разъяренной Домны Ивановны. Буренки шарахались и взмыкивали, доярки хохотали, Домна редела и пыталась дотянуться до Тимки, Тимка молил:

— Бабоньки, вы чего?.. Я же — ничего... ей-богу, ничего не сделал... он у меня не влез...

— Правда-правда, — сквозь хохот подтвердила Аннушка, опознав вредителя. — Поверьте мне... Эта механизма ни в каком состоянии никуда не влезет...

— Так уж и никуда? — справедливо усомнилась Домна, при тормозив свои догонялки...

— Ну, тут им сразу стало любопытно, — бахвалился перед нами Тимка, — и они перестали меня убивать, а стали совсем наоборот... — Тимка прижмурился самодовольным котярой и вроде даже замурчал.

— Что — наоборот? — Мешок пытался вернуть Тимку из сладостных воспоминаний обратно к нам.

— Ты еще маленький, — хохотнул Тимка. — Подрастешь — расскажу.

— Да ну тебя, — отмахнулся Серега. — Бреешь, как всегда.

Врал Тимка или не врал, но с того дня он частенько захаживал на молочную ферму, чтобы, по его словам, “молочком побаловаться и вообще...”.

Нам за Тимкой никак было не угнаться. Хотя бы уже потому, что он, в отличие от нас, предпочитал не подходящих себе по возрасту девиц, а вполне взрослых барышень, и более того — замужних.

— Меньше хлопот и мороки, — снисходительно объяснял он. — А главное — всяких радостных неприятностей.

Событие, на которое намекал Тимка, случилось в каникулы после восьмого класса. При школе организовали летний трудовой оздоровительный лагерь, куда позаписали всех поголовно, потому что за работу воспитателями в этом лагере нашим учителям платили еще одну зарплату. Довольно скоро установилось взаимовыгодное равновесие: мы приходили с утра на школьный двор и после линейки с разными правильными словами куда-нибудь исчезали, или не исчезали, а вместе с остальными солагерниками отправлялись на озеро, или сначала исчезали, а потом уже приходили на озеро. Лагерь не мешал

нам отдыхать, а мы не особо мешали учителям в их дополнительном заработке. Иногда даже соглашались пару часов чего-нибудь пополоть на колхозном поле. Бывало, приходили в лагерь ко времени обеда, но чаще игнорировали и его — очень долго да еще и строем: строем ждать своей очереди перед поселковой столовой, где нас кормили, строем в столовую и даже есть — тоже строем и по командам.

В успехе всего этого придуманного учителями мероприятия отчитывались колхозными благодарностями, доказывающими исполнение лагерем его необходимой трудовой составляющей, и приростом живого веса лагерников, который был единственным показателем оздоровления школьников. На первом месте по приросту и оздоровлению красовались две девятиклассницы, но ближе в зиму открылась, по словам директора, “радостная неприятность” — девятиклассницы были беременны. Скандал кое-как замяли, хотя девицы так и не выдали “паскудника, который своей безмозглой головкой покусился на святое — на труд и здоровье всего подрастающего поколения”. Директор имел в виду светлую идею летнего школьного лагеря, который так больше и не открывался. Тимка недоумевал, причем здесь трудовой лагерь, если вся эта невезуха приключилась еще до летнего лагеря, во время учебного года, и с той поры он почти полностью переключился на взрослых барышень в немалой степени и потому, что им хватало ума, так недостающего его безмозглой головке...

К концу девятого класса Тимка довольно плотно пристроился к роскошной Татьяне, недавно радостно выскочившей замуж, необыкновенно расцветшей за короткое время счастливого супружества и практически овдовевшей при все еще живом муже. Ее муж Проша работал инженером на январском спирт-заводе и был, наверное, единственным непьющим мужчиной во всей нашей округе. Несмотря на Прошину оголтелую страсть к изобретательству, все женщины поселка тыкали его

примером в хмельные зенки своим мужьям и, может быть, этим и сглазили.

Проша изобрел какой-то чудо-агрегат для родного завода, но там его похвалили-пожурили и посоветовали не забивать ни свою, ни их руководящие головы всякой чепухой, а работать по утвержденной еще более умными головами технологии. Проша обиделся и усовершенствовал свое изобретение до портативного самогонного аппарата, выдающего чистейший продукт всего с одной перегонки и независимо от той дряни, из которой этот продукт производился.

Народ изобретение принял. “Чистый огонь”, — одобрительно похваливали земляки получаемый напиток и тиражировали Прошин аппарат с невиданной скоростью. Дядя Саша сбился с ног и сорвал голос, рапортуя по инстанциям о чрезвычайной ситуации. Прошу вызвали на партком завода, где на него кричали и топали ногами за то, что он похитил и передал в темные народные массы изобретение завтрашнего дня, безраздельно принадлежащее заводу, потому что в его лоне и было изобретено. Проша бледнел, спорил, не соглашался, кричал и переволновал свою голову так, что в ней что-то взорвалось. Проша упал практически замертво, избежав этим разных неприятностей, загодя заготовленных парткомом в уже напечатанном решении.

В больнице Баканов сказал загадочное слово “инсульт” и беспомощно развел руками. Татьяна свозила мужа в больницу районного центра, потом областного и в конце концов привезла домой, где он с тех пор и лежал, прикованный к недавно еще их общей счастливой кровати.

Татьяна с горя пристроила к делу мужнино изобретение и каждый день пила с ним на пару, всхлипывая под Прошино мычание.

— Вы его убиваете, — пытался образумить ее Баканов. — Вы разрушаете его печень.

— А зачем она ему? — хмельно отмахивалась от доктора Татьяна.

Вот к ней и повадился шастать Тимка.

“Явился орелик”, — хмуро встречала Татьяна своего малолетнего хахаля и сторонилась от двери, давая тому пройти в дом. Там они сначала поили из чайной ложки Прощу продуктом от его чудо-агрегата и уединялись по своим делам, а Проща начинал так сильно мычать и стенать, что не оставалось уже никаких сомнений в стремительном и смертельном разрушении его печени, а может, и еще чего-то в придачу.

Потом Татьяна принималась рыдать, и Тимка ушмыгивал, как нашкодивший котяра, но все равно — довольно мурча...

Нет, нам за ним никак было не поспеть.

В это время Мешок пристрастился к чтению до-не-оторвать и глотал книгу за книгой с невероятной скоростью без какой-либо вразумительной системы, объясняющей его книжные пристрастия. Клавдяванна очень боялась, что он наживет себе с этих книг какую-нибудь неизлечимую хворобу, однако терпела и жаловалась на Мишку одному только Богу, но и тому так, чтобы внук не слышал. Да он бы и не услышал — ему было не до бабкиных глупых страхов.

Мешок все более уверялся в давней догадке, что жизнь на земле идет по написанному в книгах. Слово и вообще таит в себе мощную силу для сотворения чего угодно (так и в бабкиной Библии говорится), но в словах, написанных в книге... в самой книге — этой силы немерено... В общем, жизнь только и делает, что повторяет и на всякие лады прокручивает одни и те же книжные сюжеты. Чем талантливей книга — тем больше у нее шансов конструировать жизнь по себе. Как в театре века напролет ставят и ставят давно известные пьесы, так и жизнь бесконечно прокручивает и проигрывает сюжеты бессмертных книг.

Мешок понять не мог, почему появляются бессмысленные книги и — хуже того — даже бессюжетные. Это ведь грозит разрушением жизни. Единственная надежда — на то, что

такие книги, как правило, практически бесталанны и только малая часть мира перелепливается по написанному там.

Жизнь, по разумению Мешка, всего лишь податливая глина, из которой по придуманному в книгах создается весь Божий мир. А сверх того — по подсказкам всех таких Божьих разведчиков, как и сам Мешок. Ну и еще по фантазиям ученых, что придумывают всякие открытия про правильное устройство мира. Не открывают, а именно — выдумывают, и мир соглашается на такое свое устройство. Хитрость в том, что нельзя ничего отменить из ранее нафантазированного, когда глина жизни вылепилась и затвердела в указанной придумке. Далее можно только добавлять, уточнять, придумывать другое, чтобы все старые построения сохранялись и включались в новую конструкцию. Наверное, хорошо было на заре времен, когда всякие пифагоры фантазировали свои открытия в почти пустом еще мире и тот с легкостью подстраивался к придуманным для него правилам. А сейчас все труднее насочинять что-то новое, потому что новое все время норовит залезть и порушить уже готовое, а надо не рушить, а как-то втиснуться в существующие законы, по которым слепился весь этот Божий мир. Точно так и собственные желания и заказы Мешка все время сдвигают что-нибудь уже созданное в мире, и поэтому с его пожеланиями случаются всякие неприятности.

Тетрадку свою Мешок доставал очень редко, решив, что сначала надо разобраться в том, как устроена вся наша жизнь, а уже потом улучшать ее и делать более правильной и справедливой. Тем не менее кое-что Мешок все-таки понатворил.

На его совести страдания знакомого соседского кабана по прозвищу Медмедь, которого Мешок три дня спасал от зарезания, и Медмедь за это время так озверел и одичал, что никто уже и не решался приблизиться к нему с ножом за голенищем. Все это время кабан ревел и носился по своему и чужим участкам, а за ним еле поспевали хозяева, тоже изрядно озверевшие. В конце концов Мешок позволил исхудавшего кабана

пристрелить, зарывшись головой в подушку, чтобы не слышать того выстрела.

Потом Мешок, по обыкновению, притих, как и после всех своих обломов, но ранней весной порадовал и нас, семиклассников, и весь советский народ, сделав выходными 9 мая и 8 марта. В середине восьмого, разузнав все про Нобелевскую премию, он (как оказалось, вместе с Жан-Полем Сартром) организовал эту небывалую радость Шолохову, зачарованный “Тихим Доном”, который, например, мы с Серегой к тому времени еще не осилили. Чуть позже, когда Мешок у меня дома пристрастился сам и приохотил меня ловить всякие вражеские голоса по пережившему моего отца старому отцову приемнику, его очень беспокоило соображение, что нобелевка, устроенная им, очень даже могла быть Шолоховым и не заслужена. Впрочем, он же все это делал не для Шолохова, а для книги, кто бы ее ни написал, а книга, по убеждению Мешка, стоила любой премии. Она приручала беспорядочную жизнь к верности — верности близким, любимым, долгу, Родине, несмотря на то что все это вместе невозможно совместить даже в разрывающемся сердце...

Мешок быстро и здорово умнел, но никто из нас этого не замечал, потому что ум человека можно обнаружить не в ответах его на какие-нибудь сложные и каверзные вопросы, а в самих вопросах, но Мешок спрашивать стеснялся, предпочитая помалкивать, а если и спрашивал, то мы от его вопросов привычно отмахивались. Да и не было нам дела до его ума. Мы любили его не за ум, а просто так — до гроба, как и он нас...

А Серега все это время оголтело бунтовал. Прежнее его упрямое сопротивление любым требованиям учителей и домашних выглядело теперь безропотным послушанием паймальчика. Сейчас на любое такое требование и вообще на любое неодобрение взрослых он мог в ответ каждого этого

недовольного запросто и подробно послать, куда считал правильным, а неодобрение всех других — даже почудившееся ему неодобрение — тут же встречало куда более болезненный отпор.

Сергея освоил несколько убойных ударов и использовал их без какого-либо вступительного предупреждения, к несказанному удивлению подвернувшегося под удар бедолаги. Александр Иванович только качал головой, отдавая в очередной раз Сергею с рук на руки Степану Сергеевичу, и предрекал юному хулигану беспросветное будущее.

Сергея отмахивался от мрачных предсказаний и вырывался из любых пут, которые ему навязывали, не особо беспокоясь по поводу того, куда именно можно из этих всеобщих пут вырваться.

— Если бы не я и мои связи, ты бы уже давно в колонии гнил, — орал на него отец.

— А ты хотел бы, чтобы я гнил рядом с тобой и как ты? — встречно орал Сергей, а потом хлопал дверью и убежал прочь.

Он все время стремился прочь, отовсюду, из любой уговленной для человека судьбы — на самый край жизни...

То была пора новых обретений, которые караулили нас каждым завтрашним днем, но это было и время безвозвратных потерь. Никогда больше мы уже не будем лето напролет бегать босиком по желтым песчаным тропинкам, протоптанным в зеленой траве. А мы же не просто бегали — бессмысленно и бестолково. Мы начинали ветер.

У каждого мальчика был диск — плоский железный диск не больше колеса детской коляски. Похоже, что все эти диски и все нужное нам и миру для жизни и ветра слеталось к нам со всевозможной сельхозтехники... В общем, ветры, конечно, бывают разные, но описываемый — самый первый из них. Необходимые приспособления, кроме диска, — крепкая проволока, изогнутая клюшкой, да босые пятки, на которых удоб-

нее всего с поворотами, торможениями и новыми рывками вперед. А потом поглубже вздохнуть, аккуратненько крутануть диск в пальцах, вонзая его ребром в землю, и тут вот, предварительно завопив, подхватить, подставить к крутящемуся ребру полоску проволоки — и вперед, мчать, крутить по петляющей плотной тропинке и еще быстрее — еле успевая пятками, и — перевести дыхание, и можно замолчать, потому что теперь уже проводка с диском продолжают твой вопль, но продолжают в самой нужной тональности — вз-ж-зж-ж-зж.... И вот тут-то появляется ветер, и можно больше не вопить, а только подсвистывать, удерживая его, поспевая пятками... Какой это был ветер! С него начинались и все остальные: самокатные, велосипедные, потом и верховые — каждый следующий подхватывал и поднимал выше тот самый первый, что возникал скольжением диска по проволоке, звуком пчелы, промельком босых пяток, — поднимал выше, подхватывал надежнее, ласкал уже не только босые ноги, но и лица и волосы, пока не добирался к ветвям и не подхватывался ими, теперь уже удерживаемый так прочно, что нам можно было не беспокоиться целую ночь, когда уже нет никакой возможности мелькать босыми пятками по золотым тропинкам.

Все это утрачено уже навсегда. Да ладно бы только это, хотя тоже — жалко...

Мы чувствовали, что за какие-то будущие обретения нам, вполне возможно, придется расплачиваться утратой нашей общей жизни вчетвером, и, заговаривая завтрашний день от такой возмутительной несправедливости, старались сегодня совсем не расставаться без какой-либо сильной надобности. Поэтому и на танцы мы, как правило, ходили все вместе.

Танцы начались для нас регулярным развлечением к концу восьмого класса, хотя собственно танцевать мы не очень любили, а, например, Мешок так и не умел вовсе. Развлечения были вокруг танцев, и началом их обязательно был легкий

выпивон, а окончанием — драка. Выпивон чаще всего обеспечивал Тимка: в первое время — сильным напряжением всех своих коммерческих талантов и позже — благодаря знакомству с Татьяной и чудо-агрегатом ее несчастного мужа, а драку надежно гарантировал Серегин нрав. В промежутке могли быть и сами танцы.

Бывало, и Серега не мог зацепить свою всегда готовую ярость для начала потасовки — все-таки в поселке все мы были в какой-то степени свои. При такой непрухе после окончания танцев мы иногда отправлялись в какую-нибудь близкую деревню, где танцы под проигрыватель продолжались до часу ночи, и там уже мордобой всегда был обеспечен.

В присутствии барышень никаких безобразий не позволялось — даже материться считалось неправильным, и потому любые разговоры были вялыми и маловразумительными. Радиола поскрипывала, неуклюжие пары обжимались, слегка перетапываясь, — ничего особо интересного. Интересное начиналось после танцев, когда поселковый кавалер, проводив свою местную партнершу до ее хаты, бросался уносить ноги. Это были соревнования быстроты, находчивости, отваги, дерзости и удачи.

Мы отточили свою особую “танцевальную” тактику для таких деревенских балов. Все вчетвером не спеша провожали своих спутниц одну за другой по их домам, а потом оборачивались к караулящим рядом ревностным хранителям местной девичей чистоты, даже и не думая пускаться в бега. Дальше по заведенному от прадедов сценарию местные выходили, окружали, матерились, поплевывали и распяляли себя разнообразными “вы тут чего это” и “вам тут не у себя”. Потом должна была наступить партия толчков в грудь, и только после началась основная музыка с треском выдергиваемых из заборов кольев и пыхтящими ударами под однообразные матюки.

Однако Серега плевал на все традиции (что было, пожалуй, самым оскорбительным для обстоятельных деревенских парней) и бил с ходу, не дожидаясь окончания положенной

увертюры. Бил наповал любого, кто наиболее удобно располагался под руку. Этот первый успех бросался развивать Тимка, вступая в драку тоже не по-правильному — ударом ноги чуть пониже колена заранее выбранному из еще не нападавших нападающих. Потом Тимка крутился вьюном, орал, молотил руками и ногами, падал с криком “лежачего не бить”, зашибал кого-нибудь своим башмаком снизу и снова вскакивал на ноги. Я отчаянно трусил и полноценно вступал в драку, только схлопотав полную звездуину. Мешок, не обращая внимания на пинки и удары, заграбастывал кого-нибудь своими мощными лапами и сжимал, приговаривая “зачем же драться”, “не надо драться”, сжимал до мольбы о пощаде, щадил, отбрасывал на землю, прихватывал следующего...

Иногда наша тактика не срабатывала. Оглядываемся, например, а Тимки нету, и совсем нетрудно догадаться, где этого блудливого кота сейчас носит.

— Дообжимался, — ворчал Серега и с криком “Тимка-сво-лочь, где ты?” все равно бил первым, когда еще только-только вяло начиналась прелюдия к будущей потасовке.

В какой-то момент прибежал и Тимка — довольный, орущий, молотил всех и вся, стараясь закончить все побыстрее, чтобы снова сбечь, уверяя нас, что всего на минуточку.

Однажды драка рассосалась без остатка в самом зародыше, потому что заводилой у деревенских парней оказался совсем взрослый хлопец, который учился у моей матушки в вечерней школе. Он предложил вынести нам самогона и выпить мировую, но ничего не успел. Налетевший Тимка, не разобравшись в ситуации, вырубил его с ходу и даже успел нехило попинать, прежде чем мы смогли вмешаться...

Эти драчки были нам много милее мордобоев в поселке, потому что сюда дядя Саша, как правило, не приезжал, и можно было резвиться от души, а в поселке мало-мальски крупная стычка если не рассыпалась в пять-десять минут, то всегда заканчивалась в милицейской избе участкового.

В общем, танцы понемногу стали нашим необходимым занятием, пока однажды не закончились показательным судом...

— “Показательный суд” — это кино такое?

— Тимоха, ты с дерева упал?

Мы стояли перед клубной афишей, на которой киномеханик Семен менял, как правило, только число и название фильма, а все остальное оставалось постоянным, и даже надпись “новый цветной художественный фильм”, намалеванная незнамо когда, выцветала себе из года в год перед любым дописанным к ней фильмом независимо от того, был или не был он и на самом деле новым, или цветным, или особо художественным (ручаюсь, что перед фильмом “Поездка Председателя (ла-ла-ла)... Хрущева в Соединенные Штаты Америки” так и стояло: “новый-цветной-художественный”). В ответ на наши ехидные подколы по этому поводу Семен пускался в неторопливые философские рассуждения, склонность к которым у него возростала от одного стаканчика дешевенького портвейна к другому (как, впрочем, и у всех киномехаников, сапожников и сельских учителей астрономии).

— Сколько раз ни смотришь одну и ту же картину (мне больше всего нравилось это его фирменное “фильма”), каждый раз увидишь что-нибудь новое.

— А цветной? Почему всегда цветной? — не унимался какой-нибудь особо въедливый ниспровергатель.

— Когда вспоминаешь любую картину, — откровенничал Семен, — она всегда вспоминается в красках... если, конечно, у тебя хватает воображения...

Сейчас наше воображение было растрепано напрочь.

В густеющих сумерках последней августовской субботы мы стояли перед холстом клубной афиши. В самом верху ее

было указано завтрашнее число и место действия — поселковый ДК. Чуть ниже сквозь свежую краску можно было разобрать извечное “новый-цветной-художественный”. Еще ниже, крупными черными буквами с красной окантовкой: “ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД. Начало в 11-00”. И на нижней половине холста то же, что и вчера: “ТАНЦЫ, начало в 19-00”...

— Доплясались, балбесы, — незлобно бросил участковый Александр Иванович, проходя мимо нас к клубу.

— Проверять пошел — заелозил, — прокомментировал появление Иваньгча Серега.

— Ему-то чего елозить? Он вроде ни перед кем...

— Это он перед нами форсит... Доплясались ему... А вот Пашка с Генкой сдрыснут завтра с этого очага культуры — тогда он сам попляшет. Не тюрьма же — откуда слинять с одного плевка...

— Куда им линять? Кино тебе тут, что ли?..

— Лишь бы Серегу к этому кино не прихомутали, — озвучил Мешок то, о чем мы пока что помалкивали.

Серега не отозвался.

Уже вовсю гудела открытая танцплощадка за клубом, но сегодня этот гудеж не будоражил, а угнетал.

Чуть больше двух месяцев назад почти у этого же места начинался тот новый, цветной, художественный, который обещала нам на завтра свежая афиша.

Каникулы были едва распечатаны, и лето только готовило все свои таинственные дары. Танцы переехали из душного клуба на открытую площадку, и было интересно наблюдать, как в меру цветастое (но в основном темно-белое) поселковое многолюдье стекалось к клубу, уплывало тонким ручейком к танцплощадке, набухало возле нее и перетекало обратно;

парней уносило в соседнюю улицу, которая напрямиком вела к единственному ресторану (он же столовая) и двум продмагам, а потом они, загруженные и нагруженные портвешком или плодово-ягодным, возвращались обратно и опять — все более шумно — перетекали “к” и “от” танцплощадки, постепенно все-таки перемещаясь туда, а вокруг становилось темно и тихо — весь свет и звон теперь только там...

Но все эти движения были пока в самом начале, еще и оркестранты не появились в открытой беседке, а только запустили музыку с магнитофона, чуть слышную оттуда, с другой стороны клуба. Молодой поселковый люд неспешно собирался, приветствовал друг друга, всматривался — кто с кем и кто в чем. Барышни скромно помалкивали рядом со своими парнями (ничего, они отыграются позже и за эту вынужденную молчаливость, и за эту необходимую скромность), а если барышни шли без парней — они быстренько прошмыгивали мимо и прямо к танцплощадке.

Тимка с Серегой отправили своих подружек туда же, и мы раскручивали по-взрослому основательного Генку на бутылку какого-нибудь пойла. Генка был старше нас на два года и работал в Сельхозтехнике, а точнее, болтался там на каких-то работах в ожидании призыва. Пашка из параллельного класса ба лагурил нам в помощь.

— Сегодня завезли такой портвейн! Не портвейн, а нектар. Ген, ты когда-нибудь пробовал нектар? Ва-аль, — теребил Пашка Генкину подружку, гордую уважительным вниманием к своему спутнику, — прикажи ему, и я тут же доставлю этот нектар прямо к столу.

— Подрости сначала. — Генка похлопал маленького Пашку по темечку.

— Я расту всем вам на зависть и там, где всего нужнее...

Под общий одобрительный хохот Пашка норовил показать всем и сразу, как он растет, если только Валя позволит.

Пунцовая Валя не знала, как увести разговор от смущающей ее темы, и уцепилась за первую же подвернувшуюся под

руку возможность. А под руку подвернулся высокомерный гаденыш Дубовец. Год назад он окончил нашу же школу и точнехонько нашел применение своей природной и фамильной дубоватости, поступив в военное училище, а сейчас, оттарабанив первый курс, фланировал по поселку, что твой генерал...

— И че Маруська нашла в этом воображале? — переключила Валя всех нас на курсанта.

Шебутной Пашка тут же принял пас.

— Ма-арусь, — приостановил он проплывающую пару, — бросай этот сапог и давай к нам...

Маруська фыркнула, а Дубовец хорошо поставленным голосом (не зря все-таки его там дрессировали целый год) сообщил нам, что все мы — дерьмо подзаборное и всю жизнь будем в этой деревне дерьмо месить, а когда попадем под его начало в армию, то будем там все дни напролет то же дерьмо месить на плацу...

— Это он, наверное, про то дерьмо, что с него повыбивали на том самом плацу? — язвительно спросил Пашка у всех нас разом.

— С него еще выбивать и выбивать, — рассудительно отозвался Генка.

— Давай-давай, маршал, маршируй отсюда, — напутствовал Серега курсанта, чуть подтолкнув его по направлению к клубу...

В наглой выходке Дубовца смелости не было ни на деще-ло — одна только дурость и выпендрож перед аппетитной девахой. Он знал, что по железным правилам поселка никакой драки на глазах у барышень быть не может, а так как жили они с Марусей забор в забор, то и отвечать сегодня за оскорбительную выходку не придется. Ну, а завтра как-нибудь все утрясется (назавтра и вообще многое утрясается само собой).

Но Дубовец ошибался. А с ним вместе и мы с Тимкой и Мешком, иначе мы ни за что не оставили бы Серегу этим вечером одного и скорее всего не читали бы сейчас этой афиши

(или ее вообще бы не было, или мы тоже болтались бы с другой ее стороны, в КПЗ районной ментовки, ожидая завтрашнее представление).

Генку переключило. Во-первых, плац и прочие армейские радости близко маячили только ему, и поэтому только к себе и отнес он весь дубовецкий гавк, а во-вторых, все произошло на глазах его подружки... В общем, он завелся. Весь вечер он караулил курсанта, но тот проявил совершенно незаурядную выдержку (или осторожность) и ни разу не отлучился от расплясавшейся и раскрасневшейся Маруси — даже и по нужде. И с танцев он возвращался, крепко держа Марусю за руку и все время пристраиваясь рядом с другими парочками. Но один поворот и другой, и уже вроде бы только они одни на темной улочке, а потом Марусю окликнула Генкина Валя, и та подошла узнать, в чем дело.

Тут и настигло курсанта справедливое возмездие. Все оно заняло минуты три-четыре. Генка придержал пыхтящего Дубовца за шиворот, Пашка нашлепал того по ушам — не слишком больно, но обидно и заметно (уши назавтра должны были сиять розовыми пельменями), а Серега наполовину сдернул с курсанта штаны и попинал розовую задницу. Когда Генка отпустил курсанта, тот упал и скоренько потелепал на четвереньках прочь от своих обидчиков, но, не рассмотрев местности, уперся башкой в забор и завыл — дико и обреченно. Маруся помчалась на этот вой, и мстители только и успели, что еще слегка попинать оттопыренный зад будущего офицера.

Маруся помогала своему ухажеру подняться на ноги и, прислонив его к забору, старалась очистить расхристанный мундир, а удовлетворенные экзекуторы молча давились смехом за тем же забором.

Через несколько минут Дубовец вошел в разум, оглянулся, принюхался — и побежал.

- Куда ты? — заголосила Маруся.
- Куда он? — прошептал Пашка.
- Похоже, что назад — на танцы...

Дубовец и вправду мчался по направлению к клубу, но не туда, а к расположенной неподалеку развалюхе — официальной резиденции нашего участкового. Потыкавшись в запертую дверь безлюдного учреждения, курсант ни капельки не остыл и помчался к Иванычу домой.

К часу ночи Иваныч собрал всех участников этих, по его выражению, “плясок с танцами” в сумрачной комнате поселковой милиции: кого привез на своем броневике (трофейном мотоцикле с коляской), а кому наказал прибыть самому — без слов и мигом. С родителями обходился, по своему обыкновению, хмуро, требуя “незамедлительно выдать правонарушителей для непременного соблюдения закона”, но с теми из них, кто притащился следом и тихо маялся сейчас неподалеку от отделения милиции, ничего сделать не мог. Так было всегда. Так и будет всегда.

Минуту-другую Иваныч располагался за своим громоздким столом, шуршал бумагами и вслушивался в гвалт возмущенных срывающихся голосов.

- Мой мундир... Смотрите...
- Если бы мы с каждой оплеухой к вам бегали — вы бы, Александр Иваныч, застрелились тут...
- Их стрелять надо! На офицера!..
- Где тут офицер? Это же говноед, а не офицер...
- Молчать всем! — рывкнул участковый. — Говорить будете по одному.

Минут через двадцать Иваныч сложил для себя какую-то картинку и принял решение.

— Значит, так, юные хулиганы: виноватые все, но не все одинаково.. Дубовец — пострадавший и потому может отправляться домой. А всей остальной шпане — ночь профилак-

тики в “пожарке”. Возражения есть? Не слышу. Если есть возражения — сделаем по-другому. Заводим дело, и пусть решает суд. А Дубовцу — докладную в училище о недостойном поведении. Хотите так?

— Да чего уж, — отозвался Серега, — пожарка так пожарка...

— А ты чего молчишь? — Иваныч тыкнул пальцем в Дубовца.

— А можно посмотреть?

— Что посмотреть?

— На профилактику... Как их там?.. Может, они там продряхнут всю ночь, и вся ваша профилактика...

— Любопытный? Посмотреть хочешь? Так давай я и тебя с ними. Драку ведь спровоцировал ты сам.

— Да ладно... Я пошутил...

— Тогда решено, — подвел итог участковый.

“Пожаркой” называлась специальная служба исполнения наказаний нашего участкового. И служба — его, и наказания — его. Располагалась эта радость в помещении местной пожарной команды, и обслуживали ее местные же пожарные, которым, кроме этой своеобразной общественной нагрузки, делать было решительно нечего. От скуки они ежедневно драили свою красную пожарную машину, и вся польза от нее, пожалуй, и была только в ее неземной красоте. Как только случался пожар, машина с незабываемым перезвоном прибывала к месту пламени, в несколько секунд испускала из себя весь запас воды и с тем же перезвоном мчалась на озеро за новой порцией — только ее и видели. А когда она сказочным видением появлялась снова, пожар, как правило, уже догорал и зрители расходились. Но, к счастью, пожары случались редко, так что многочисленная пожарная команда беспробудно скучала и потому с откровенной радостью откликалась на каждое поручение участкового, поварчивая только для вида в его очередное ночное появление (профилактики проводились только по ночам), но ради такого важного дела можно и недо-

спать, тем более что досыпать можно будет и завтра — весь день напролет...

Как правило, участковый коротко выпивал с пожарными, посвящая их в суть дела, устанавливал вид наказания и уходил прочь, целиком полагаясь на фантазию и выдержку своих добровольных подручных. Наказания были трех видов: “легонько”, “как следует” и “чтобы запомнили на всю жизнь”.

Однажды наказание “чтобы запомнил на всю жизнь” было определено сыну главного пожарного и как раз в его дежурство. Так и оно было исполнено на совесть. По крайней мере, ненависть к отцу юный правонарушитель сохранил если и не на всю жизнь, то очень надолго. И это самым убедительным образом доказывает, что врожденная мудрость нашего участкового хоть и кривыми тропками, но всегда находила путь к благодарным сердцам его односельчан.

Много позже, когда Иваныч уже ушел в отставку, а на месте милицейской развалюхи был выстроен двухэтажный устрашающий короб нового отделения милиции со своими камерами в подвале; когда на место одного участкового в поселок пришла милицейская команда в два раза большая, чем пожарная, — тогда оставленные без их важного общественного служения пожарники (ну не пожары же им тушить, в самом деле!) впали в беспросветную тоску, из которой их вытряхнула только черная зависть.

Объектом зависти стали местный духовой оркестр и отпочковавшаяся от него труба, собравшая вокруг себя маленький инструментальный ансамбль. И то и другое жировало на базе клубных инструментов, и жировало так, что пожарные потеряли свой профессиональный здоровый сон. Духовой оркестр косил деньги на ниве похорон, и эти “жмуры” почему-то становились все более частыми, а инструментальный окучивал постоянные танцы и регулярные свадьбы (в промежутках прихватывая и от других юбилеев). Раньше пожарники в

осознании своей значимости только снисходительно поплеывали на всю эту шебутню, гоняющую за деньгами или за какой иной мебелью. Что с них взять? Никакого государственного мышления и соответствующего занятия. То ли дело — воспитание хороших и нужных людей из, прямо скажем, никчемных людишек, гоношащих вокруг...

Но когда это важное их пожарно-общественное дело растаяло, тогда получился вокруг совсем другой вид, и просто невыносимо было наблюдать, что главные государственные обряды (ну и танцы тоже) справляют недостаточно достойные для этого люди. Ах, если бы они все попали в свое время сюда хотя бы на одну ночь — они бы у нас так заиграли, что и запели бы...

Никакое чувство не сравняется с завистью по неутомимости сознательной деятельности в ущерб окружающим. Пожарные стали писать. Они требовали-просили-убеждали. Даже свою машину они драили кое-как и когда придется. В своих непрочных снах они видели себя то гордо марширующими во главе похоронной процессии в блеске медных касок и оплетающих медных же труб, то на танцплощадке — в военных мундирах за нотными пюпитрами в окружении вальсирующих пар. Надо было определиться, и победили медные каски. Во-первых, они красивы и сияют, а пожарные мундиры — это смотреть не на что, а во-вторых, что там ни говори, а похороны куда надежнее всех прочих человеческих развлечений.

Надо было выбить из вышестоящего начальства медные трубы и соответствующие каски (ну и научиться дудеть, но это потом — когда будет во что). Пожалуй, они бы и научились, но прямо в пожарной части случился незапланированный пожар, в котором и сгорели все их блестящие мечты вместе с осиротевшей без постоянной заботы пожарной машиной.

Однако все это будет позже, а в ту ночь Иваныч доставил притихших Серегу, Пашку и Генку к месту исполнения собственного приговора. Под звяк стаканов и хохотки пожарных уча-

стковый рассказал о случившемся безобразии и, уходя, напутствовал окончательно проснувшихся пожарных:

— Легонько.

Беззлобно и основательно приговор участкового был приведен в исполнение форменными брезентовыми ремнями всеми пожарными по очереди. А под утро еще раз — для лучшего запоминания. Легонько-то оно легонько, но в следующее довольно долгое время жить было комфортнее стоя.

В своеобразных новациях Александра Ивановича по установлению правопорядка в отдельном поселке было одно несомненное преимущество: участковый никого не наказывал дважды за один и тот же проступок, и поэтому даже самая болезненная профилактика облегчалась сознанием полного искупления грехов. Ни жалоб родителям, ни телег в школу или на работу, ни штрафов и уж тем паче ничего более серьезного — гуляй и наслаждайся.

Но в этот раз все пошло кувырком.

Наутро Дубовец явился в поселковую милицию с отцом (еще большим Дубовцом, чем сын) и с уже написанным заявлением.

Вразумить их участковому не удалось. Он заполнил требуемые сопроводительные бумаги к заявлению гражданина Дубовца и потарахтел на своем броневике в районный центр в надежде повернуть это дело по административным рельсам (максимум пятнашка — не беда). Но в стране разворачивалась всенародная борьба с хулиганством и прочими антиобщественными увлечениями, и начальство в районе дало делу ход. Всего-то и отторговал Иваныч для свежеиспеченных преступников, что ближайшие сутки, договорившись, что милицейский уазик приедет за ними завтра.

В поселок Иваныч вернулся до козырька фуражки наполненный зеленой злобой, и это его незнакомое впрозелень лицо торчало устрашающим пугалом на фоне форменного синего

мундира. Лучше было ему не попадаться. Он объехал дома завтрашних узников, чеканно извинился перед каждым за напрасную ночную профилактику и сообщил про завтрашний милицейский конвой.

Серегин родитель сломя голову бросился в район по старым знакомым и собутыльникам, которых приобрел немало со времен своей партизанской молодости; шуршал там грамотами и брэнчал наградами, но сына отвоевал. Серегу пустили по этому делу свидетелем с обещанием позже отмазать вчистую.

Пашку с Генкой назавтра отвезли в район — там они и канули на два месяца практически без всплеска каких-нибудь новостей. Свиданий в те славные годы во время следствия не давали, письма не выпускали, и только из случайной малявы, которую Генка умудрился передать своим домашним, мы узнали, что мордуют их там, в районной ментовке, по-страшному...

А столь многообещающий институт наказаний нашего участкового дал капитальную трещину.

В начале десятого мы уже слонялись у клуба. Несколько раз прибежала Серегина матушка и истерическими криками пыталась загнать сына домой. Потом появился его родитель — как всегда, слегка совсем нетрезвый. Он молча и зорко караулил неведомо что рядом. Посельчане постепенно заполняли зрительный зал.

Только в двенадцатом часу к клубу подкатил совершенно раздолбанный пазик, остановился на обочине, продолжая откашливаться, а спустя некоторое время, скрипя железными суставами и старчески переваливаясь с боку на бок, скатился на узкую дорожку и приткнулся к самому клубному крыльцу. Лязгнули створки задней двери, и оттуда спустились две пыльные тетки, а за ними какой-то навсегда рассерженный старикан. Следом — плоский длинный дядька,

две похожие друг на друга бесформенные пожилухи и какая-то мелкая девица. Потом вывалилось с десятков ментов, и все они вместе с встречавшим их Иванычем быстренько исчезли в клубе. Двери с тем же лязгом захлопнулись. Где-то в середине автобуса маячили в окнах милицейские фуражки, а за ними угадывались стриженные головы наших приятелей. Родители Пашки и Генки метались возле автобуса, размахивая руками и громко окликая своих сыновей. Двери снова открылись, и выскочивший оттуда мент взялся злобно шугать стариков прочь от машины, но куда было его крикам и всем его “не положено” против материнских воплей. Тут можно было справиться только матом со стрельбой в помощь. Однако справились без стрельбы. Несколько ментов вернулись из клуба, они быстренько вывели Пашку с Генкой, окружив собою со всех сторон так, что тех и не видно было вовсе, и весь этот темно-синий ком с мелькающими внутри сизо-голубыми макушками стремительно вкатился в двери Дома культуры.

Культурное мероприятие начиналось.

Зал сдержанно гудел. Первый и второй ряд с двух сторон караулили менты. В самой середке на первом ряду торчали стриженные головы Пашки и Генки, болтаясь на тонких шеях в широких воротниках рубашек. С двух сторон от них и прямо за ними на втором ряду устроились милиционеры, но и следующие два ряда были абсолютно пустые, хотя никто не запрещал занимать эти места. А весь зал дальше — битком.

Мимо нас протиснулись две клуши и жердястый мужик из автобуса, и мент пропустил их на первый ряд, где они и примостились сбоку у прохода.

— Садитесь, садитесь, — шипели на нас менты, и мы вчетвером уселись в середине пустого четвертого ряда. Перед нами на голой сцене в слишком ярком свете стоял стол под красным бархатом и за ним на заднике — абсолютно нелепый транспа-

рант, выкопанный скорее всего в реквизите обязательных демонстраций: “Няхай живе наш радзянскі суд!”

А в общем, что тут нелепого? Няхай...

Все мои знания о суде в то давнее время были исключительно книжными, причем преимущественно — из зарубежных книг. Поэтому я был уверен, что в суде (точно как в тех правильных книгах) все непременно разъяснится: Пашку с Генкой оправдают (их смущенные улыбки... материнские радостные слезы... цветы), а клеветника Дубовца (интересно, где эта гадина прячется?) как-то накажут (ну, не в тюрьму, конечно, но порицание какое-нибудь), и все закончится замечательным праздником...

— Смотри, — ткнул меня в бок Тимка, — Мешок молится.

Мишка, закрыв глаза, беззвучно шевелил губами.

— Пусть молится. Это он Серегу отмаливает.

Хмурый Сергей повернул голову ко мне:

— Точно. Мне Мешок сам сегодня сказал, что главное — тебя отмолить.

— Да-а? — протянул Сергей и взглянул на Мишку. — А меня будто бес толкает встать и сказать, что все это не они, а я...

— Не дури, — Мишка открыл глаза, — не дури, Серый...

— Айда пересядем, — предложил Тимка. — Что-то здесь не в строчку.

Что-то и вправду было не так. Глухая тоска холодила нутро. До дрожи. Непонятно, откуда она шла. Может, от оглянувшихся ментов? Нет, у них самих глаза с каким-то странным перепугом. От пустого стола под ослепительными софитами? От неправдоподобно бледных лиц Пашки и Генки, оглянувшихся и неудачно попробовавших улыбнуться? Скорее всего, все они сами ощущают ту же беспросветную тоску, и от этого перепуг в их глазах, лицах и голосах. Над первыми рядами и дальше, на сцене, сгущалось что-то враждебное и беспощадное.

Мы перебрались в гущу и тесноту зала и не заметили пиджачницу, которая выскочила на сцену и что-то пропищала. Все шумно встали.

На сцену вышли те пыльные тетki из автобуса, а тетка с папкой в руке скомандовала: “Садитесь!” Потом к ним присоединился сердитый старикан. Так они и торчали стоймя под ярким светом в мертвой тишине зала.

— Стулья, стулья, принесите стулья, — зашипел ментовской начальник из первого ряда.

— А няхай стоят, — шутканул кто-то из задних рядов.

— Тишина в зале! — взвизгнула тетка с бумагами.

За кулисами забегали, что-то уронили, что-то перетаскивали. Наконец на сцену вынесли стулья, и троица уселась за стол. Главная тетка нацепила очки и стала раскладывать свои бумажки.

Все было совсем не так, как должно было быть по моим представлениям. Тетка за столом говорила тихо и быстро, и только отдельные ее слова и фразы можно было различить, а по ним — догадаться о том, что происходит. Ее подельники как-то сразу задремали, а может, просто замерли, стараясь не тревожить свою суровую начальницу, но явным образом отключились от происходящего и в этом виде просидели все представление.

Похоже, что сценарий этого спектакля знала лишь тетка с бумагами, и она торопливо вела все действие, подсказывала статистам их реплики, покрикивала и подгоняла непонятливых, произносила какие-то ритуальные заклинания и совершенно не заботилась о зрителях — ни о том, чтобы их увлечь, ни о том, чтобы убедить. А скорее всего, и она была еще одним статистом, и всем представлением рулили ее бумажки, по которым она сверяла каждый следующий шаг... или другие бумажки, от которых произошли эти...

Живые люди вертелись по-написанному, не в силах что-либо спасти и изменить.

А написана там была неимоверная чушь. Выходило, что Пашка с Генкой в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений злостно нарушали общественный порядок, а когда курсант военного училища и весь из себя отличник боевой и политической подготовки Дубовец сделал им замечание об их антиобщественном поведении, они вступили в преступный сговор с целью нанесения вышеуказанному Дубовцу телесных повреждений и в осуществление этого преступного замысла причинили Дубовцу физические оскорбления в виде двух пощечин и разорванного мундира...

И над всем этим — выше и главное всего — начертано было совсем необоримое и беспощадное: “Очистим наше здоровое общество от хулиганов и антиобщественных элементов!”

— Подсудимый Медведев, вы признаете себя виновным?

— Товарищ судья... — пролепетал Пашка, встав под пинками ментов со своего места.

— Я вам не товарищ.

— А кто вы? А как?..

— Я — гражданин судья.

— Товарищ-гражданин судья, — заклинило Пашку, — я в тот день не пил... хотел, но не получилось...

— Это несущественно. Вы признаете себя виновным?

— Почему несущественно? Сказано “в алкогольном”, а я не пил.

— Вы признаете себя виновным? — повысила голос судья.

— Признаю. Но я не пил...

— Подсудимый Зубарев, признаете себя виновным?

— Я тоже не пил.

— Вас об этом не спрашивают. Отвечайте на вопросы и прекратите отсебятину. Вы признаете себя виновным?

— Частично. И я тоже не пил.

— А в материалах дела написано, что вы признаете себя виновным.

— Так там написано, что я пил, а я не пил.

— Вы отказываетесь от своих показаний?

Генка опасливо глянул на напрягшихся ментов:

— Нет.

— Вы признаете себя виновным?

— Признаю. У меня просьба...

— К суду можно обращаться с ходатайствами, а не с просьбами.

— У меня ходатайство... С работы... Они должны были написать... Чтобы меня отпустить на перевоспитание...

— Су-по-со-шись-те-шил, — на одном выдохе проговорила судья непонятное и закончила погромче: — Ходатайство отклонить.

Каждым словом и жестом этого действия Пашкой с Генкой ловко вертели, втискивая в заранее распisanную для них судьбу. Более того — добиваясь их собственного согласия с каждым новым поворотом.

— Су-по-со-шись-те-шил, — снова непонятно пробормотнула судья, — считать правдивыми показания, данные на предварительном следствии.

Суд споро катил наших приятелей в их беспросветное завтра.

Только на несколько секунд споткнулось судебное представление, когда Дубовец потребовал компенсации за испорченное обмундирование и попробовал передать судье свой злосчастный мундир.

— Мундир для военного человека — это как знамя для полка, — очнулся вдруг старикан за судейским столом. — За порчу знамени у нас может быть только одно наказание — расстрел перед строем!

— Правильно... расстрелять его... — одобрительно понеслось из зала.

— Тишина в зале! — заорала судья и стрельнула косым взглядом на старикана, от чего он мгновенно выпал в прежнее состояние.

— Су-по-со-шись-те-шил, — снова бормотнула судья, — в компенсации отказать, так как потерпевший за обмундирование не платил.

Тут только я догадался, что неведомое “су-по-со-шись-те-шил” означает “суд, посовещавшись на месте, решил”, а от того, что судья и не думала ни с кем совещаться — даже вида не делала, что с кем-то совещается, холодная безысходность цапнула сердце. Мне же все время казалось, что это только у нас в поселке случаются изо дня в день всякие глупые дикости, а там, дальше, — огромная и правильная страна, и в ней на самом деле самый справедливый суд и самые честные милиционеры, до которых даже нашему Иванычу расти и расти; там только и делают, что заботятся каждую минуту о моем счастье (ну и о счастье всех остальных).

Как можно было столь долго сохранять ту свою младенческую безмятежность? Не знаю. Стыдно вспомнить.

В конце того давнего суда, как и положено, выступали прокурор и адвокаты: худобистый болезненный дядька и бесформенные тетки из автобуса. Несмотря на разные роли, говорили они одно и то же: про беспощадную борьбу с редкими, но антиобщественными элементами, мешающими окончательно построить научно-техническую базу светлого будущего, к которому день и ночь нас ведет родная партия с еще более родным правительством. В общем — каленым железом. Правда, тетки в конце своих выступлений что-то лепетали про снисходительность, которую мы можем проявить, хотя и с осторожностью, так как никакого снисхождения не должно быть к тем, кто мешает нам на пути в прекрасное коммунистическое завтра.

Впрочем, все они могли говорить что угодно. Судья их не слушала. Очнулась она, только когда та, первая, пигалица

выскочила с репликой, что суд удаляется на совещание. Она строго одернула спешащую домой помощницу и предоставила слово Пашке с Генкой. Генка, воодушевленный этим проявлением человечности, попросил отправить его вместо тюрьмы в армию, а Пашка обреченно буркнул, что он все равно не пил.

Отвесили им по три года — Генке на общем, а Пашке на малолетке.

Мы радовались, что Серегу не вызвали на этом суде свидетелем — кто знает, что бы он там напорол?

На танцы мы в тот день не пошли, а зря — там было на что посмотреть.

Маруся, сговорившись с Валей, вытащила туда упирившегося Дубовца, как тот ни упирался. Наговорила-наплела-увлекла-завлекла (ты — мой герой, с тобой мне никакие хулиганы...). На танцах к их заговору присоединились другие девки, и все вместе словами, похвалами да винцом они вскипятили и без того слабые дубовецкие мозги до полной потери сознания. В таком состоянии Маруся увлекла его в близлежащие посадки, а через некоторое время погнала оттуда голого (в одних только дырявых носках) по поселку. Подружки включились в лихую забаву, и несчастному потерпевшему некуда было приткнуться и негде спастись. Ничего не соображая, он рванул в поселковую милицию и свалился прямо в руки Александра Ивановича — такой голый и неожиданный подарок.

Ближайшую ночь он провел в пожарке (“чтоб на всю жизнь запомнил”), а раненько утром, вцепившись в чужие спадающие штаны, тряся и слушал, как Иваныч вкусно читал свеженаписанную докладную начальнику военного училища (нарушение общественного порядка, пьяный дебош... короче, Иваныч тоже умел писать эти важные бумаги).

— Как же так? — умолял Дубовец. — Ведь профилактика... два раза нельзя... всегда так было...

— Было — и сплыло, — отрезал Александр Иванович.

Все сплыло. Другая страна, другое время, танцы, мало похожие на те, давние, и менты, совсем не похожие на нашего участкового. Да и у меня сегодняшнего мало общего с тем собой — давним-глупым-безмятежным (разве что — его воспоминания). И только суд...

По просьбе добрых знакомых мне пришлось присутствовать в суде над их недорослем. Менты склеили его вместе со всей их шумной компашкой у дискотеки. Привезли в ментовку, слегка отбуцкали, разжились найденной мелочевкой и вытолкали взашей. Ему бы радоваться, что легко отделался, и мчаться на всех парусах в родительское гнездо, а он на спор вернулся обратно отвоевывать свой копеечный мобильник. Менты справедливо возмутились неслыханной наглостью и отбуцкали спорщика на будь здоров, с чем и выкинули на хрен.

Потом — его заявление в милицию и ответный рапорт (да не один) про дебош, сопротивление представителям власти, избиение милиционеров, сорванный погон — все привычно и обычно.

И вот суд.

Холеная дама в необыкновенно красящей ее мантии, внушительные атрибуты обряда государственного значения (герб, флаг, судейский молоток) — все вызывает трепет и уважение. Именем Российской Федерации встали-сели-поехали.

Давняя пыльная тетка, вроде бы ничем не похожая на эту выхоленную красавицу, снова хозяйничала за судейским столом. И совсем не потому, что отдельные эпизоды старого представления разыгрывались заново:

— Госпожа судья...

— Я вам не госпожа...

— А кто? А как?..

— Ко мне надо обращаться “ваша честь”.

— Госпожа, моя честь...

— Не ваша, а моя...

Красавице в мантии плевать было на подсудимого, на его боль, страх и унижение, на ментовскую наглость и даже — страшно подумать — на всю Российскую Федерацию, именем которой она вершила тут свою расправу. Она уже все решила и гнала свой спектакль к занавесу, подсказывая реплики, покрикивая на непонятливых статистов, скороговорочно бубня требуемые обрядом заклинания.

Почему ей (да и той затурканной тетке), так вознесенной, так обеспеченной (в отличие от той тетки), исполняющей обязанности чуть ли не самой справедливости, и на самом деле не искать истину? не защищать закон? не устанавливать справедливость?..

Всем своим нутром она знает, что все ее почести и вознаграждения вместе с мантией и так греющим душу “ваша честь” — все это вроде побрякушек на ухоженном и отдрессированном пуделе, и стоит только разочаровать дрессировщика, как тут же окажешься на помойке. Не буквально на помойке, конечно, но среди всех этих будущих подсудимых или будущих потерпевших. И самый быстрый путь туда — это поиски истины или установление справедливости. Так что не надо мудрить и не надо огорчать дрессировщиков...

— Там было медицинское заключение о избиении... Там, в деле...

— Было — и сплыло, — прихлопнула ладонью по столу судья...

Все — сплыло.

Тимка утонул в пенистой речушке, запутавшись в каких-то корнях, или — в своих бесконечных приключениях. Сере-

га ушел в иной (может, более правильный) мир через пару лет после того, как полностью завязал с правильной жизнью криминального авторитета. Но никуда они не сплыли и не растворились бесследно. Они прочно вплетены в мою жизнь и продолжают вместе с ней. Да и вообще, ничего из когда-то бывшего никуда не сплывает. По крайней мере, пока Мишка-Мешок беззвучно шевелит губами, отмаливая всех нас...

7. Мешок (Выбор земного)

Последний звонок я не запомнил, да и вообще, школу мы закончили как-то незаметно и между делом. Мешок привычно отмолчался — по всему аттестату одними тройками, которые получал за просто так все десять лет и не пытался даже к окончанию учебы поразить наших учителей своими способностями, потому что они сами заранее знали, кто на что способен и кто чего достоин, а любое несоответствие действительности с их про нее знаниями вызывало немедленную паническую истерику — смотреть жалко.

Как-то учительница белорусского языка и литературы, тараща глаза для убедительности, поведала нам, что среди русских писателей то и дело встречаются всякие отщепенцы, и, например, “паэт Ятушенка сауместна с яурэйским письменникам Эренбургам” — так те паразиты и вообще организовали антипартийную группу, а вот наши белорусские письменники всю жизнь были преданы делу партии, что и отразили в своих бессмертных творениях на века. Мешок долго крепился и пыхтел, но не выдержал:

— Я думаю, что вам необходимо сообщить в райком партии все вам известное про антипартийную группу, — монотонно отбубнил он с места в притихшем классе. — Ну или в обком...

— Ты што? Ты што? — запричитала учительница и забегала у доски в поисках правильного ответа, но не нашла — и разрыдалась.

На следующий урок в класс вошел директор и, отодвинув в сторону незграбную Трапецию вместе со всей ее математикой, взялся долго и нудно рассказывать о том, как партия осудила вредное доноительство и всякий честный человек должен об этом помнить, потому что мы тут днями напролет делаем из вас честных людей всеми силами, а некоторые не понимают и вставляют палки в колеса...

— А как же дедушка Ленин? — Серега прикинулся очень заинтересованным и принципиальным. — Как же Павлик Морозов? Они сейчас на том свете в гробу переворачиваются, слушая вас.

— Того света нет, — включился подурковать Тимка. — Ты эти поповские бредни брось.

— Ты думаешь, нет? — не отставал Серега. — А где же они тогда переворачиваются?

— В наших комсомольских сердцах.

— То-то я чувствую — что-то колет. Прямо в сердце. Неужто дедушка?..

Директор взялся елозить про разные времена и разные партийные задачи для каждого времени, и, когда все это нам надоело, Мешок согласился с его убедительными доводами.

— Но знаете, она так кричит, — пожаловался Тимка на учительницу белорусского, — никакой слух не выдерживает.

— Пусть кричит — лишь бы в классе было тихо, — сразил директор Тимку.

— Но пусть она больше ничего такого страшного про писателей не рассказывает, — попросил Серега.

— А вы не слушайте, — посоветовал директор.

Этим советом мы и воспользовались, нагло пропуская уроки белорусского, чему и учительница была только рада, потому что могла уже безо всяких помех делиться переполняющей ее любовью к классике белорусской словесности. На ближайшем уроке русского языка Тимка, обуреваемый мечтой о таких же, считай, разрешенных прогулах, завел снова речь о русских писателях-отщепенцах, благо ему было на кого сослаться.

— Мы изучаем классику русской и советской литературы, — нашлась учительница, — и можете не забивать свою голову всякими мелкими писателями.

Русичка всегда отличалась удивительной изворотливостью — в ступе не утолочь. Где-то, кажется, в восьмом классе, когда она только перешла к нам с учительницы физкультуры, потому что успешно окончила заочный пединститут, она объясняла про дружные пары глухих и звонких согласных.

— Для согласной “ж” кто спешит в пару? Согласная “ш”. Понятно? А для согласной “в”? — вопрошала она.

— Согласная “ф”, — подсказала зубрила с первой парты.

— Умничка. Видите, как все ладно устроено, и на слух даже кажется, что их вполне можно поменять местами — заменить одной другую. А какой согласной можно заменить согласную “б”?

— Конечно “п”, — сообразил Тимка, но по глазам его было видно, что он имеет в виду не совсем ту замену “б” на “п”, о которой сообщала учительница.

— Правильно. А согласную “г”?

— Согласной “х”, — дружно ответил класс.

— Правильно, “х”... Постойте-постойте, здесь написано “к”, — привычно подсмотрела учительница в учебник. — Странно. Наверное, опечатка, — нашлась она.

Без учебников наши учителя совсем бы пропали и чаще всего на своих уроках впихивали не влезающие в нас знания, вычитывая их прямо оттуда — не отрываясь. Они не могли помочь тем немногим, которых тянуло в учебу, и у них не было никакой возможности воздействовать на тех, кому вся школьная лабуда была до лампочки. Требования всеобщего обязательного среднего образования вынуждали переводить из класса в класс вплоть до окончания школы любых лайдаков и раздолбаев, а беспросветная жизнь гнула и горбатила ежедневными унижениями, напрочь выбивая стремление к

профессиональному совершенствованию. Наверное, их следовало пожалеть, но тем нашим торопливым и молодым сердцам было не до этого. В старших классах мы учителей изводили. Достойный отпор мы получили лишь однажды — от учителя химии Позойского, которому в ночь на Ивана Купалу разбросали по огороду все заготовленные им на зиму дрова, аккуратно сложенные в ровненькие высокие костры вдоль двух стен сарая.

Семен Абрамович пришел на урок в наш восьмой с какими-то склянками и пузырьками и какое-то время молча колдовал с ними, презрительно не замечая нашего гомона.

— Ну вот, — наконец сказал он, — таким образом мы получили газ СО, по-простому называемый угарным газом. Вы можете удостовериться, что он без цвета и без запаха. Счастливо оставаться.

С тем и ушел много раньше звонка. А мы удостоверились, полной мерой хлебнув от злой шутки Семена Абрамовича...

К концу школы нам и совсем уже было не до уроков. По интересующим нас предметам необходимые сведения можно было получить только из книг, потому что учителя нам помочь ничем не могли, а по всем остальным предметам нам не было времени даже и на школьные учебники, не то что на дополнительную литературу. Нас настиг тот же кровавый зуд, в котором много ранее завертелся Тимка.

— Ну что делать? — допытывался Мешок у многоопытного Тимки. — Провожаешь ее с танцев, а она делает вид, что идет тут с тобой или сидит с тобой на скамейке совершенно случайно. Вроде только и вышла из дому, чтобы погулять и посидеть, а больше и ничего...

— А ты молчишь и потеешь? — допытывался Тимка, корча из себя эдакого всезнайку-доктора.

— Ну, вроде того...

— Чего потеть? — наставлял Тимка. — Предложи прямо: “Давай любиться”, и все будет понятно.

— Вот так сразу?

— А че тянуть? Так и скажи ей: “Пойдем кахаться”.

— Так ведь обидится и уйдет.

— Может, уйдет, а может, пойдет...

От Тимки исходило сногшибательное очарование поручика Ржевского — победное, убедительное, очищенное от скабрёзной жеребятины народного героя. Я уверен, что известный армейский анекдот про кирпич и про то, о чем думает солдат, на него гляючи, тоже произвел на свет Тимка в первые же дни своей армейской службы, потому что именно в то время сам анекдот и появился, а ни о чем другом Тимка и думать не мог.

Армия подступила к нам по окончании школы самой зримой формой предстоящего расставания, и хотя изо всей нашей четверки в армию один только Тимка и попал, — расставание все равно оказалось неизбежным. Но мы вовсе даже не растеряли друг друга и надолго еще, если не навсегда, сохранили неразрываемую привязанность, надежно оберегавшую нас от всего, о чем невозможно было бы хвастануть или просто рассказать при встрече. Правда, встречи эти были редкими и чем дальше — тем реже, и, может быть, в какой-то степени потому тоже, что каждый из нас все-таки понатворил и такого, о чем уже старым друзьям не рассказать...

Четыре дорожки маячили перед каждым поселковым юнцом после окончания школы — институт, тюрьма, армия и негодность к армейской службе, которая, как правило, означала для выявленного “негодника” не какую-то ослепительную свободу, а немедленное трудоустройство тут же в поселке (дядя Саша внимательно следил, чтобы на его участке никаких тунеяд-

цев не было и в помине). Этими четырьмя дорожками мы все и разошлись.

Мешка от армейской службы отбила Клавдяванна — правдами и неправдами, своими хворями и жалобами, осадами дверей военкома и другого начальства, вполне справедливыми резонами, что никакого иного кормильца у нее нет, слезами и молитвами, но — отбила. Серега уехал поступать в институт, но тут же угодил в драку и следом — в тюрьму, потому что давние отцовы заслуги в далеком Минске наконец-то ничем ему помочь не могли. Я тоже уехал поступать и армию минул, ничего от нее не хлебнув. Я так и не научился ходить хором; очень туманно представляю, как надо отбивать уголки, чтобы сделать из постели требуемое начальством произведение казарменного искусства; не сразу могу по яркости командирского оперения определить, кто там у них главное.

Впрочем, и от службы я не косил. В нашем поселке армия была таким же неотвратимым природным явлением, как необходимость топить печи в зимние холода, да и как сами эти холода. Наглухо забытый девиз Хрущева о сокращении вооружений вплоть до полного и окончательного разоружения был воспринят мною, по крайнему малолетству, всерьез и с искренним огорчением, потому что этими новшествами напрочь отменялся оглушительный праздник армейских проводов.

Собственно, долгое время этими вот проводами армия только и соприкасалась с моей жизнью. Это были справедливые и заслуженные каждым два дня деревенской любви и славы. Только негодные одиночки (забракованные военкоматскими комиссиями в негодных для службы) робко помалкивали на тех разгуляйных праздниках да родители тех, кто вместо армии отправился в тюрьму, сокрушенно сравнивали своих «негодников» с соседом-призывником и пили в плач. Даже хитрожо-

пых, что умудрились спланировать в институтскую неприкосновенность, не обделяли там праздничным радушием (хоть и с кислинкой завистливого презрения). Все там были желанными гостями, а стриженный, лопоухий и даже этим одним как бы уже очужевший соседский парень на пару дней становился героем и общим любимцем. Ему, зацелованному, косому да бессмысленному, все было можно, и обычные наши сельские правила были ему не указ.

Так они и уходили, заныкивая мятые рубли в обносную одежду (все одно — менять на казенную форму).

Может быть, именно ностальгия по этим славным дням искреннего внимания и сидела потом скрытой пружиной в традиции диковинной подготовки дембельского облачения. Но обратно они приходили никак не замечаемые поселковым народом и сразу же по приезде напрочь вылезали из своих фанфаронских аксельбантов, возвращаясь в штатскую частную жизнь.

Я не сомневался, что со временем и меня достанет это почетное право отдать священный долг во исполнение гражданской обязанности. Именно такими трудносовместимыми понятиями — долг в виде права и обязанности одновременно — вменялась нам армейская служба советской Конституцией, витавшей где-то по-над жизнью страны. Надо сказать, что в таком продуманном абсурде несовместимых смыслов была мощная сила — трансцендентная и созидательная, как, например, и в понятиях идейность и партийность или партийность и совесть. Этот повсеместный абсурд заволаживал попытками понять и совместить, обессиливал и уязвлял невозможностью совмещения и вынуждал если не с почтением, то все-таки чуть снизу вверх поглядывать на всевластие тех, кто ловко рыбачил в мутном пруду марксистско-ленинской диалектики. В конце концов именно эта диалектика меня и достала, а совсем не армейская служба.

В то время я не знал, что никакая армия мне не грозит из-за моей астмы. В ежегодные вызовы призывников в военкомат районного центра мы полдня прибирали территорию военкомата, поспешным «нет» отвечали на вопрос о жалобах еще более поспешного врача и уезжали обратно с очередным штампом в приписном свидетельстве.

Потом строптивый характер (по мнению близких, легкомысленный) да шальная судьба гоняли меня по вузам страны и, удачно попадая между призывами, я без каких-то отдельных усилий снимался с призывного учета в очередном военкомате и становился на учет в следующий, потому что официальное устройство было невозможно без милицейской прописки, которая, в свою очередь, была невозможна без воинского учета.

А из Ростова я надумал уезжать как-то не вовремя. Осенний призыв был в самом разгаре, и майор-военком аж просял:

— С учета сняться? Уклоняешься, стало быть. Бегашь-бегашь, а мы тя туточки — и стоп... Ростишь вас, ростишь, воспитышь вас, воспитышь... — Под эту радостную пробормотку майор заполнял всякие свои бумаги и наконец торжественно вручил мне повестку. — Священный долг, понимаешь?

Мне надлежало явиться на призывную комиссию через три дня, и я вполне серьезно примерил на себя предстоящие два года армейской жизни. Главным для меня было решить, каким образом я согласен отдавать причитающийся Родине долг, а каким — нет.

На комиссию я явился с заявлением. Военкому такому-то, копия — министру обороны. Прошу незамедлительно призвать меня ля-ля-ля... Считаю необходимым поставить Вас в известность, что я заранее отказываюсь от службы во Внутренних войсках, в войсках КГБ и за границами СССР и в случае призыва на такую службу буду вынужден отказаться от принятия присяги...

Майор мой опупел, а вся подчиненная ему военкоматовская братня, включая членов призывной комиссии, огибала меня, маявшегося перед майорской дверью, как чумного. Сейчас я и сам удивляюсь некоторой прибабахнутости того молодого парня, которым я был тогда и который затеял это устройство своей будущей службы на полном серьезе, а вовсе не в хитроумном замысле скосить от армии.

В атмосфере отеческой заботы, густо замешенной на добродушных матюках, майор убеждал меня забрать мою долбаную бумагу, так как с моей биографией (которую он изучал по растрепанной папке) меня — только в стройбат.

— Ну, так и никаких проблем, — радовался я, — стройбат полностью соответствует моим желаниям, о которых я заявил, так что — регистрируйте заявленище, и покончим с этим.

Именно этого майор и не хотел делать. Видимо, начальством не приветствовались такие, выпадающие из казенного строя, бумаги. В конце концов майор вспомнил, что я к нему приходил совсем даже по другому поводу, и быстренько снял меня с учета, пожелав счастливого пути, чтоб меня «разодрало и образумило»...

Так я и уехал, все еще не зная про губительно-спасительную астму, плотно перекрывающую для меня радости свободного дыхания армейских будней.

На ближайшую зиму я вернулся в родной свой поселок — отдышаться и оглядеться. Тимка с Серегой были далеко. Мешок пытался обустроить сдрыхлевший бабкин дом и наладить хозяйство, но, кажется, и сам не верил в возможность этого. Мы с ним виделись каждый день и тихо радовались этим нашим неожиданным дням.

В ту же осень вернулись домой два моих соседа, Шурка и Сашка: один из тюрьмы, а другой из армии.

Из редких вечерних выпивонов с ними в более осязаемых образах выростали для меня «салабоны», «козлы», «де-

ды», «овцы» и прочие представители тюремно-армейской фауны, довольно бесплотными тенями теснившиеся до того в объёме тугих строк (в основном — машинописных) разных запрещенных изданий. Надо сказать, что общения эти были на удивление малословными, и в этом была наиболее схожая особенность моих соседей-приятелей. Нет, они не были деревенскими молчунами, под которых любили гримировать сельских жителей творцы советской литературы и кино. Если речь заходила о выпивках, любовных байках, еще о чем-то, что не слипалось внепродых с потусторонним бытом их недавней судьбы, — тут они спешили не очень поворотливыми языками вперебой друг другу («дай я приколю»). Но как только беседа соскальзывала к личным воспоминаниям их совсем недавних, вчерашних еще дней, тут же она превращалась более в молчание, в паузы, становилась не беседой, а темой, которая развивалась междометиями, вздохами, звяком рюмок, краткими замечаниями и прочувственно-матерными аккордами оценок.

При всех своих спорах и несогласиях они были чем-то удивительно схожи, но это была схожесть чужаков, где основа сходства — именно чуждость остальным, как одинаково чужды и похожи нашему взгляду совершенно разные пришельцы из каких-то иных жизней.

Так впервые и осязаемо для меня встретились армия и тюрьма, и я нащупывал их сходства и отличия.

Тюремный мир всеми своими стенами целится сломать тебя и выплюнуть ненужным и навсегда пришибленным охмырком. Ты можешь не сломиться вперед себя в стремлении выгадать и угодить, ты имеешь возможность в табели о рангах того уродливого мира занять место, соответствующее твоим о себе представлениям. Но далее тебе предстоит или саму жизнь поставить в защиту себя и этого, выбранного тобой места, или скатиться вниз, уже надломившись, и далее —

вниз. Где хватит тебе цепкости, хитрости и удачи удержаться — не знает никто, но это — путь в одну сторону, в перелом. Все это происходит с тобой всерьез и навсегда. Никакое чудо не может заново поднять и возвысить тебя не то чтобы в глазах товарищей твоих по тюремной судьбе, но — и в собственных. Можно все перетерпеть в сторонке, в массе «мужиков», никуда не высываясь с первого самого шага по тем тропинкам (как и сделал Шурка), никуда не вступая, будучи оглядливо-робким, но не явно трусливым, и тем самым не оттаптывая на себе ни воспитующий энтузиазм граждан начальников, ни презрительное внимание авторитетных туземцев. Но и это возможно не всюду, а лишь в зонах, которые по начальственной лености не вздумали превращать в «красные» заповедники.

И вот ты выбрался на волю — надломленный, или переломанный, или, в лучшем случае, точно знающий, каким скользким ужом ты извернулся из перелома. Умудрился спастись терпеливой «овцой»? Уже неплохо, но главное то, что ты точно осознаешь это свое место в дальнейшей жизни, кем бы ни вздумал прикинуться среди равнодушных к тебе людей. Не так уж важно, как ты далее поползешь (или поскачешь) по своим дням и какими победами в них попробуешь вернуть себе затоптанное в зоне самоуважение. Для самых главных будущих событий на твоём пути ты останешься той же терпеливой «овцой» (и хорошо, что не кем-то похуже). Ни к чему путному ты и не пригоден, кроме как принести собою в окружающую тебя жизнь еще больше бессмысленной и согласной овечьей покорности...

И Шурка явно знал (кожей, костями, страхами, злобой), что ничего нужного для жизни среди людей не обрел он своими лагерными годами, а даже наоборот — что-то главное и нужное оставил там навсегда...

А Сашка, наоборот, был уверен, что в армии он приобрел какой-то важный опыт для дальнейшей своей жизни. Пару раз в поисках убедительных подтверждений этой увереннос-

ти он бросался листать свой дембельский альбом, который сам же и приспособил подставкой колченогому дивану. Диван со скрипом перекашивал свое древнее тело, пока Сашка, все более мрачней, рыскал между тяжеленными страницами солдафонского изобразительного искусства. Очень скоро альбом возвращался на прежнее место, но Сашка не сдавался — тыкал указательным пальцем в Шуркину грудь и пузырил невразумительные слова.

— Школа для мужика, понимать надо... Школа жизни, мужества и все такое... Без армии — никак... Без армии — все «салабоны»...

— Отзынь, дедуля позорная...

Но на этот раз Сашка долго не унимался, размахивал руками, проливал водку, обиженно сопел и знал совершенно точно, что каждый человек должен пройти через армию, иначе он никогда «не будет, не станет».

— Таким мудаком, как ты, — подсказал Шурка.

В таких вот стычках на секунду-другую превращался Сашка в яростного «деда», а встречая отпор, тут же — в уступчивого «салабона», но более всего он и вправду походил на заполошного мудака. Но и «дед» и «салабон» жили в нем все время.

Позже я встречал на этапах таких вот свежееотслуживших бычков. Они с «дедовскими» ухватками пытались переть на оказавшихся рядом сокамерников, выкраивая себе положение поудобнее единственно известным им способом — унижая соседа. И они же с полпинка становились униженными «салабонами», напоровшись на резкое сопротивление. Но вновь и вновь пробовали они пустить в ход опыт своей армейской службы.

Армейская реальность своими писаными правилами и своими устными традициями превратилась постепенно (как и тюрьма) в отдельный, закрытый и уникальный мир.

Всякого новичка там ломают уже на входе, в первые же дни. Унизительная участь «салабона» практически не оставляет возможности сохранить человеческое достоинство. Но там естественное стремление вернуть себе самоуважение (стремление к сатисфакции, жажда мести) не гложет безысходно меж непробиваемых стен. Там надо только дотерпеть до времени, когда твои мучители уйдут и ты сам займешь их место, вымещая ядовитый опыт унижений на новых «салабонах». Так происходит очередной излом, но это уже и не опыт переломов, это — тренировка пластичности. Получаемый в итоге продукт — гуттаперчевый солдат и гражданин — самый удобный объект управления и более всего устраивает разномастную власть. Поэтому сложившиеся армейские отношения — не досадное упущение каких-то нерадивых командиров, а сама суть армейской службы.

И вот они возвращаются. Вроде все у них как у людей, но все — не по-людски...

Некоторое время назад они, сломанные и униженные, тосковали смертно, что ничего настоящего не будет более в их жизни. Не словами даже, но звериным инстинктом они понимали, что неостанет им уже самых ценных человеческих отношений. Дружба, верность, преданность — все это растоптано в той же казарме, где были растоптаны и они сами. Может, и нету на свете всего этого — настоящего, может, все это лишь выдумки зажавшихся писак, но если не выдумки, то этого всего тебе не обломится. Друганы, земели, телки — такого будет навалом, но — не более...

А потом они ломали других и сейчас точно знают, как это просто и даже необходимо (и — сладостно) — ломать человека в покорность и послушание. Это и есть — самое настоящее, а поэтому и жалеть не о чем, и все, что у них есть, — самое что ни на есть ящее, ящей не бывает.

И что же они могут принести с собой в нормальную жизнь?

Опыт существования в непереносимом унижении, но с подогревом затаенной мечтой: дожидаться своего праздника. Не дай бог дожидаться этого их праздника. Краешком его можно представить по развеселым загулам всяких однополчан в объявленные календарем дни. Объятия, совместные купания в бассейне, громкие и нарочитые братания. Погляди внимательно, служивый, — может, ты обнимаешь того самого «деда», который тебя и гнобил. Не слышит...

Задиристые, косые и бессмысленные, шатаются они по улицам в поисках, кого бы построить в немедленное послушание, и оробевших вольняшек только то и спасает, что внутри этих бушующих вояк сидят на вздерге зашуганные «салабоны» — по одному на каждого.

Пластичность — великий результат неестественного армейского отбора...

Однако бывают и исключения. Тюремная судьба Сереги и армейская Тимки сразу же пошли наискосок всему описанному здесь стандартному руслу тюрьмы и армии. Тимка не проходил губительный путь от «салабона» до «деда», сразу же спланировав на своих талантах и страстях под особое покровительство командира принявшей его войсковой части. А Серега с ходу встал на головокругную узкую тропку правильной тюремной жизни и в обеспечение своих пониманий в любую минуту готов был уверенно поставить все то, чем единственно и обладает правильный сиделец, — свою жизнь. Так и летел новой судьбой, в которую давно и упорно вырывался из под отцовской заботы...

В немалой степени им двоим помогала и та сердечная привязанность, которую все мы обрели, обретя друг друга. По крайней мере, остерегла от поспешного и дурного, как и всегда остерегают нас наши привязанности, хотя бы до тех

пор, покуда мы сами их ценим. Где-то на краю сознания мы подозревали, что это и было нашим главным жизненным обретением, которое надо было сохранить и не растрепать в блудах и блужданиях долгой жизни...

Ни у Шурки, ни у Сашки заметных душевных привязанностей не было. Шурка оженился совсем зеленым, еще до тюрьмы, и сейчас его семейная жизнь более всего походила на поле его безраздельной и довольно самодурной власти. А Сашка только планировал пожениться, но и планировал как неизбежную повинность — без вдохновения. Работали они в местном леспромхозе на тягаче, вытягивая подготовленный лес с делянок к дороге и загружая его в хронически фыркающие МАЗы.

В растреклятый день, потрескивающий январским морозом, Шуркин тягач перевернулся. МАЗы никак не могли подобраться поближе, чтобы вытянуть Шуркин агрегат, и работа всего участка застопорилась почти на целую смену. Похоже, что виновником аварии был Сашка, бездумно сигналивший, мол, «ехай! давай! ехай!», — так и заманивший тягач в засыпанную снегом яму.

Прикативший директор не стал разбираться, кто виноват больше, а кто меньше, и обложил двух приятелей по самые маковки, искренним образом посоветовав им забыть о премиальных, на которых, кстати говоря, и держалась вся работа леспромхоза. При этом во всей его речи приличными были только два слова — «пидерасы» и «премиальные». Сашка юлил вокруг директора, пока тот выбирался на дорогу к своей машине, а Шурка так и остался сидеть верхом на сковырнувшемся тягаче — оглохший и безучастный.

На следующий день Шурка объявил бригадиру, что берет три недели за свой счет и через того же бригадира тут же выписал себе три машины дров (работникам леспромхоза в качестве профессиональной льготы дрова выписывали без ограничения).

Весь свой дармовой отпуск Шурка с утра пораньше вкалывал, заготавливая дрова. Пилил (вонючая и визгливая «Дружба» житья не давала ни в будни, ни в выходные), коллол, складывал и снова пилил. Жена ему не помогала и только скандалила изредка, выскакивая на улицу в телогрейке нараспах и призывая соседей полюбоваться на «ирода» и «душегуба». Шурка заталкивал ее обратно в дом и возвращался к дровам.

Кончился отпуск. Дрова, сложенные в ладные костры (уже было без кавычек), радовали глаз. Перед выходом на работу Шурка пил всю ночь. Сначала с Сашкой, потом дома под громкие беснования жены с проклятиями и звоном посуды. Утром он принял еще и потопал в контору леспромхоза.

У директора была планерка, и именно в это время в кабинет ввалился Шурка.

— Михалыч, ты помнишь, как ты меня при всем народе пидерасом назвал?

— Ты... — директор озверел, — ты не только пидерас, ты... — Все приличные слова привычно выскочили из его памяти, и он абсолютно лишился возможности адекватного восприятия реальности.

То ли Шурка завернул чересчур сильно, то ли директорская челюсть оказалась очень нежной, но, если верить судебным документам, она оказалась сломанной сразу в двух местах. В точном соответствии с заранее продуманным планом Шурка вернулся в тюремный мир. Единственной неожиданностью для него стало внезапное изменение судебных правил. Опьянение, считавшееся раньше облегчением вины преступника, вдруг стали судить как дополнительную вину, и Шурка получил не тройк, к которому он себя готовил, а полновесный пятерик. Так что ровно на две зимы не заготовил он дров для своей семьи.

Кстати, Сашка на том суде был свидетелем, и все свои премиальные он получил сполна, потому что директор, как

Сашка и предполагал, оказался не падлой конченной, а нормальным отходчивым мужиком — вспылчивым, конечно, и резким, но без этого — никак...

А Шурку, может быть, и сломали эти два не предусмотренных им года. Вернулся он опухший лицом и беспробудно запил — уже навсегда.

Много жизней спустя писатель-юморист Жвадорин привез меня в Богушевск на своей компактной, уютной и почти вездеходной “Ниве”. Он хотел увидеть места моего детства. Знакомство свалилось на нас взаимно удивительной удачей. Мы были из напрочь разных жизней с трудносовместимым опытом и не могли наговориться. Так и остановились перед бывшим моим домом, продолжая разговор, не оконченный за все пятьсот километров пути.

В открытое окно со стороны Жвадорина влезла здоровенная вурдалачья бóшка, урытая красными буграми до глаз. Это был Шурка.

— Купите, мужики, эта вона. — Шурка протягивал отстраняющемуся Жвадорину промасленные гайки, слегка цокающие в дрожащей ладони. — А, Навум, купи вона, — приветствовал он меня, будто видел здесь еще вчера, а не десяток лет назад.

Сказать, что он был пьян, это — оскорбить всех, кто когда-нибудь напивался до любой степени бесчувственности. Вино из Шурки можно было выжимать. И не из него одного...

Казалось, что все время моего здесь отсутствия все мои односельчане пили вбеспросвет, а остальная их жизнь текла по-старому, будто и не жили они все в другой уже стране и в другом времени. На перекрестке двух основных поселковых дорог, где по-прежнему располагались основные магазины и питейные заведения, все так же стоял Скворец-младший, стреляя у проходящих знакомых сигареты и мелочевку. На этот пост он заступил лет через пять после окончания

школы в своем первом и, как оказалось, окончательном запое. А сначала судьба вроде бы сочиняла ему совсем другую песню...

Скворец-младший унаследовал от отца его звонкую трубу и редкое имя Дорофей. Имени он чурался, а трубу обожал и приручил ее до заслушаться только. Где-то он доставал пластинки с не очень разрешенным джазом и с них — по слуху — перенимал новые варианты и вариации своей совместной с трубой жизни.

Потом они стали жить втроем — Скворец, труба и нерасчесываемо-кучерявая Дина, которую Скворец называл “моя Еврейка-Дикая”. Скворец в то время и не помышлял пить, да и не мог бы, потому что губы его всегда были заняты или трубой, или Диной и никакой стакан не мог бы к ним той порой пробиться.

В черный день они втроем потарахтели на старом мотоцикле по грибы, и в лесу Дину ужалила гадюка. Переполошившийся Скворец гнал обратно в больницу не разбирая дороги да так и не понял, на что налетел его мотоцикл, когда его и Дину вышвырнуло на землю. Дину в больницу он донес на руках, но та была уже без сознания.

— Она жива? — теребил Скворец Баканова.

Тот только руками разводил и пытался объяснить про кому и про границы возможностей современной медицины.

— Она нас слышит? — пытал Скворец.

— Может быть, — бормотал Баканов. — А может, она слышит уже иной мир...

Ночь напролет под проклятия всей больницы Скворец дудел у постели Дины, вызвенивая ее обратно из бессознания их общими любимыми мелодиями. Под утро она неожиданно открыла глаза.

— Не закрывай! — заорал Скворец. — Смотри на меня. Слушай.

Боже мой, как он, наверное, играл!

Но Дина отвела от него взгляд и закрыла глаза. Скворцу показалось, что там, в своей темноте, она хочет досмотреть что-то очень важное — более важное, чем он и его труба.

После ее смерти Скворец оставил трубу и запил.

Но у Скворца хоть был повод, а пили-то все сплошь. Пили, будто это и было главным предназначением всей их жизни — ответственно, натужно и ежедневно без всплеска даже какой-либо радости питья.

— Это я виноват, — непонятно признался Мешок в ту зиму, когда посадили Шурку и когда я впервые так надолго вернулся в поселок.

Мешок имел в виду свое пожелание, чтобы никого не арестовывали за самогон, но я конечно же ничего не понял. Я вообще тогда Мешка не понимал. У него были золотые руки, но все в его дому и вокруг дома рушилось и приходило в негодность. Ночами Мешок слушал вражеские голоса по подаренному мной допотопному отцову приемнику и сумел добиться от этого лампового монстра вполне приличной слышимости, вопреки все еще работающей и недовзорванной нами глушилке.

— Разве починить забор труднее, чем переплести книгу? — Я с удовольствием вертел в руках классно переплетенный Мешком томик “Архипелага” и наседа на довольного похвалой Мешка своими недоумениями.

— Во-во, — образумь этого обормота, — скрипела Клавдяванна мне в помощь, выбравшись из своего закутка.

— Ты не думал, почему у Солженицына его Матрена живет в таком запустении? — огорошил меня Мешок. — Может, праведникам так и начертано?

— Что начертано? Жить с тараканами? В этом, что ли, праведность?

— Ничего не выкраивать для себя.

— Зусим с глузду сышоу, — вздохнула Клавдяванна и опять скрылась к себе за печку.

— И ты, значит, праведник?

— Я только учусь, — улыбнулся Мешок.

— А ты не можешь учиться этой своей праведности и одновременно приводить в порядок дом?

— Боюсь, что так нельзя...

Я испугался, что Клавдяванна права и Мешок на самом деле слегка не в себе. А может, и не слегка...

Мешку и самому казалось, что он сходит с ума. Это было время его счастливой влюбленности, и поэтому он старался в будущее не смотреть и о будущем не думать. Что он мог там предложить своей очаровательной избраннице — порушенную избу с тараканами? Может быть, праведникам и не след жениться? Почему неведомые силы наделили именно его заботой о неустроенном мире, обделив возможностью озаботиться своей судьбой? А если нельзя осчастливить женщину, которая зашибла сердце, то что за дело ему до всего суматошного мира?..

Но изнывающий в неправдах мир тербил Мешка, не позволяя тому полностью потонуть в своих безответных вопросах. Мешку подступало доставать снова свою таинственную тетрадку, и он надолго замирал над ней — огромный, всемогущий и... беспомощный.

Теперь уже он занимался справедливым переустройством мира до предела сосредоточенно, вытеснив предварительно из себя любые жизненные нетерпения, и обломов почти не случалось. На долгое время основной заботой Мешка стало обережение Солженицына и Сахарова. Нобелевки он им не хлопотал, полагая, что для этого у них хватит других ходатаев, но ежедневно почти вымаливал им спасение от тюрьмы. Главным

источником информации для Мешка оставался древний ламповый приемник, и поэтому так получалось, что он свои могущественные возможности включал не в опережение событий, а вслед за ними, стараясь поспеть за унырливыми гэбэшниками и их неожиданными придумками.

Но одно хорошее дело он придумал абсолютно самостоятельно, без всякой подсказки из приемника. В стране объявили пятидневную рабочую неделю, подарив всегда не успевающему как следует похмелиться народу два выходных подряд. Наверное, лучшим подарком это стало для не очень пьющих евреев. Вслед за самим Богом стремящаяся к такому же могуществу партия заново даровала евреям их священную субботу. Вдохновленные этим подарком еврейские старики стали вновь часто собираться в доме моего деда, но уже не на запрещенные им ранее молитвы, а чтобы перетирать беззубыми ртами невероятные новости о том, будто бы в самом Кремле появились какие-то люди, вознамерившиеся облегчить древнему народу его сегодняшний день. Старики сидели у телевизора и играли в свою вечную игру.

— Аид, — тыкал пальцем кто-либо из них в экран с помехами, — еще аид и еще один.

— Это аид? Чтоб я так жил! Это гой, и морда у него что у погромщика.

— Нет, это — аид. Он скрывается, потому что надо скрываться, а если бы не скрывался, то — чистый аид.

— А я говорю — погромщик.

— Сам ты погромщик.

Так они и отошли один за одним у этого же телевизора, не прекращая привычной свары...

Еще в тетрадке Мешка было написано о благополучном полете американцев на Луну, о победе израильских агрессоров над несчастными арабскими армадами, о спасении Буковского (правда, Мешок всегда принимал его за космонавта Быковского), о победах советских хоккеистов и фигуристов, о

том, чтобы для местной детворы регулярно привозили в поселок мороженое, а для взрослых — пиво...

Но в зиму, о которой идет речь, Мешок к своей тетрадке не прикасался.

Это была замечательная зима. Я перепечатал, а Мешок переплел такое количество разнообразной недозволенщины, что если бы сейчас и помереть, то совсем не стыдно было предъявить кому там положено результат своих здешних трудов. Но этот отчет откладывался, и подступила пора прощания.

— Жаль, что Тимки с Серегой не было с нами...

— Давай — за них. — Мешок склянкнул своим стопариком по моему.

— Ты тут в своей праведности не очень, — неловко пошутил я. — Не переусердствуй. Всех невест распугаешь...

— Ладно — как-то будет. — Мешок опять надолго замер. — А что бы хотел ты?

— В смысле?

— Ну, самое главное — чего ты хочешь?

— Берешься устроить? — рассмеялся я.

— Не-е, — отступил Мешок, явно отказавшись от мысли рассказать что-то сверхважное. — Хотел знать, за что помолиться...

— Тогда помолись, чтобы меня не арестовали... не посадили... пока еще...

— За это не могу, — вздохнул Мешок. — Это же за тебя, а значит, получается, — для себя...

Объяснения Мешка были непонятными, но за ними маячило такое откровенное признание в дружбе и преданности — до перехвата дыхания.

— Тогда помолись за моих друзей и знакомых — кого ты не знаешь. Чтобы из них никого и никогда не посадили... Это можно?

— Можно, — подумав, кивнул Мешок.

— Тебе список дать или ты так — скопом? — Я пытался шутливым тоном скрыть свое смущение обнаженной Мешком сердечной заботой.

— Не надо список. Ты сам подумай о каждом, а я и помолюсь за тех, о ком ты подумал.

— И этого достаточно?..

Я продолжал сохранять шутливую интонацию, но уже понимал, что в словах Мешка самая главная правда жизни. Что же еще может держать нас на земле, кроме добрых слов да молитв наших друзей и близких?..

Когда меня арестовали, два следователя ростовского КГБ приехали в Белоруссию, чтобы нарыть чего-нибудь убедительного для уже составленного вчерне обвинения. Дотошный обыск в доме Мешка обогатил их проклятиями Клавдиванны и пухлой тетрадкой — точнее, сшитыми вместе тремя ученическими тетрадками, найденными в окладе иконы. Сам предполагаемый свидетель обвинения оказался тупым и упрямым дебилом, негодным даже на упоминание в сочиняемом следователями документе.

— Худое дело робите, — твердил Мешок в ответ на любые вопросы. — Худом всем вам и откликнется, — добавлял он совсем невпопад, будто не слыша требований сообщить фамилию.

Следаки прервали допрос и укатили отдышаться в забронированный заранее номер витебской гостиницы. Тетрадку они сначала пролистали наискосок, позже зачитывали вслух отдельные фразы и ржали, а еще позже — задумались, пытаясь перебороть нарастающую тревогу. С тем и легли спать, чтобы поутру после скорбных новостей правительственного сообщения и долгих телефонных переговоров сцепиться в яростном споре.

— Чушь... Записки слабоумного... Ты вспомни его — это же олигофрен хренов, и ничего больше...

— А ты на числа погляди. Сопоставь...

— Числа он задним числом приписывал...

— Что Черненко ласты склеил, ты когда услышал? Что главный по похоронам Горбачев — ты слышал?.. Почитай — это у нашего олигофрена позавчера написано...

— Совпадение... Простое совпадение...

С тем они и уехали, прихватив тетрадку с собой и продолжая неоконченный спор, прерываемый лишь неотложной необходимостью сочинения подробностей моей антисоветской жизни.

— У меня жена заболела, — глядя в хмурь за окном, выдавил наружу мучающее его беспокойство следователь Проценко. — Пошла на обследование — и вот...

— Сочувствую, — машинально отозвался его верный помощник, не отрываясь от писанины.

— Ты помнишь этого... из Богушевска?.. Он говорил, что худом отзовется.

— Прекрати эту бабскую истерику... Совпадение. Дурацкое совпадение.

— А если у него талант на совпадения? А если и дальше нам хлебать от его совпадений?

— Знаешь что? Давай я тебе все докажу раз и навсегда. Помнишь, там написано, чтобы никого из друзей нашего антисоветчика не арестовали и не посадили? Помнишь?

— Ну помню.

— Так давай посадим. Пристегнем к делу.... Соорудим группу. Понимаешь? Нам с того — только больше заслуг, а заодно убедишься, что твои страхи и суеверия гроша ломаного не стоят...

На запрос следователей ростовского управления КГБ о продлении расследования по моему делу, о привлечении к следствию новых обвиняемых и о переквалификации обвинения в полновесную 70-ю из Москвы ответили категорическим приказом ограничить дело предъявленным уже обвинением и закончить следствие в установленный срок. Я потом видел этот приказ в материалах дела, но не знал, как сильно он долбанул моих преследователей.

— Убедился?

— Совпадение... Новые времена, новая метла...

— Так там и написано про новую метлу...

— Это ничего не доказывает. Взять бы этого дебильного пророка на настоящий допрос — он бы такое запел...

— Вот и возьми... Как руководитель следственной группы я тебя отправляю в командировку. Дуй в этот Богушевск. Верни тетрадку как не представляющую интереса для следствия и допрашивай там ее хозяина сколько угодно и как тебе угодно. Проверь на себе, а я не хочу оказаться случайной жертвой даже и совершенно случайных совпадений.

“Чушь... Ерунда... Небывальщина...” — распался себя гэбэшник всей долгой дорогой и в сладостных мечтах видел извивающегося в страхе Мешка, и отстраненного по его заявлению начальника, и себя на его месте, и свои новые погоны, и...

— Вот, специально приехал, чтобы вернуть вам вашу собственность, — промямлил следак, заявившись заново в дом Мешка. — Подумал, что вдруг вам понадобится что-то написать, а — негде... Так спешил... А знаете, вашему другу у нас хорошо... Очень хорошо... Он же у нас наконец-то может хоть есть по-человечески... Представляете, он до того, как мы его... в общем, одни макароны ел... Ужас... Верите?

— Что макароны ел? — нарушил свое молчание Мешок. — В это верю.

По освобождении я на несколько дней вернулся на родину.

Клавдяванна была еще жива, хотя и очень слаба. Все свое время она проводила у телевизора, который Мешок, наверное, специально для нее и завел. Мешок работал на железной дороге, заведая там всякой электроникой и автоматикой, после работы без устали поднимал из руин хозяйство и собирался жениться на давней своей избраннице.

В тот приезд я удачно попал за день до отъезда Тимки по каким-то своим всегда таинственным делам. В кои-то веки мы смогли собраться все вчетвером. Тимка был неправдоподобно и, казалось, навсегда загорелым после своего афганского пра-

порства, которое было для нас таким же таинственным, как и все его дела. Он был облачен в заморское шмотье, радовался нашей встрече совершенно безмятежно и все время пытался одарить нас и Мешкову невесту джинсами, или часами, или сам не знал чем.

— Хотите презервативы? Да вы никогда и не видели таких презервативов. Это же вещь!.. Нина, — теребил он хозяйку застолья (и почти уже хозяйку всего Мешкового дома), — хочешь презервативы — чтобы раньше нужного не настрогать маленьких таких мешочков от нашего Мешка?

— А я как раз хочу настрогать, — безо всякого смущения отзывалась Нина. — Тебе, шалапуту, этого не понять.

— Тогда лучше строгать тимок, а не мешочков, — задирился Тимка.

— Завидуешь? — тыкнул его в бок Серега. — Правильно делаешь. Мешок вытянул самую козырную карту...

Серега был бледен до прозрачности после очередной своей ходки и тихо отдышался среди нас, возвращаясь к жизни и радуясь, что здесь вот можно расслабиться безо всяких опасений и не держать наготове всегдашнюю защитную ярость.

Тихонечко поохивая, в горницу приковыляла Клавдяванна, привычно поварчивая на нас между охами, но явно радуясь нашему счастливому сборищу. Нина тут же усадила ее на свое место, пристроившись как-то рядом с Мешком, а более — летая сразу вокруг всех нас.

— Послухай сюды, Навум, — прервала застольный гомон Клавдяванна, — я тут с соседками собрала трохи грошей. Ты как в сваю Москву поедешь — отвези их и передай там... найди Марию эту и передай... Надо помочь человеку...

— Какую Марию?

— Не обращай внимания, — хмыкнул Мешок. — Бабка с подругами день за днем смотрят сериал этот... "Просто Мария" называется.

— Давайте мне, — засмеялся Тимка. — У меня этих Марий... И каждой нужна помощь.

— Тебе, охальник, и копейки доверить нельзя.

— Копейки — нельзя, а Марию — очень даже можно...

Когда Клавдяванна убедилась, что до Марии мне никак не добраться, хотя я и слоняюсь невесть зачем по самой Москве, она, недовольно бормоча, перебралась в отгороженную для нее Мешком маленькую свою комнатенку. Там она и померла через месяц — тихо и аккуратно, как всегда и старалась жить и помереть...

Я спешил и уже через пару дней после Тимкиного отъезда зашел к Мешку попрощаться. Мешок хлопотал, перестилая полы в дому, и, даже обнимая меня, все еще морщил мозги, прикидывая, как упредить свои неотложные заботы.

— Выходит, можно все-таки и без тараканов? — подначил я.

— Каких тараканов? — не понял Мешок. — Ты про тараканов в голове?

— Отчасти... Я про праведников... Им уже можно, чтобы и для себя?

— Нельзя, — как-то с ходу осунулся Мешок. — Им можно перестать быть праведниками.

— Вот так взять — и перестать? А что же будет со всеми нами грешными?

— Ну, на время перестать, — засуетился Мешок, стараясь стать меньше и незаметней, что при его комплекции было затруднительно. — Типа отпуск... Чтобы привести в порядок хозяйство, то да сё... Но совсем отказаться нельзя. Надо замену найти вместо себя — пока в отпуске...

Мешок явно заговаривался, и я вспомнил давние свои опасения по его поводу. Но даже если он и немного того... немного не в себе — в этом же ничего страшного? У каждого свои тараканы. Мешок сдвинут на праведности и переживает, что сошел с дистанции. Интересно, кого это он считает здесь новым праведником? Неужто сам кому-то поручил — будешь вот вместо меня? С такими разговорами можно и на дурку угодить...

Я поделился своими сомнениями и страхами за Мешка с Серегой, который провожал меня до самого поезда. Мы сидели в привокзальном сквере, заросшем кустарником в не протраться, и распивали на посошок.

— Не бойсь — это он со мной говорил, — успокоил меня Серега.

— И что ты?

— Вижу, Мешок совсем умом попятился, ну и согласился, чтобы его не расстраивать. У всякого свои заскоки — я этого насмотрелся, а Мешковые еще не из самых диких. К тому же это наш Мешок, как же не согласишься?

— На что согласился? — не понимал я.

— Ну побыть вместо него, — засмеялся Серега. — Вроде Божьего разведчика и подручного...

— Вроде шныря? — подколот я.

— Вроде того, — прихмурил Серега. — Но — у самого Бога, — нашелся он.

— И что надо делать?

— Да ничего не надо делать, — отмахнулся Серега. — Надо дать Мешку возможность успокоиться, собрать расстроенные мозги в пучок, жениться, сладить хозяйство...

— Ну тогда за твою праведную жизнь, — предложил я заключительный тост.

— Не хохми, — чокнулся Серега, дотронувшись бутылкой до моего лба. — Моя правильная жизнь — это и есть почти и праведная... Тем более что, наверное, скоро я буду в законе...

С тем я тогда и уехал, на всякий случай перебирая в памяти знакомых, которых можно будет поднять, если Мешку понадобится срочная медицинская помощь.

Лет через двадцать Мешок вытащил меня в Богушевск полуночным заполошным звонком. Он и встретил меня у поезда, и, пока мы ранним утром шли по упрятавшемуся под кроны деревьев поселку, сбивчиво рассказывал про свои сумасшед-

шие фантазии о порученном ему служении, и упрасивал подменить его на время, потому что ему как раз сейчас ну никак не с руки и нет никакой возможности оставить своими заботами семью, дом, детей...

— Несколько лет всего, а?.. Вот дети подрастут — и тогда ладно уж... Тогда — пусть вся моя жизнь — прахом, и я обратно стану рулить... Ну пару лет хотя бы?..

Я накрепко помнил, что с двинутыми умом спорить не надо, и отмалчивался, еле сдерживаясь, чтобы не фыркнуть — настолько нелепым было сочетание этого громалы, его лепета и его же выдумок космического масштаба. Я присмотрелся к Мешку, и напрочь ушло всякое желание фыркать и насмеяться над ним. Ему вправду было очень плохо.

Ну и что мне теперь делать с Мешком? Можно, конечно, врезать его сразу по лбу отрезвляющими словами, но какой в этом толк — он же не услышит? А если он с этим своим бредом обратится к кому другому? Его же мигом определят в психушку и — до конца жизни. А как тогда его жена?

— Как Нина? — попробовал я переключить Мешка с его сумасшествия на что-то реальное.

— Замечательно. — Мешок прижмурился. — Просто замечательно... Вот я и говорю — нельзя ей сейчас... никак нельзя, чтобы ее — в поруху, в развал... Все же развалится...

Мешку послышалось в моем вопросе про Нину какое-то отдаленное согласие, и он зашепшил, добивая меня новой порцией убедительных для него резонов.

— А потом я ее подготовлю... Потом она поймет... Дети подрастут...

— Через пару лет еще не подрастут. — Я, кажется, начал вилять, так и не решившись открыть Мешку правду про его, мягко сказать, ненормальности. — У тебя младшему сколько?

— Пять, — прошептал Мешок. — Уже пять... Зато старшему девятнадцать... А через пару-тройку лет старшие смогут приглядывать за младшими, и я им ни к чему...

— Ну ты прямо как Шидловский. Помнишь? — попытался я перевести разговор.

— Скажешь тоже. — Мешок улыбнулся и стал прежним. — Мы же — не каждый год.

— А что мешает? Сил нету? Или желания?

— Этого — навалом... Как Бог дает — так все и получается... По-моему, хорошо получается... Но это — пока можно заниматься собой... Пока не надо отвечать за всех, — вернулся Мешок в свою придурь. — Так что скажешь? Поможешь?

Я отмолчался до самого дома, где Мешок на какое-то время оставил меня в покое и в полное распоряжение Нины, а сам занялся ежедневными хозяйственными тяготами, которые совершенно наглядно были ему совсем не в тягость. Владения Мешка могли бы посоревноваться с памятными из детства роскошными владениями Домового. Я глядел через окно на ухоженную теплицу, в которой именно сейчас крутился Мешок, отбивался от его малолетних симпатичных отпрысков, вполуха слушал Нину, которая ладно справлялась с утренними домашними хлопотами, собирая завтрак, приглядывая за детьми, прибирая в уютной комнате, — все сразу и все между делом да без натуги.

“Ты говоришь — любовь... Кака така любовь? Выдумки одни. Это ваш Тимка и такие, как он, напридумают с три короба, чтобы блудить без совести... У нас — семья. Хозяйство надо доглядать, детей поднимать — тут не до глупостей... Михась говорил, что ты драники любишь. Я к его приходу напеку, чтобы с пылу с жару. Так смачней будет. Он тоже драники любит. Он мне, чтобы бульбу тереть, даже прибор специальный купил, но я все равно руками — так привычней, да и смачней получится... А название-то, название у того прибора — смехота и срамота: блендер называется. Это ж кто мог такое название придумать? Только Тимка ваш и мог... Вот он, охальник, все время про любовь — ему только того и надо. А у нас — кака

любовь? И за что, скажи на милость, можно, например, вашего Мешка любить? Он же и слова ласкового не скажет... Все молчком. Хочешь ему что сказать, а — его и нету. Только что был и снова — то в сарае, то в огороде: ходит, ладит, бормочет что-то... Мы вот из-за его выдумок и мясной вкус позабыли. Нельзя, говорит. А как телку сдавать идет — прям плачет, чисто дитя... Хорошо еще, что его выдумки на курей да утей не касаются... А начну говорить, почему нельзя как у людей, чтоб свинок держать? Свинки — это ж такое подспорье было бы. Молчит... Если хоть и заболит что, все одно — молчком... Вот и домолчался. Сёлета сердце ему прихватило так, что на “скорой” увезли. А у меня все и оборвалось сразу. Меня к нему не пускают, так я рядышком — в коридоре. Баканов гонит домой, а куды мне идти, если Михась мой туточки — за стенкой мается? Дети там же при мне, но понятливые они у нас — тихо мышатами жмутся и голоса не подают, чтобы не выгнали нас отшель... Я тогда впервые молиться стала. “Господи, — говорю, — пусть он оклемается. Если Тебе надо, — говорю, — пусть он хоть и больным на завсегда останется, а я за ним ходить буду — только не забирай его от меня”... А ты говоришь — любовь... Глупости одни, а надо просто жалеть один одного, вот и вся любовь... Нет, ты не подумай, мы, известное дело, любимся с Михасем — да еще как любимся... Только знаешь, я думаю, что Бог — если Он есть — все это придумал специально, чтобы люди перед ним не зазнавались. Чтоб не кичились умом или чем еще. Чтоб помнили, откуда они все и как они принуждены любиться... Срамно ведь — честное слово... Хотя, конечно, радостное дело, кто ж спорит? Очень радостное, но все одно стыдное — не напоказ...”

Мешок вернулся со двора и кликнул меня с собой.

— Потом поснедает, — объяснил он жене. — Меня на работу проводит и вернется.

— А ты разве снедать не будешь? — засуетилась Нина.

— Опаздываю. Сегодня надо пораньше... Я и вернусь пораньше, — успокаивал Мешок всполошенную жену.

Мы вышли из дому и какое-то время шли молча.

— Ну так что? — снова спросил Мешок. — Поможешь?

— Ты же Серегу назначил, — вильнул я в сторону.

— Пришлось уволить, — нахмурился Мешок. — Он бы со своими воровскими понятиями такого наворотил... Да и наворотил... Где-то в девяносто седьмом я его и свольнил... Нет, в девяносто шестом... Точно — в девяносто шестом. Доверил ему это дело в восемьдесят девятом, когда ты да он освободились, а в девяносто шестом пришлось свольнять — такого набедакурил...

— А Тимку просил? — Я продолжал петлять, так и не решившись еще предложить Мешку показаться специалистам.

— Так сразу после Сереги к Тимке и побежал — а куда мне еще было бежать? Вот с девяносто шестого по нонча Тимка и куролесил... Потому и вызвал тебя, что пришлось свольнять и его.

— Тоже наворотил?

— Сплошной срам и блуд.

— А как он?..

— Кто — Тимка?.. Тот же довольный котяра, что и всегда.

— Нет, я спрашиваю, как он отреагировал на твою просьбу?

Поверил?

— Чего же ему мне не поверить? Раззи я кого обманывал? Ты, к примеру, что, мне не веришь?

— Так Тимка сразу согласился? — уворачивался я от неприятного вопроса.

— Мне кажется, что он даже обрадовался, — вспоминал Мешок. — Мне бы тогда еще присмотреться к этой его странной радости... Да где там!.. Я так спешил найти замену Сереге... ну, и себе... Выходит — сам виноват...

— Так-таки и не усомнился ни в чем?

Я не мог поверить, чтобы такая язва языкатая, как Тимка, вот так с ходу принял все Мишкины придолбаи. Может, его Серега предупредил?

— Я же говорю: сразу обрадовался. Тетрадку мою схватил и тут же принялся что-то в ней строчить. Я ему говорю: “Покажи, что пишешь-то?” — а он мне в ответ: “У нас кто теперь Божий подручный — ты или я?” — так и не показал.

Я представил Тимку, рисующего в Мишкиной тетрадке свои подсказки самому Господу Богу, и уже не мог сдержать смех...

8. Тимка (Любовь в разлив)

Тимка обрадовался вовсе не могущественным возможностям, которые Мешок временно передавал ему вместе с тетрадкой (как показалось в тот момент Мешку), а тому, что вся эта непонятка вопреки Тимкиным опасениям прошла легко и бесбестрастно. Серега, естественно, предупредил его о Мешковой придури и о том, что Мешок скорее всего обратится к нему за помощью, — вот Тимка и мандражировал, совсем не желая видеть своего друга не в себе и слышать, как тот заговаривается и лепечет бессвязную хрень.

А на самом деле все оказалось не так уж и плохо. Ну возомнил человек, что сам Бог доверил ему стоять на посту и дыбать во все глаза за порядком и справедливостью, — подумаешь, невидаль! Кому это мешает? В жизни случаются заскоки и покруче. Вона сколько лет кряду куча людей торчала на своих постах, не позволяя никому улизнуть с ухабов коммунистической дороги в тишь да гладь буржуазной бездуховности. Вот то была беда! А в Мишкином тихом помешательстве какая кому беда? И почему не подменить Мешка в этом его выдуманном карауле? Это самое меньшее, что может сделать Тимка для своего друга. Тем более — хлопот никаких. Так что пусть Мешок не изводит себя своим отступничеством и спокойно занимается домом да семьей, если все это у него так ладно получается.

Тут Тимка вспомнил, что Серега советовал совсем уж не филонить и время от времени записывать какие-нибудь благие пожелания в тетрадку Мешка, чтобы потом — при возвращении своих придурочных полномочий — Мешок не огорчался и увидел, что все было чин чинарем...

Тимка решил тут же что-нибудь и написать, окончательно убеждая Мешка в том, что тот передал свое божественное служение в надежные руки. Надо что-то ясное и справедливое, типа миру — мир, но не столь глупое. Тимка вспомнил книгу, которая в давнем пересказе Сереги запала ему в душу, — там надо было добраться до шара, исполняющего любые желания, и герой после всех мытарств сидел у этого шара и повторял дятлом: “Счастье всем — и абсолютно бесплатно”. Это вот желание счастья всем и даром Тимка и переписал в Мешкову тетрадь, но из-за того, что счастье все понимают по-разному, переписал в понятном каждому варианте своего постоянного тоста: “Чтобы пилось и ялось, чтоб хателось и моглось, чтоб у каждом у гадзе было с ким, кали и гдзе”...

В общем, Тимка был уверен, что он все разыграл тип-топ, хотя и видел, что какие-то сомнения у Мешка все еще оставались...

На следующий день Тимка уехал и Мешкову тетрадь, как и обещал, взял с собой, а чтобы не путаться с этой тетрадкой и со своим деловым блокнотом, в конце концов перенес в нее и все свои немногочисленные записи. Но прежде этого Тимка наискосок пролистнул понаписанное Мешком и Серегой. Серегину руку разобрать было мудрено, а вот Мишкины строчки — крупные, четкие и старательные — читались безо всякого напряжения. Тимка листал да похмыкивал. “Трэба закончить войну в Афгане”, — написал Мешок напоследок, прежде чем передал свою тетрадку Сереге.

— Вот ведь дурухан, — раздосадованно воркнул Тимка, сверив дату Мешковой записи с числами, застрявшими в памяти.

Вряд ли из этого ворча следует делать вывод о том, что Тимка в конце концов поверил Мешку и его фантазиям. Не больше, чем фантазиям любого другого человека, которых он наслушался вдосталь. Но и никак не меньше. Тимка ведь допускал, что за пределами известного в дважды два мира его постоянных хлопот и усилий вполне может существовать что-либо загадочное или необъяснимое (хоть даже и чудеса), и не спешил лезть со своими сомнениями за те известные ему пределы. Почему же не допустить существования чудес, о которых говорит Мешок? По крайней мере, Мешок, в отличие от кого другого, Тимку никогда не дурил и ничего из него не выдуривал. Вдруг и на самом деле именно его желанием и прихлопнулась афганская война? И кто же он после этого? Натуральный дурухан.

Мешковые добрые помыслы Тимка конечно же понимал и даже в меру приветствовал, но лично ему та кровавая бойня одним из своих безумных изломов устроила такую завидную судьбу, что и сейчас еще было трудно сдержать досаду ее внезапного завершения.

Лет через десять после окончания Тимкиной армейской службы районный военком развернул перед ним неожиданно грандиозные перспективы. У Тимки был временный простой в череде разной степени успешных коммерческих предприятий, и он в очередной раз вернулся в Богушевск, а к военкому попал, чтобы стать на обязательный воинский учет, перед тем как заново прописаться в родимом доме. Собственно, он никуда из Богушевска и не уезжал, и где бы ни носили его очередные великолепные придумки — примерно раз в неделю всегда навещался к матушке, не оставляя ее своими заботами. В то время менты зорко следили, чтобы, кроме некоторых специально поименованных ситуаций, человек работал в местах, соответствующих прописке, а так как Тимка придумывал себе самые разнообразные работы и заработки, ему время от

времени приходилось выписываться из квартиры матушки и обратно прописываться в ней. В тот раз он прописывался, предполагая устроить себе небольшой отдых — расслабиться и оглядеться. Не получилось.

Потрепанный военком без вдохновения и безо всякой надежды отработывал инструкцию по вербовке очередного летуна-шабашника-лодыря в помощь ограниченному контингенту наших доблестных войск в этом сраном Афгане, где они, не жалея последней капли крови, отдают интернациональные долги великой родины, которая в долгах как в шелках — по уши, а некоторые засранцы, не понимая своего счастья погибнуть в защиту самого святого, болтаются в поисках длинного сраного рубля, не имея ни чести, ни совести за душой, и была бы воля военкома, он бы стрелял таких на месте и без зазрения совести, потому что наших славных бойцов некому даже сопроводить к местам их захоронения и приходится отправлять их святые гробы с одними накладными малой скоростью в сраных багажных вагонах, а это даже хуже, чем пустая похоронка без гроба, и, если у тебя есть хоть капля совести (военком тыкал пальцем куда-то в Тимкин пупок), ты пойдешь сей же час в поликлинику и сдашь хотя бы свою поганую трусливую кровь в помощь погибшим бойцам, а когда принесешь справку о сдаче своей сраной крови, мы тебя, бессовестная морда, может быть, поставим на этот сраный учет...

У Тимки что-то щелкнуло. Это еще была не идея — это было предчувствие идеи, но Тимка к таким своим предчувствиям относился очень внимательно. Через пару часов он поил военкома в местном ресторане, расспрашивая, уточняя и сам для себя формулируя свою возможную завтрашнюю судьбу. Вчерне он все сформулировал к окончанию второй бутылки плохонького и единственного в меню коньяку, которому было далеко даже до самогонного коньяка Тимкиной матушки. Сначала военком к Тимкиному предложению отнесся с негодованием и даже временно протрезвел, потом — скептически, чуть позже — с пониманием, и наконец до него все дошло, и

он преисполнился служебным энтузиазмом, которого давно уже не испытывал. В следующие дни военком звонил в область, писал бумаги и даже один раз разговаривал по телефону с военным комиссаром всей республики. К чести нашего военкома следует сказать, что даже на столь редкий и, честно сказать, невероятный телефонный звонок из самого Минска он не только не вскопчил в “смирно”, но и на сантиметр не удосужился оторвать от стула свою костлявую задницу.

Через пару недель все сладилось, и Тимка в чине старшего прапорщика был назначен командиром им же создаваемого крохотного, но уникального воинского подразделения по сопровождению “груза 200” из Афганистана прямиком в рыдания непредвиденно осиротевших семей и вплоть до почетного захоронения на родных белорусских кладбищах. Отдельной инструкцией Тимкиному подразделению предписывалось не допускать каких-либо эксцессов и всеми силами способствовать тому, чтобы личное горе наших земляков не застило им весь политический кругозор и чтобы их вполне понятные проклятия в адрес империалистических агрессоров, сгубивших любимых сыновей, братьев и кому повезло, то и мужей, ни в коем случае не переадресовывались страшно сказать куда...

Тимка сумел и это, и я не знаю, кто бы еще на его месте такое сумел.

Через какой-то год Тимка под прикрытием своих спецгрузов сплел удобную сеть бесперебойных контрабандных поставок всякого современного ширпотреба из Афганистана на родину, все еще защищенную железным занавесом от роскоши (и даже от бытовухи) буржуазного загнивания. Доходов хватало и на районного военкома, вошедшего в долю в самом начале этого предприятия, и на доблестных командиров непосредственно в Афгане, и на самого Тимку, и — главное — на единовременную помощь семьям, куда в черный

для них день привозил Тимка свой страшный груз. И это была не просто отмазка для случавшихся объяснений с каким-нибудь усердным воякой, обнаружившим неожиданные предметы, сопутствующие павшим бойцам, — в пролетных ситуациях Тимка нередко выделял эту единовременную помощь из лично своих доходов. А доходы шли от джинсов и видаков, от косметики и кроссовок, от порнографии всех видов и сопутствующих порнографии предметов, и только самой доходной контрабанды — наркотиков — не было в Тимкиных перевозках, как ни склоняли его к этому разноразличные командиры, ошалевшие от крови и анаши. Не то чтобы Тимка был таким уж упертым и принципиальным противником наркотики — он и сам частенько подкуривал, чувствуя, что без этой анашовой блокады можно легко сорваться в разнос. Просто-напросто сбыт наркотики требовал помощи таких отморожков, с которыми Тимка остерегался иметь какие бы то ни было связи. Ему хватало и так, а разным фраерам, понукавшим его к еще большей активности, он наново вдальбивал справедливую народную мудрость про губительные свойства жадности.

Но была и еще одна составляющая в Тимкином служении у афганского ада. Тимка известным ему и достаточно действенным образом утешал молодых вдов, сестер, а случалось — и матерей, и это было действительным утешением, не снимающим, конечно, боль утраты, но хотя бы на время приглушающим ее. С некоторым удивлением Тимка обнаружил, что смерть и все с ней связанное буквально толкают изошедших горем женщин в объятия близости — горьковатой, со вкусом непросыхающих слез, в которую можно взрывно выплеснуть свою колотящую беду вместе с колотящими рыданиями. И пусть заткнутся все, у кого повернется язык осуждать Тимку или тех женщин, потому что из всей Советской армии один лишь Тимка и старался помочь их неизбежному горю.

Тимка даже обзавелся какими-то медалями, убедив командование, что сопровождающий скорбный груз военно-

служащий должен иметь на груди боевые награды, чтобы оказывать более благоприятное впечатление на местное население во избежание тех эксцессов, о которых напоминала специальная инструкция. Тимка еще намеревался в компанию к тем медалям выхлопотать и орден, но война кончилась раньше.

И вот оказывается, что это Мешок круто изменил налаженную Тимкину судьбу. А если и не Мешок, а какие-то кремлевские мудрецы, то все равно — и Мешок всунул сюда свои три копейки. Впрочем, может, это было и к лучшему. Осторожный Тимка своим чутким затылком ощущал, что ни к какому делу не пригодные недотыки из военной прокуратуры каркают уже где-то поблизости, выбирая себе очередную добычу.

Может быть, регламентированная в жесткие квадраты армейская жизнь сама по себе была удобным полем для Тимкиных комбинаций, потому что на стыках этой четкой квадратной жизни либо не существовало никаких определенных регламентаций, либо существующие сталкивались в неопределенных противоречиях, что позволяло сооружать, хотя бы и временно, какие-то иные правила, благоприятные Тимкиным фантазиям, а далее эти правила бездумно исполнялись, как и заведено в мире служак, а если и не исполнялись, как тоже заведено в этом мире, то лишь по общему стремлению забить на все, но не по причинам разумного сомнения в целесообразности этих или любых других требований. Существой только подобные сомнения, и вся наша армия давно бы уже рассыпалась на отдельные и лишь формально законные вооруженные формирования.

Даже в давней своей срочной службе Тимка умудрился выскочить за границу раз и навсегда обреченной солдатской орбиты и прокружить в практически вольном, а в большей степени им же и придуманном полете. Его даже солдатская

форма не особо тяготила, хотя конечно же офицерская ему была больше к лицу. Не зря в годы своего афганского прапорства он любил загуливать по родине в летной куртке без погон поверх мундира, который только количеством звездочек на плечах отличался от мундира какого-нибудь майора или даже полкана, а если звездочек не видно, то Тимка смотрелся ничуть не хуже любого тебе полковника. Но армейская амуниция солдата-срочника — это тебе не прапорский мундир. В ней любой человек выглядит сильно недочеловеком, и единственная возможность заставить окружающих видеть тебя, а не форму с чурбаном внутри — это носить ее как театральную костюм, взятый в костюмерной на время исполнения этой нелепой роли.

Тимка очень рассчитывал, что его выручат рисовальные навыки, и для будущей службы запаса блокнотом, заполненным разнообразными доказательствами его мастерства. В любой тьмутаракани обязана быть какая-то культурная часть и в ней — кипеть какая-то агитационная работа, возле которой всегда можно пригреться способному художнику. Но художников на родной земле не счесть, и на всякий случай Тимка запаса еще одним средством для возможного спасения: вместе с руководителем кружка фотолюбителей поселкового Дома пионеров Тимка смонтировал чудную фотку, где в обнимку с министром обороны Гречко красовались его матушка, какой-то фактурный мужик в штатском и сам малолетний Тимка.

Сработали обе его заготовки. Тимка попал в химвойска и запаниковал сразу же в учебке после первого разминочного пятикилометрового забега в химкостюме и противогазе. В перепуге он бросился в санчасть, а так как ни к какой серьезной мастырке не подготовился, то в качестве неожиданного недуга предъявил своего вздыбленного торчуна вместе с жалобой, что уже вторые сутки никак не может помочиться и невероятно страдает. Военврач, которая удивительно кстати оказалась женой завклубного капитана, несказанно удиви-

лась необыкновенному пациенту, внимательно осмотрела страдальца и посоветовала ему отвлечься от его навязчивых мыслей и подумать о чем-либо менее вдохновляющем, хоть и о добросовестной службе по защите родины от химической угрозы, которая исходит от злобного капиталистического окружения, но Тимка упорно думал про тот самый “кирпич” и наглядно страдал.

Тимку оставили на пару дней в санчасти для досконального осмотра, в который постепенно включился весь немногочисленный женский персонал, вплоть до гинеколога и стоматолога. На следующее утро иссохлый в морщины начальник санчасти брезгливо обходил свои владения, мечтая, чтобы на всех этих пустых больничных койках лежала его жена, а он бы каждый божий день приказывал готовить ее к операции и резал бы, резал, пока у нее не останется ни сил, ни желаний на еженощные истерики с нелепыми и незаслуженными обвинениями. Ну, импотент — ладно, но отнюдь не неудачник. Подполковник медицинской службы — это раз, полковничий оклад — это два, квартира отдельная — это три.

— Это у нас что за симулянт? — Начмедчасти остановился возле Тимки и со все большим обалдением слушал шепотливую скороговорку палатного врача. — Что еще за выдумки? — заорал он, сдергивая с Тимки простынку и с негодованием разглядывая торчащий укором и личным оскорблением болезненный симптом. — Нашли мне хреновую болезнь! А ну-ка, симулянт хренов, марш в сортир и через пять минут явиться ко мне со своей хреновой спермой вот в этом стакане. — Он хотел схватить стакан с Тимкиной тумбочки, а увидев фотографию, которую Тимка прислонил к стакану, совсем взбеленился. — Почему непорядок? Здесь тебе армия, а не бордель. Что это за козлы хреновы в рамочке?..

— Что это за козел в форме, я не знаю, — ответил Тимка, доставая из-под фотографии стакан для приказанного анализа и

тыкая пальцем в маршала на фотке, — мамка говорила, что это мой крестный, а рядом с ним — мои родители и я.

Тут начмедчасти опознал министра и почти потерял дар речи.

— Хрен знает что такое, — произнес он в попытке оправдать перед подчиненными свои предыдущие возмущения и в раздражении взялся листать Тимкин блокнот. — Смотрите, он еще и рисует, — ворчал армейский эскулап, — может, у него и правда что-то есть в его хреновой башке, кроме выставочного хрена?..

Лечащий врач заглядывала через плечо начальника в Тимкины рисунки и придумывала план спасения отечественного генофонда. Ради столь важного дела можно даже прервать демонстративное трехдневное молчание и поговорить с мужем, с которого никак не удастся выдать обещания купить такую же стенку, как и у политрукши. А если он начнет подозревать в ее заступничестве не только защиту интересов отечественного здравоохранения, но и какие-то сугубо личные мотивы? Какая ерунда! Ну какие у нее могут здесь быть личные мотивы? Даже думать смешно (хотя и любопытно было бы о чем-то таком подумать...).

Тимка вернулся с анализом, но его торчун и страдающая физиономия по-прежнему вопили о немедленной помощи. Медики глядели на Тимку с профессиональным уважением.

Следующие двое суток Тимку кормили чуть ли не одним бромом с мелкими добавлениями картофельного пюре и кололи куда более эффективными успокаивающими препаратами. Сквозь плотный туман слабостной дремы Тимка бездумно глядел на девочек-медсестер, которые чуть не плакали, исполняя назначенную начальством экзекуцию лекарственной бомбардировкой, и отстраненно думал о себе как о ком-то другом, прикидывая, не слишком ли большую цену этот другой платит, выполняя священный долг по предотвращению химической угрозы, исходящей от агрессоров и капиталистов. Из того же тумана каким-то утром появился капитан от

культуры, который, опасливо поглядывая на порученного его заботам солдата, препроводил Тимку из медсанчасти в местный клуб, громко именуемый Домом офицеров.

Пару месяцев Тимка изготовлял и обновлял клубные плакаты, транспаранты да всякую иную наглядную агитацию, радостно прислушиваясь к тому, как его упрямый организм приходит в норму, без следа перемалывая лечебную отраву. Фронт работ катастрофически сокращался, и Тимка придумал сделать регулярной стенгазету с оригинальным названием “Химзащитник”, которую монументально смастерили несколько лет назад давно отслужившие умельцы. Начальство инициативу одобрило, и надо было срочно разыскать кого-нибудь из очкариков, кто заполнял бы политически выдержанными буквами пространство между Тимкиными рисунками.

На эту роль Тимка выбрал всеми затурканного плюгавого носатика, родом из Москвы и из евреев, забритого в химзащитники родины со второго курса столичного театрального училища. Фамилия у него была Бергерман, и из-за этой невозможной фамилии да из-за московского происхождения бодрые однополчане, люто ненавидящие москвичей и пренебрежительно ненавидящие евреев, быстро приручили его с нескрываемым пессимизмом глядеть в прекрасное будущее, изредко разрешая снимать противогаз, чтобы спросить, чего он хотел бы на сегодня — драить сортиры зубной щеткой или зубной щеткой драить сортиры? Бергерман равнодушно вздыхал “все равно”, не только потому, что и на самом деле это было — все равно, но и потому, что так он теперь отвечал практически на любые вопросы и предложения, даже и не вникая в их содержание. Он так смешно говорил, проглатывая звук “в”, что однополчане покатывались с хохота и донимали его любыми дурацкими вопросами только для того, чтобы услышать свое излюбленное “‘сё ра’но”. В конце концов так его и прозвали Сёраном, все более остывая в неугомонных

забавах, потому что ответом им была одна лишь равнодушная покорность, не вдохновляющая ни на что — даже на задорные измывательства. На Тимкино предложение Бергерман отозвался своим неизменным “сё ра’но”, однако через пару минут врубился и бросился вдогон.

Тимка сделал необыкновенно удачный выбор. Первые сутки Бергерман спал, вздрагивал во сне всем своим мелким телом, просыпался от этого вздрога, жевал печенюшку из подогнанной Тимкой пачки и засыпал, дожевывая во сне. Проснувшись на следующий день, Бергерман улыбнулся во всю свою здоровенную желтозубую пасть, сказал, что его зовут Лево́й, и сел строчить передовицу для стенгазеты о том, что только в нашей счастливой стране всем поголовно и без разбора обеспечено свободное дыхание, за что мы по гроб жизни обязаны партии, правительству и лучшим в мире противогазам. Лева подсказывал Тимке, что и в каком виде рисовать, а когда стенгазета была готова, взялся лихорадочно придумывать, как принести еще какую-нибудь пользу патриотическому воспитанию отморозков, злорадно подждавших его в казарме наготове с самым лучшим в мире противогазом.

Под воздействием такого стимула Левини фантазии вперегонки выталкивали одна другую. Тимка внимательно слушал своего помощника, цепко отсеивая дельные предложения от неисполнимой шелухи. Самой перспективной казалась идея с картинной галереей. По стенам Дома офицеров висели облупленные портреты великих отечественных полководцев от Суворова и до Тимкиного крестного включительно. Тимка с Лево́й бросились их обновлять в парадный лоск, и еще один портрет Тимка намалевал по памяти специальной наживкой для завклубовского капитана.

Капитан пришел оценивать проделанную работу и медленно переводил тяжелые красные глаза с одного полководца на другого, размышляя, стоит ли похвалить усердных маляров или это будет для них слишком жирно.

— А это кто? — Завклубом пытался прицелиться непослушным пальцем в прислоненный лицом к стене холст. — Почему не висит?

Тимка повернул картину, с которой на капитана победным орлом глядел сам же капитан, и был он там, на картине, именно таким, каким всегда и видел себя своим пронизательным внутренним взором, — молодцеватым, успешным, сам-черт-не-брат, а не тем задерганным завклубом из зеркала, что...

— Может, сюда повесить? — Тимка мастерски изображал наивное простодушие, указывая на свободное место после своего крестного маршала.

“Да, это было бы правильно”, — мечтанул было капитан с неопохмела, но вспомнил свое многочисленное командное начальство и быстренько вошел в разум.

— Сюда неуместно. Эти все, — капитан небрежно очертил рукой плеяду военачальников, — никогда не служили в нашем гарнизоне. Отнесите в мой кабинет...

— Ну не может же этот ёлуп не хвастануть своим портретом перед начальством? — колотился в опасениях Лева.

И капитан хвастанул.

На несколько месяцев приятели были обеспечены работой и только издали поглядывали на караулящую их солдатскую казарму. Отцы-командиры впереводку заказывали свои парадные портреты, но постепенно — как и должно быть в армии — очередность заказов выстроилась по уставному ранжиру. Разумеется, никто из них не позировал. Художнику и его помощнику передавались фотография, личные пожелания к будущему портрету и мундир для строгого следования правде жизни. Подполковник-замполит пожелал, чтобы две звезды на его погонах были прорисованы не слишком четко и в таком ракурсе, в котором точно и не сосчитать, сколько их там — может, две, а может, и три. Майор-начхим, увидев портрет

замполита, попросил свой портрет тоже немножко переделать с учетом давно ожидаемого повышения, но не вырисовывать это будущее повышение явным образом, а только намекнуть на его возможность или даже необходимость, сбивая зрителя с толку и с досконального пересчета его пока единственной на погоне звезды.

По гениальной Левиной идее всех полководцев, не служивших в местном гарнизоне, плотненько утеснили на левой стене актового зала, а напротив них и им в укор вывесили свеженамалеванных военачальников, которым повезло служить именно здесь. Свеженамалеванным это очень понравилось. Они одобрительно прохаживались по актовому залу, делая вид, что любят исключительно мужественными лицами организаторов побед русского и советского оружия, но то и дело вскользь взглядывали на свои изображения, прочно прибитые к той же истории славных побед.

Потом пошли заказы для командирских жен, очень вдохновившие было Тимку и Леву, но ничегошеньки их вдохновениям не обломилось — портреты снова следовало писать с фотографий. Тогда Лева увлек завклубом удумкой устроить среди офицерских жен конкурс красоты, который, по обыкновению того времени, везде и всюду назывался “А ну-ка, девушки!”. Все конкурсантки были крашеными в один колер блондинками, благоухали одним и тем же сладким запахом “Красной Москвы” и по первому впечатлению отличались одна от другой только пышностью форм. Постепенно Тимка научился их различать и по другим признакам, хотя это было и не обязательно, потому что его тянуло сразу ко всем, и только воспоминания о кроссе в химкостюме и противогазе сдерживали его неумный пыл. Завклубом хмельным ястребом кружил над тренировками предстоящего конкурса, но его бдительность как раз и не беспокоила Тимку — в клубе хватало укромок, где можно легко схватиться от десятка надзирающих капитанов.

Настоящая угроза исходила от самих дам, ревниво караулящих, когда кто-то из них неминуемо споткнется, чтобы наброситься на счастливицу всей мощью зависти и негодования и растоптать в прах. Единственно, чем можно бы уберечься от такого печального исхода, за которым начинались кроссы и противогазы, — это сделать так, чтобы споткнулись все разом, но Тимка и представить не мог, как организовать подобную радость.

Тем временем подготовка закончилась, завклубом избледнел, опасаясь возможного провала и неизбежного следом разноса, но конкурс вызвал полный восторг набившихся в актовый зал офицеров. Блондинки громко пели под аккомпанемент еле поспевающего за ними прапора-аккордеониста, шумно танцевали, вперегонки готовили салаты, утюжили офицерское обмундирование и вспоминали параграфы устава. Видно было, что все это они делают ради удовольствия и от неизбывной скуки гарнизонной жизни, а совсем не ради победы, потому что победные места все равно распределялись в полном соответствии со штатным расписанием их мужей.

Завклубом в мечте о постоянных поощрениях решил устраивать такие конкурсы ежемесячно и прикинул, что вполне способен все делать самолично. Он забрал у Левы листки с расписанным сценарием и долго тряс Левину руку, отдавая ему тем самым сдачу с заслуженно заработанной им самим благодарности начальствующего в гарнизоне полковника, Лева печально глядел в окно за спиной капитана, где маячила хорошо ему знакомая казарма.

— Можно спектакль поставить, — робко предложил Лева. — Начальству должно понравиться, — слегка задел он главную капитанскую струну.

Капитан решил посоветоваться с замполитом. Тот обещал подумать, а сам решил посоветоваться с полковником, но прежде полковника рассказал жене о возникшей проблеме. На следующий день гарнизонные дамы гудели о предстоящем

спектакле, и полковник узнал об этом от своей личной супруги раньше, чем от личного замполита. Более того, от той же супруги он узнал, что спектакль непременно будет и в нем должны быть предусмотрены роли для всех офицерских жен, в крайнем случае — для жен старшего командного состава. Полковник приказал замполиту исполнить это решение своей жены, выдав его за собственные указания, тот приказал завклубом, а от него уже счастливая весть дошла и до Левы с Тимкой.

— Будем ставить “Ревизора”, — сообщил Лева Тимке.

Левины глаза мстительно поблескивали. “Ревизор” стал для него такой же постоянной мечтой, какой для Тимки был тот самый “кирпич”. Из-за “Ревизора” Лева и угодил в химзащитники родины. Вместе с приятелями-охломонами из училища Лева соорудил пьеску по мотивам вечной трагикомедии. Хлестаковым у него был ловкий мошенник, который приехал в районный центр с поддельным командировочным удостоверением от самой страшной и таинственной организации того времени — Комиссии партийного контроля, и с этого все там начинало вертеться. Унтер-офицерская вдовушка превратилась в молодую вдову прапорщика, застрелившегося в Праге в 68-м, и молодуха эта была не высечена, а изнасилована, и не по приказу секретаря райкома, а им же самолично... В общем, та еще комедия. Гоголь не понял бы и половины шуточек, над которыми потешались Левины приятели, но знатоки литературы из еще одной страшной и таинственной организации того времени все поняли как надо... Лева должен был благодарить судьбу за то, что он так легко отделался, а не сверкать мстительными глазенками.

Тимку этот новый лихорадочный Лева сильно насторожил.

— “Ревизор” этот — Пушкин написал?

— Написал Гоголь, а Пушкин подсказал.

— Ну, все правильно — я же помню, что без Пушкина не обошлось.

— Только это все про давнюю жизнь, а мы сделаем современную постановку. Злободневную. Представь — появляется на полигоне незнакомец. Понимаешь? Погоны... все при нем, а кто такой — неизвестно. Тем более он — в противогазе...

— Стоп, — остановил Тимка раздухарившегося напарника. — Никаких противогазов. Ничего злободневного. От твоих выдумок мы сами окажемся на полигоне и в противогазах. Лучше давай делай из давней жизни, как там у Пушкина и прописано.

“Ну и долбодоб”, — подумал Лева о доставшемся ему начальнике. Однако тут ему было не общежитие театрального училища, и главный тут — Тимка. Пришлось неугомонный зуд злободневной сатиры оставить на лучшие времена.

Лева готовил для завклубом список необходимого реквизита и материалов, придумывал для Тимкиной кисти оригинальные декорации, а Тимка читал “Ревизора”. С некоторым недоверчивым удивлением Тимка обнаружил, что Гоголь вполне себе хороший писатель и пьеску сбацал очень даже ничего...

— А как же с приказом полкана? — спросил Тимка

— Каким приказом? — не сразу врубился Лева.

— Чтобы в спектакле играли все офицерские жёнки.

— Не важно. Сделаем хороший спектакль, и нам это упущение простят.

— Ты уж не дури, — не согласился Тимка. — Кроме того, я бы и сам был очень не против чего-нибудь с ними порепетировать... А ты — против?

— В общем, нет... Как-то не подумал.

— Подумай и придумай. Приказ — это святое...

И Лева придумал. Идея была сногшибательная. Лева ввел новыми героями классической пьесы жен всех пред-

ставленных там уездных чиновников, а для помещиков Бобчинско-Добчинских — жен с их сестрами и тетушками. На взгляд Лёвы, пьеса от этого только выиграла. Слов для вновь появившихся персонажей Лёва почти не писал, и главным для них было перебивать мужей капризными просьбами типа “Дайте я скажу”. По этой причине Лёве не удалось испортить гоголевское творение, и более того — оригинальности придуманной Лёвой интерпретации могли бы позавидовать все еще уцелевшие столичные мейерхольды. Пожалуй, зря с этим способным студентом обошлись столь сурово, лишив отечественную сцену многих удачных необыкновенностей.

Конечно же актеры играли по-самодеятельному — и актеры из солдат, исполняющие мужские роли, набранные Тимкой в казарме, и актрисы из офицерских жен, доставленные завклубом на сцену в заказанном Лёвой количестве и по утвержденному в штабе гарнизона списку. Но в некоторых сценках Лёве удавалось преодолеть их зажатость, и происходило все-таки то самое чудо, ради которого все еще и существуют и сама сцена, и одержимые ею люди. А когда из-за кулис выкатывался гомонящий ком семейств Бобчинско-Добчинских или когда после просьбы сообщить государю, что там-то и там-то проживает такой вот Бобчинский, вступала супруга помещика, оттесняя мужа в сторонку и надиктовывая Хлестакову нелепый список бытовых нужд, который непременно следует довести до сведения государя императора, — тут уж, наверное, и сам Гоголь из нынешнего своего далека одобрительно похмыкивал в свою длинную носяру, как это делал и Лёва в свою — еще более длинную.

Но такие изыски могли бы в полной степени оценить только столичные театралы, а отнюдь не гарнизонное офицерство. Исключительно для него Лёва добавил в представление еще и оглушительный канкан, в котором не предусмотренные классиком дамы вместе с дочкой и женой градоначаль-

ника могли от души показать все, на что они были способны. Канканчик прошел на бис.

До Тимкиного дембеля обновленный Левой “Ревизор” выдержал семь постановок в гарнизоне и две — в областном Доме офицеров. Отцы-командиры были в восторге, для поддержания которого Лева добавил в действие второй канканчик, которым, собственно, все действие и завершилось.

Тимку с Левой конечно же радовал и этот успех, и одобрительное начальственное нунуканье, позволявшее почти полностью отойти от страхов казармы и противогазов, но куда больше им нравилось созданное ими закулисье, в котором проходили репетиции спектакля. Там царила атмосфера безревностной любви и взаимовыручки, полностью исключавшая то завистливое негодование, которого справедливо опасался Тимка в бывших ранее репетициях конкурса красоты. Видимо, тот самый будоражащий запах театрального грима, костюмов и реквизита из нашей юности и поселкового Дома культуры действовал во все времена и повсеместно, создавая особую ауру притяжения для попавших туда тел. Это радостное притяжение никто из участников не желал бы разрушить, и поэтому все были надежно повязаны одной общей тайной.

— Сюда бы еще несколько ящиков шампанского, — возмечтал Левка.

— Это же — пустая газировка.

— Лапоть. Сухое шампанское, особенно с утречка после такой расслабухи — мечта...

— Еще напьемся, — пообещал Тимка.

Тимкина тайна в основном была скована с тайной Оксаны — супруги начальствующего в гарнизоне полковника. Это была неистребимая дань извечному воинскому ранжиру — главно-

му в мероприятии мужчине полагалась в пару главная женщина. Оксана своими соблазнительными формами только ненамного превосходила остальных гарнизонных блондинок, и Тимку это совсем не смущало. Смущало другое. Стоило только Тимке обнять эту роскошную даму, и все ее выпирающие и обворожительно упругие части сразу же превращались в крепкие твердые утюги. Она была полностью набита этими утюгами, и Тимка никак не мог справиться с неожиданным препятствием. Наверное, полкан-воевода ежевечерне командовал супруге “ложись”, а тут же следом — “смирно”. Так и приучил. Но не все хорошее полковнику хорошо и рядовому. Тимка запаниковал.

Но сладилось и это, причем самым невероятным образом. Однажды Тимка приготовился привычно пристроиться между треклятыми утюгами, но — утюгов не было. Вместо них, как и должно, Тимку приняли сладостные упругости. За фанерной декорацией Лева бубнил свои бесконечные стихи (а может, и не свои, а чьи-то чужие). Пришедший в норму Тимка воспарил, но в самый неподходящий момент снова долбанулся об утюг. Лева молчал.

Тимка моментально накнокал невозможную связь, даже и не думая, что именно так сказочно действует на Оксану — сами стихи или гнусавый Левкин пробормот.

— Левка! Зараза! Читай еще!..

— Что читать? — высунулся из-за декорации Лева и тут же шмыгнул обратно.

— Что хочешь... Стихи... Любые...

Так все и наладилось, и даже Левка почти привык быть третьим невидимкой в Тимкиных с Оксаной радостях. А однажды и Оксана перестала притворяться, будто ничего не знает о присутствующем рядом Левке.

— Иди сюда, носатик, — позвала она его. — я тебя поцелую. Ну иди же — не бойся...

С тех пор Тимка перестал совсем уж пренебрежительно относиться к стихам и стихоплетам, предполагая, что и из

этого занятия возможна миру какая-нибудь польза, если оно способно производить такие вот наглядные чудеса.

Но если то и дело происходят всяческие чудеса, то почему не может быть тех чудес, о которых говорит Мешок? Рассчитывать на них, конечно же, не след, но если они сами собой произойдут в помощь Тимкиным задумкам, то Тимка совсем даже не против.

Он снова открыл доверенную ему тетрадку и сразу после своего шуточного тоста-пожелания на нескольких чистых листах в самом низу заранее написал “Господи, сделай так”. Теперь останется только заполнять эти заготовленные к чудесам тетрадные листы своими делами и хлопотами, и пусть все его замыслы исполнятся либо его умением и удачей, либо Мешковой избранностью.

Тимка приготовился спать. Завтра утром поезд прикатит его в Москву, и он встретится с Левкой, о котором так долго вспоминал нынешним вечером. На Льва Бергермана Тимка в своих грандиозных замыслах возлагал очень большие надежды.

Первый раз Тимка приехал в Москву вместе с Мешком на мою свадьбу почти сразу после дембеля (Сергея чалился в своей второй ходке). В метро “Белорусская” Тимка тормознулся у аппаратов по размену мелочи на пятаки, которыми кормились автоматы по входу в метро. Аппараты щелкали, звенели пятаками, и что-то щелкало в Тимкиной бóшке. Через месяц он снова прикатил ко мне в Москву на пару дней и все это время где-то пропадал, появившись у меня в общежитии первый раз на ночевку и второй — чтобы выпить со мной перед отъездом. Выяснилось, что в богушевской Сельхозтехнике он настрого себе железных бляшек по размеру двугривенных и здесь на разных станциях метро все их разменял в пятаки, полно-

стью окупив дорогу, выпивку со мной и увозя чистой добычей полные карманы медяных грошей.

— Так можно и прожить, — самодовольно поучал меня Тимка.

— Сильно не разживешься, — остудил я Тимку. — Рубль разменял — и на другую станцию, чтоб не засекали? А когда твои бляшки заметят, придется еще больше времени тратить на конспирацию и больше пары двугривенных в одном месте не менять. Нет — хлопотно и рискованно, а загреметь за такую мелочовку...

Тимкин пыл поутих, но так уж были устроены его глаза и мозги, что как только открывалась возможность быстрого мошенничества — он это с ходу замечал. Настоящая уголовщина его никогда не привлекала, какое бы обогащение ни маячило в награду, но ловко облапошить подвернувшееся под руку госучреждение или зевающего рядом гражданина — это была его стихия...

Помню, как Тимка приехал ко мне в Ростов, где я пытался в то время продолжить учебу. Я оставил его дожидаться в университетском коридоре и побежал отпрашиваться с семинарских занятий. Вернувшись обратно, я Тимку не нашел, хотя был уверен, что он будет надежно стоять, где поставлен, и клеить студенток, не зная, на ком остановить свои разбегающиеся страстью глаза. Я выскочил на улицу, но Тимки не было и там. Стою, курю, поглядываю на тяжелую входную дверь в предположении, что Тимка где-то внутри и в конце концов догадается выйти на улицу. Наконец появился и он и с торопливой деловитостью пошлындак ко мне, показывая рукой, мол, быстренько валим. Какой-то студент в это время нагоняет его с криками “Подождите меня... Пожалуйста, подождите”. Тимке приходится остановиться, потому что студент накрепко вцепился в его плечо. Я стою рядом и по Тимкиным глазам вижу — сейчас ударит. Но ударить Тимка не успел. Студент протянул ему рубль и, запыхавшись, в три приема выдохнул: “Вот... Насилу догнал... Возьмите и у меня...”.

Оказывается, Тимка сразу же перестал глазеть на голоногих студенток, когда краем уха услышал разговор пятикурсников о том, что в деканате до сих пор не чешутся, хотя пора уже сдавать деньги на “поплавки”. Он спросил, сколько еще продлится перерыв, нашел поточную аудиторию пятого курса и собрал там по рублю на будущие желанные “ромбики”, даже не удосужившись хотя бы для виду обзавестись чем-то похожим на ведомость по учету сдаваемых денег.

— Ну ты и дурень, — разозлился я на Тимку.

— Дурень не дурень, а свои полста рубликов имею, — благодушно смеялся он в ответ. — Даже и больше... Айда — гульнем.

Потом несколько дней кряду, пока университет гудел и смеялся над лоханувшимися выпускниками, я мандражировал, что кто-нибудь меня опознает в качестве дружка этого залетного гастролера, но Тимку так никто и не запомнил — даже тот лох, что догонял его со своим рублем и упрасивал обувь и его тоже.

Удивительно, что с такими своими способностями Тимка не пошел вслед за Серегой. Может быть, Тимкин ангел-хранитель был столь снисходителен к бесенку, толкавшему Тимку на всякие шалости, потому что бесенок этот ни на йоту не был отравлен алчностью, а бесился исключительно ради самого приключения, которое в случае удачи продолжалось, например, в виде дружеской попойки, а в случае облома все равно чаще всего заканчивалось дружеской попойкой (главное, чтобы рядом были друзья), правда — не такой обильной. В общем, Тимке свезло, и отечество криминальное его не заполучило. Более того, в Москву к Левке Бержерману Тимка ехал, чтобы легонько подвинуть криминальное содружество, захватившее под свое начало, по мнению Тимки, наиболее важные функции в жизнедеятельности родной страны.

Сразу после окончания афганской службы Тимка случайно прочитал об европейской сексуальной революции 60-х и сразу

же понял, чего не хватает его прекрасной родине. Закованную в ханжеские предрассудки родную страну надо было спасти. Надо сказать, что все мы так и не разделили в своем сердце Россию и Беларусь на отдельные страны и по-прежнему жили в единой стране, которой на самом деле, может быть, и не было.

На остатки своей афганской добычи Тимка организовал несколько клубов знакомств и парочку магазинчиков по торговле разнообразными яркими игрушками, одно разглядывание которых преображает сами мысли о стыдных и неловких пододеяльных шалостях в веселый карнавал чистого удовольствия. Однако все Тимкины предприятия с ходу попадали под бандитский пригляд и контроль, а эти оковы ничем не лучше лицемерных оков коммуны или патриархальных цепей завистливых и немощных стариков. А пожалуй, и хуже. Радости, получаемые по согласованию с уголовными отморозками, — это уже какие-то предосудительные радости, и никогда им не выплеснуться в яркий карнавал раскрепощенных и свободных тел. Но с бандитами спорить бесполезно, а улизнуть от их грозной опеки — трудно.

Тимке тогда пришлось отступить.

И вот буквально за несколько дней до своего необычного поручения Мешок, который внимательно отслеживал все новинки технического прогресса, в застольной беседе произнес диковинное слово — интернет. Что-то в Тимке привычно щелкнуло, и он вытряс из Мешка все, что только способен был понять в придачу к подробным Мешковым объяснениям, для понимания которых требовалось окончательно вывихнуть мозги, но Тимка своими мозгами дорожил, и ему пока что вполне хватило слегка понятого. Он позвонил Левке и не ошибся — тот не только рубил в теме, но и на практике чего-то шурувал в этом неведомом интернете.

— Нас ждут великие дела, — обнадежил Тимка давнего напарника. — Встречай.

— Я по горло занят, — робко запротестовал Лева.

— Плохо скрываешь восторг, — смеялся в ответ Тимка. — Освободи место в холодильнике — шампанское привезу сам.

Ранним утром Тимка поил Льва Бергермана шампанским и все более входил во вкус — и во вкус шампанского, и во вкус собственных все более убедительных резонов. Левка сначала язвительно пошучивал, потом недоверчиво похмыкивал, позже все-таки зацепился и попер возражениями. Тимка отбивался.

— Любой рыщет, как заработать бабла. С чего это люди поведутся на твои фантазии? — вопрошал Бергерман.

— На самом деле нам всем надо совсем другого — надо такого же праздника, что был на твоих репетициях. Той же свободы и радости... Помнишь?

Левка жмурился, вспоминая.

— Мы каждому дадим возможность такой же радости в любое время. Кто ж будет против? — наседал Тимка.

— Да всего этого и сейчас навалом. Открой любую газету — объявлений море: хошь — сауна, хошь — массажный салон, а не умеешь читать — дуй на Тверскую и выбирай: путана на путане.

— Но это ж все не то — это помятый товар из рук бандюков. Какая ж там радость? Там похоть, которой надо стыдиться и которую надо прятать. Как паленая водка из-под полы. Мы же предлагаем свободную радость свободным людям...

— Да где ты найдешь свободных людей?

— А они потихонечку освободятся... Как те наши гарнизонные блондинки...

— Ну а доход? Ты говорил, что все это предприятие будет доходным делом — откуда же доход?

— Не всё сразу. Сначала, конечно, потребуются расходы, но ты этим не парься — твой вклад только работой. Доходы пойдут потом.

— Все равно не понимаю — откуда возьмутся потом эти доходы? Мы через интернет будем знакомить и сводить людей — кого для траха, кого для радости, кого для радостного траха, но нам-то откуда навар? Думаешь, сведешь их для радости и потом они радостно будут бегать и искать тебя, чтобы заплатить?

— Не суетись — придумаем. Кто-нибудь да придумает... Лишь бы клюнуло. Придет человек к нам в интернете за своей радостью один раз, придет другой раз и со временем станет вроде хорошего знакомого, а знакомые люди всегда утрясают все денежные вопросы. Бабки пойдут — поверь мне. Главное, чтобы бандюганы не сели на шею.

— Через интернет — не сядут. Увернемся...

И дело пошло.

Сначала Тимкины фантазии воплотились в интернет-странички знакомств, и эти странички тут же стали невиданно популярны, а почти и сразу породили кучу подражателей и последователей — то ли и вправду действовала Мешкова тетрадка, то ли Тимкины идеи удачно совпали с общим тайным желанием наших поневоле пуританских соотечественников. Тимку возрастающая конкуренция совершенно не напрягала. Народу — море, и каждому требуется море радости, а уж этого океана — хватит на всех.

Первое время вся эта деятельность во имя удовольствия ближних, как и предполагал Левка, не приносила никаких барышей и была чистой благотворительностью. Да еще и благотворительностью, требующей постоянного финансирования. Одна Левкина зарплата, которую Тимка сгоряча пообещал в тыщу зеленых, обходилась именно в эту тыщу, не считая шампанского, в котором Тимка никак не мог отказать своему компаньону. Тимка выкручивался, организовав парочку быстрых финансовых пирамид, а для этого пришлось обхаживать и уговаривать двух околобанковских дам — сна-

чала уговаривать начать беспронгрышное дело, взяв кредит в мужнином банке, а потом — не жадничать и быстренько все прекращать, пока не сели на хвост бандиты, или менты, или две холеры разом...

Тимка умел увлекать окружающих своими чисто финансовыми комбинациями. Мы втроем испытали это на себе еще в детстве и потому никогда не удивлялись, услышав, что Тимка в очередной раз с легкостью отыскал себе финансового партнера. Мы бы даже не удивились, узнав, что заканчивает он свои финансовые уговоры прежним хорошо нам знакомым восклицанием — “Денег огребем — кучу”. Кажется, Тимка может заработать на всем.

Когда мы встретились с ним в этом его московском полете, он принялся вываливать одно невероятное предложение впереводку другому, не находя, чем меня порадовать.

— А давай я схлопочу для тебя пенсию от немцев? Почему бы и тебе не заработать на Холокосте?

— Это каким боком ты меня сделаешь жертвой Холокоста?

— У тебя же нет достаточного выбора еврейских невест? Из-за этого ты лишен еврейского счастья...

— Как раз еврейского счастья у меня — выше крыши.

— Мы им впарим про другое счастье... Заплатят как миленькие... Знаешь, если бы Гитлеру заранее объяснить, сколько денег вытрясут потом евреи за Холокост — он бы устроил этот праздник исключительно для арийцев... Давай попробуем — грех упускать валюту...

— Не гони.

— Ну давай я тебе устрою маленькие радости со своего интернет-клуба знакомств... или — большие...

— И почему у тебя радости?

— Совершенно бесплатно, — вздохнул Тимка. — Во-первых, для тебя — все бесплатно, а во-вторых, честно говоря, за все там возможные кому ни попадя радости я же сам и плачу...

Но скоро он нашел варианты удачного совмещения своих революционных и коммерческих талантов.

Тимка начал устраивать для поклонников своих интернетовских клубов коллективные праздники на заранее снятых дачах. Участников Тимка сам отбирал из лезущих гурьбой претендентов — отбирал вопросами “не для всех” и интуицией. Эти праздники прославились сразу. Дачи приходилось менять, чтобы не попасть под бандюков, участников приходилось менять, чтобы праздник не приедался, и постоянными величинами оставались там только Тимка и врач, который получал у Тимки за каждый день работы свой месячный оклад в кожвендиспансере, но дело свое знал очень хорошо и Тимкины мероприятия обеспечивал надежно.

Врача и дачу (и, разумеется, Тимку слевой) оплачивали участники карнавалов, которые готовы были платить еще и еще.

После Тимка организовал что-то типа Школы по эмоциональному развитию и тут — влетел. Занятия школы пришлось обустроить солидно — в постоянном месте, для которого выбрали клуб захудалой текстильной фабрики, и бандитские морды все это вычислили вмиг, не заморачивая мозги такими мелочами, как совершенно невинное название про эмоциональное развитие. Пришлось обращаться за помощью к Сереге, который даже среди этих московских отморозков был не то в уважении, не то в законе (Тимка плохо разбирался в реалиях Серегоиной жизни — он его просто любил).

А потом и вправду придумали возможности оплаты интернетовских услуг реальными грошами, и все покатило под музыку. Даже дефолт и Вторая чеченская бойня не нанесли никакого ущерба Тимкиному предприятию, потому что за истинные ценности люди готовы платить во все времена, невзирая ни на какие войны и кризисы. Еще с десяток лет Тимка фонтанировал идеями, все более усовершенствуя свое детище

самыми невероятными новшествами, хозяйски обживая уже понятную ему виртуальную жизнь и по-прежнему ловко избегая пригляда бандитов, которые за это время на самом деле почти полностью уступили все свои хлебные места ментам, а может, попросту переоделись ментами.

Весь мир стелился под ноги роскошным цветочным лугом, и был Тимка на том лугу добрым пасечником, направляющим неугомонных пчел прямиком к истомившимся цветам, чтобы из всех этих жужжаний-кружений-касаний всегда возникал необходимый всем нам терпкий медовый вкус жизни. Но разве удержишься на таком лугу только пасечником? И Тимка кружил сам в поисках необходимой для жизни легкой цветочной пыльцы, которую вбирал не так, как эти недоделанные пчелы в своих мимолетных касаниях, а всем на зависть — гудящим шмелем зарываясь в цветок по самые пятки.

Звонок Мешка Тимку здорово напугал — голос друга все время исчезал и распадался.

— Держись... Я приеду! — орал Тимка в прерывисто оживающую трубку. — Выезжаю сейчас же!

Он без остановки гнал свой внедорожник из Москвы в Богусевск, то и дело набирая Мешка по мобиле, но тот молчал.

Накануне Мешкова любимица — ненаглядная его Аня — огорошила отца решением, что в девятый класс она не пойдет, а вместо этого откроет свой собственный Салон красоты, при котором будут сауна, массаж и все-все радости.

— Тебе же всего пятнадцать, — пока еще улыбался Мешок.

— Скоро будет шестнадцать.

— И ты думаешь, что нашим здешним соседкам понадобится твой салон?

— Зачем здешним? Я его открою в Витебске... Или в районе.

— Ну хорошо, а гроши? У нас с матерью немного есть, но на такое дело — не хватит.

— Я сама заработаю, — уверенно заявила Анюта.

— Это как же? — все еще улыбался Мешок. — Подскажи — может, и я заработаю.

Анюта подвела отца к подаренному ей на пятнадцатилетие компьютеру и показала...

— Твое? — спрашивал Мешок Тимку, тыкая в экран монитора.

Тимка с удовольствием глядел на красочную страницу своего сайта “Аукцион невинности”.

— А что? Грамотно сделано. Чего ты всполошился? И кстати, как ты узнал, что это мой сайт?

Мешок ткнул в рекламную заставку “Продай то, что все равно потеряешь, и денег огребешь — кучу”.

— Что ты натворил? — растерянно бормотал Мешок. — Боже, что я натворил!..

— А что такого? — начал елозить Тимка. — Каждый занимается своим делом.

— Ты не каждый, — вскочил Мешок и продолжал нависать всей своей громадой над все более уменьшающимся Тимкой. — Чего придуриваешься? Ты же не забыл про наш уговор? Ты ж такое служение на себя взял!.. И, почитай, всю страну испоганил всей этой срамотой

— Какой срамотой? — неуверенно протестовал Тимка.

Мешок только безнадежно махнул в сторону монитора, на котором придуманная Тимкой заставка сайта заманчиво подмигивала голыми грудками и попками. Здесь, в доме друга, эта придумка уже не казалась столь удачной.

Тимка боялся, что бледный Мешок в этой своей жуткой, до зубовного дробота трясучке вот сейчас перед ним окончательно и явно сойдет с ума, и бросился утешать друга:

— Брось, Мешок... Ты думаешь, что все это прижилось по твоей тетрадке? Да ерунда это все... Люди делают что им интересно, и так вот все получается... Ну, кто в ответе, что им это интересно?

— А ты не дотумкал, с чего это вдруг тебе так покатило? И еще спрашиваешь, кто в ответе? Ты в ответе... да я с тобой...

— Да пойми ты: не я делаю жизнь такой и даже не ты... и не твоя тетрадка... Жизнь такая, какая она есть, а мы в ней только находим свое место... и свои занятия.

Может, и не надо Мешка специально утешать? Может, ему следует просто открыть глаза на собственные заблуждения и он придет в норму? Вот же перестал трястись и почти прежний — только злой и все равно чуток одержимый...

— Не ты делаешь жизнь? А эту погань кто сделал?

— Так если не я — сделал бы кто другой...

— Но сделал ты?.. Вот так она и делается — жизнь... Нами... У кого на сколь силы хватит. А тебе такая сила была дадена... Поганец ты, Тимка, честное слово, поганец и потаскун...

— Давай выпьем, — вывернулся Тимка из-под какого-то растерянного и безнадежного взгляда Мешка. — Я такого вискаря привез...

— Давай, — равнодушно кивнул Мешок и пошел за посудой. — Но ты все одно поганец.

— Я тебя тоже люблю, — улыбался Тимка, разливая питье.

— Так и я тя люблю, но ты... — Мешок махнул рукой и выпил одним глотком. — Вяртай мою тетрадку.

— Сам будешь рулить? — подначил Тимка, оглядывая уютную новую горницу, которую Мешок пристроил к своему дому.

— Нельзя мне никак — детей надо поднимать, — растерянно соображал Мешок. — Все прахом пойдет.

— Но у меня же все было тип-топ — и квартира и все, что душе...

— Так ты противу правил старался для себя и выгадать, — напомнил Мешок Тимке свои давние предупреждения. — Может, еще и поэтому все твои делишки заместо справедливости переобернулись одной только поганью...

— И что будешь делать? — Тимка поспешил замять неприятную ему и болезненную Мешку тему. — Опять Серегу назначишь? Он тебе такую справедливость покажет, что все мои делишки на ее фоне будут мелкими шалостями.

— Серега что мог — уже показал...

9. Серега (Земля людей)

В Серегином мире людей было не слишком много. Людми были положняки, авторитеты, смотрящие, те, кто — в законе, все юные парни, только нащупывающие правильные тропы, и все крепкие парни, прочно эти тропы обжившие, — в общем, все те, кто выбрал “правильную” судьбу — жизнь по правилам, которые бездумно именуют воровскими или криминальными понятиями. Все остальные соотечественники жили многоголосой фауной: терпеливые мужики — овцами и баранами; менты, весь служивый и государственный люд — козлами, псами да волками; и самые никчемушные поганцы — петухами. Суровые правила этой жизни (как и любые этические кодексы) поначалу были для Сереги откровением, потом — знаменем, еще позже — оружием. Правила требовали справедливости ко всем — хоть и к распоследним петухам, но в напластовании всевозможных толкований (тоже — как и во всех этических кодексах) справедливость часто переставала быть звонкой, четкой и одной на всех истиной, а распадалась на справедливости по заслугам, по масти или по статусу. И оказывалось, что интересы круга людей (а внутри круга — по своей иерархии) куда важнее справедливости или несправедливости к тем, кто за кругом. Особое отношение было к семье и родственникам. Молчаливо (“по жизни”) признавалось, что интересы семьи обладают наивысшим приоритетом, но на де-

ле при любой разборке побеждали интересы братвы, и поэтому сама жизнь требовала не допускать никаких столкновений забот братвы с семейными нуждами.

Серёга, вопреки гибко меняющимся нормам этого своего мира, упрямо защищал *правильные* понятия, покоровшие когда-то откровением его иссушенную яростью душу. Такое упрямство становилось для него все более опасным, но он этим и не чесался, как, впрочем, и предписывалось самими правилами, адептом которых он был. Его окружало и подстерегало такое количество опасностей, что бери он все это в голову — никакой головы бы не осталось. Даже мы с Мешком и Тимкой были ему всегда караулящей угрозой только потому, что он нас любил, и столкнись только наши интересы с интересами его братвы — он бы не задумываясь стал нам в защиту.

Так он по первому же Тимкиному зову рванул в Москву.

Тимка организовал курсы по натаскиванию молодых, не очень молодых и совсем юных дам, рвущихся в шикарную жизнь, которая недоступно гудела где-то рядом, выплескиваясь завлекательной пеной в телевизор и на страницы цветистых журналов. Общим у отобранных курсисток было только хамоватое свинство, вполне объяснимое тем, что в бабках все они купались, что свиньи в грязи, хотя богатства их имели самое разнообразное происхождение — от натруженной в мозоли души и тела челночной каторги до завидной отступной сдачи от сказочно вознесшихся отцов и мужей, сразу разлюбивших все свое прошлое вместе с хабалистыми женами и дегенеративными дочками.

Занятия проходили ежедневно в агонизирующем Доме культуры еще более агонизирующей московской фабрики. Серёга насилиу отыскал эту дыру.

— Когда братки обещались быть? — первым делом спросил он у Тимки.

— Сказали — на днях.

— Подождем... Ну, покажешь свое предприятие? Интересно все-таки, чем оно так привлекло братву...

— Вы поймите... вы не спешите и поймите, — зачастил сам себе вперебивку носатый пигмей, вертящийся под ногами у Тимки. — Идея — на миллион... Буквально — на миллион...

— Ты кто? — спросил его Серега.

— Это мой компаньон, — объяснил Тимка.

— Главное — это идея, — не унимался пигмей. — В наше время всего главнее идеи, а эта — на миллион...

— Я понял, — успокоил его Серега. — Не мельтеши — показывай.

Тимка и этот его Пигмей-на-миллион провели Серегу по захламленным переходам в клубный зал и усадили в первом ряду.

С десяток теток и парочка вполне себе ничего девиц стеснительно терлись одна возле другой в углу сцены, чувствуя себя голыми и беззащитными не только потому, что были в одних только купальниках, но главным образом из-за отсутствия привычной брони брюликов, автомобилей и личных водил — статных услужливых молодцов, которые где-то во дворе охраняют сейчас те самые брюлики в тех самых авто. На заднике сцены висели громадные цветные изображения небрежных красоток, на самую чуточку не выпадающих из своих невесомых нарядов.

— Начинаем, — хлопнул в ладоши Пигмей-на-миллион. — Через несколько месяцев вы все станете такими же сногсшибательными барышнями, как и эти ваши предшественницы. — Он щелкнул пальцами в сторону фотографий.

На сцену выпорхнули три пигмеевых помощницы в закрытых (но не очень) купальниках и каждая — под стать фотокрасоткам, снисходительно поглядывающим на них с задника.

— Сейчас мы займемся пластической гимнастикой, — вещал пигмей. — Что-то похожее раньше называли аэробикой. Повторяйте все движения ведущих, и главное — ни о чем не

думайте. Вас не должно заботить, как вы выглядите со стороны. Вышибите все мысли из ваших мозгов и все мозги из голов. Ничего этого вам не надо. Надо — только дыхание. Если собьете — остановитесь, отдышитесь и снова — в бой! Вместе мыслей, мозгов и голов — только тело... Послушное, ловкое — в радости свободных движений и — до упада! Начали!

По хлопку пигмея грянула музыка, закружили пигмеевы помощницы в соблазнительных наклонах-изгибах-вывертах, и сцена задрожала в разнобойной топотне курсисток.

— Галантней, барышни! — орал в микрофон пигмей. — Галантней! Легче! Полюбите свое тело... Еще галантней...

Это свое “галантней” Тимкин компаньон командовал с ударением на последний слог, да к тому же он почти не выговаривал “н”, и Серега слышал одно только повторяющееся “галаг’ей-галаг’ей”. Галатеи же знай себе тупотали — румянея, пыхтя, вытряхиваясь из не поспевавших в подскоках лифчиков. Их топот был сродни грохоту дубинок о пластиковые щиты, которым спецназ распялял себя, прежде чем вломиться в “жилку” бунтанувшей из-за такой вот аэробики зоны...

Аэробика вывалилась из телевизора неожиданным подарком вместе с перестройкой. Собственно, ничем другим непонятная перестройка до отдаленной тюменской зоны и не дотягивалась, но и одной аэробики хватило бы на то, чтобы с надеждой смотреть в завтрашний день. А ведь эту надежду подогревали еще и мечты об амнистии, в которую все зэки верят истово, до потери соображения и без каких бы то ни было разумных оснований — как в Бога. С этой неистребимой верой зэки радостно встречают все народные праздники, но с особым ликованием — редкие из них дни общенационального траура, когда очередной Хозяин Большой зоны, склеив ласты, уплывал к главному судье за своим незавидным приговором. Лагерные туземцы наверняка знали, что пса Андропова специально замочили, когда он задумал невиданной амнистией

отпраздновать долгожданную кончину Брежнева, и теперь этот пятнистый на всю башку Горбачев непременно ту амнистию произведет, потому что сам он — сравнительно молодой и отдаст концы еще неведомо когда, а народной любви все равно хочется, и если не похоронами, то чем же еще, кроме амнистии, можно вдохнуть в наш народ эту любовь? В общем, амнистия — дело решенное, и скоро все они пошлындают вольно по ярким улицам, где на каждом шагу ослепительные биксы в толстых вязаных гетрах соблазнительно крутят аэробика обтянутыми в не могу задницами. А покуда там, в Кремле, чешутся и прикидывают хрен к носу, многолюдные бараки каждым воскресным утром ритмичными постановиваниями сопровождают бодряю музыку аэробных коллективных сеансов по телевизору...

Аэробика сразила наповал не только ущемленных в радостях зэков, но и тюремщиков, их жен и весь околотагерьный и лагерь живущий поселок, а может, и дальше — до самой границы, что железным занавесом гудит на всю Европу про наше здесь счастье, а дотудова, считай, три с лишним метра по карте, которую мастеровые зэки мозаично собрали из шпона древесины разных пород для кабинета хозяина. Сам хозяин тоже не избежал всеобщего помешательства. Более того — он воспылал. Светленькая заводила воскресных телевизионных феерий не только понукала гнуться и прыгать вслед себе всему своему кордебалету, но и заставляла в том же ритме прыгать хозяево сердце, наперекор согласному мнению зэков о том, что в его свинячей туше никакого сердца нет и в помине. Это была настоящая любовь — поздняя, последняя, оглушающая (грех смеяться и смешно сочувствовать).

Каждое воскресенье хозяин уходил из дому и запирался в служебном кабинете на тайные свидания со своей избранницей. Та знай себе скакала да поскакивала на экране, счастливо не подозревая, какие невероятные замыслы на ее счет прыгают внутри начальника затерянного у черта на рогах лагеря, ударяя того под самую лысину. Хозяин любил и страдал.

После своих сладостных свиданий помолодевший полковник бодро хватался порулить отданными ему в подчинение служивыми недоумками и в позабаву — лагерными мразями. Ему надо было как-то оправдать свои воскресные набегги, и в интересах конспирации он принялся перестраивать (новомодное слово тоже легло на душу) быт и культурный отдуш туземцев. Первым делом хозяин вздумал привести в порядок лагерный клуб, а всего первое — зал и сцену, чтобы его возлюбленная могла там устраивать свои концерты с разными номерами, но не с этой, прости господи, аэробикой, а, например, с народными танцами под помахивание платочком. Перестройка, как показывает действительность, — дело увлекательное и разрушительное. Лагерный полкан тоже увлекся, совершенно разрушив размеренный каторжный уклад.

У зэков сгрябчили их единственный выходной день. Хозяину хорошо — он и в понедельник свое отдохнет, а туземцы, наломавшись в неделю на “промке”, выползали к воскресным работам угрюмые, постепенно и неотвратимо наполняясь взрывной злобой. Полковнику было не в состоянии смотреть на их медленное копошение, и он как мог — матом, угрозами и матерными угрозами — повышал производительность рабочего труда. Производительность не повышалась, и хозяин самолично дотумкал до гениальных открытий всей социалистической экономики — он увеличил время непроизводительного труда. Зэков стали выгонять на воскресные работы сразу после утренней поверки. Хозяин тоже стал появляться на службе пораньше и, наблюдая за работами, готовил себя к счастливой встрече в телевизоре. Как только он испарялся, спеша на свое свидание, его подручные тут же объявляли перерыв в работах не только потому, что зэков опасно было лишать их законного сеанса аэробики, но, главным образом, чтобы самим не лишиться того же праздника.

В несчастное для всех воскресенье начальник так увлекся своими ценными распоряжениями, что не уследил за временем и уже было развернулся поспешить на любовную встречу,

но буквально остолбенел, услышав, как за спиной вся его трудовая армия куда-то ломанулась, сминая всё и вся со своего пути. Он обернулся и увидел, что большая часть туземцев исчезает за оградой жилой зоны, а оставшийся грязный людской ком втискивался в двери клуба. Подрагивающий яростью полковник вошел следом в переполненный клубный зал.

Сбоку от сцены светился и гремел музыкой телевизор. Там гнулась и пласталась его единственная любовь, а ее скопом имели все набившиеся вокруг мрази в пару сотен своих затуманенных похотью глаз... Полкан взревел. Он не мог простить такого надругательства ни той московской профуре, ни — тем более — всем этим насильникам-убийцам-грабителям, которых необходимо для их же блага немедленно искоренить каленым железом со здорового тела страны, прочно вставшей на путь перестройки и ускорения социалистической демократии.

Все телевизоры из бараков забрали, и в следующее воскресенье эки лишились своей единственной яркой радости, а может, и больше — своих надежд на возможный праздник в каком-нибудь завтрашнем дне... В понедельник туземцы забастовали и не вышли из “жилки” на “промку”. Заплутавший в любви и ревности хозяин совсем озверел таким поворотом и вызвал спецназ.

Сергея снисходительно улыбался, наблюдая повальную аэробную эпидемию своих солдагеров, но при таком раскладе было уже не до смеха. Ранее все необходимые дела по зоне ему удавалось неспешно сладить с режимником, но сейчас надо было действовать быстро, и Серега решил перетереть с хозяином. Режимник провел его в кабинет начальника лагеря и остался там же, что-то нашептывая на ухо полковнику. Тот брезгливо кривил мордой. Даже отсюда было слышно устрашающее тукание дубинками в щиты, которым развлекались спецназовцы, выстроившись перед входом в жилую зону.

— Значит, эт тебя недобитое ворье поставило смотреть за зоной? — Хозяин тыкал пальцем в Серегу. — Па-ачему не

смотришь? Па-ачему допустил беспорядки? Па-ачему срывает производственный план? Па-ачему расселся тут, как... как...

— Ну че ты закакал? — разжал губы Серега. — Меня поставили смотреть не только за зоной, но и за тобой, а ты в беспредел граешься?

— Во-о-он! — заревел хозяин, вскакивая на ноги. — На киче у меня сгниешь!..

— Смотри, дуrolом, — горем откликнется, — бросил Серега, вставая и поворачиваясь к выходу.

Выхода не было. Вернее, он был за одной из шести совершенно одинаковых дверей, плотно подогнанных к сплошной до потолка стене дубовых панелей, но за какой именно — Серега не мог сориентироваться.

Он дернул среднюю. На ровных полках громоздились залежи зоновских поделок. Серега, чертыхнувшись, захлопнул ее и распахнул другую. В специальном стояке тускло поблескивала коллекция охотничьих ружей. Серега схватил ружье и крутанулся, направляя его туда, где поверх огромного стола нависало жирное пузо хозяина, но пуза не было. Хозяин с режимником неправдоподобно прытко оказались под столом и сейчас, опомнившись, выбирались оттуда, мешая друг другу и крихая вперебив матюкам.

— Оно ж, ёпствою, не заряжено, — облегченно похохатывал хозяин, радостно отходя от смертного перепуга.

Серега переломил пустые стволы.

— За губу себе подбери свои ёпсы, пока сам на них не нарывался, — процедил Серега, отбрасывая ружье.

Через несколько лет на подмосковной даче друзей меня познакомили с хозяином колонии для малолеток, которого перевели откуда-то из-под Тюмени поближе под крылышко благоволившего к нему начальства. Веселый полковник раблезианских форм, пристрастий и темперамента восхищался "Архипела-

гом”, закусками и собеседниками, делившими с ним роскошное застолье.

— Мы же ничего не знали, — сокрушался полкан. — Ничегошеньки... Я всю жизнь отпахал, свято веря, что мне присылают на перевоспитание форменных извергов, но и с ними я всегда старался — по-человечески. И перевоспитывал — куда денешься? Любого человека можно исправить — дайте срок...

Я даже поперхнулся от удачной фразы и с одобрением глянул на полкана, но он — не шутил и собственного смачного афоризма не заметил.

— А сейчас как? — попытался я разузнать о сегодняшней службе полковника. — С малолетками как? Может, и там полно невиновных?

— Это не наше дело, — отмахнулся полкан. — Мы — служба исполнения, вот и исполняем. — Полковник назидательно нацелил в меня ополовиненный шампур. — Но им там — чистый рай. Честное слово, это не лагерь, о которых вы все читали, а зона отдыха. Многие и освободиться не хотят. Да оно и правильно — где им еще будет так хорошо? И кормежка, и крыша над головой, и телевизор тебе, и культурный отдых... А что они знали до того? Босота...

Он отвернулся от меня к хозяйке, продолжая накручивать прерванный мной самохвал о своих достижениях, о золотых руках мастеровитых зэков, которым он всячески потрафлял, рекламируя и продвигая их уникальные изделия.

— Они бы по моему приказу и блоху подковали, — смеялся полковник, — только, увы, блох не было, потому что у меня всегда на первом месте — санитария и гигиена...

— А теперь, — захлопал в ладоши хозяин застолья, отвлекая гостей от зашкаливающего возлияния, благодаря которому все постепенно становились неразличимы, как последние капли водки в опорожненной бутылке...

— Правильно — танцы, — одобрил полкан, вытискивая себя по частям из-за стола.

Но гостям предлагались не танцы, а конкурс в меткой стрельбе из воздушки. Полковник пренебрежительно покрутил махонькую в его руках винтовку и отдал обратно.

— Разве ж это оружие? Баловство одно... Вот у меня была коллекция ружей...

Я смотрел на него и дивился — неужто тот самый, о котором рассказывал Серега? Полкан был красочен и самобытен — как с картинки. А вся эта ситуация была тоже — как с картины Эшера, где гениальный рисовальщик изобразил неразрывное переплетение из белых ангелов и черных рогатых чертей. Посмотришь с одной фокусировкой — белые ангелы на черном фоне, посмотришь с другой — черные черти на белом фоне. И вот я разглядываю реального человека так же, как ту картинку Мориса Эшера: посмотрю одним взглядом — симпатичный добряк, посмотрю другим — законченный душегубец. Может, и все в жизни зависит от нас — от нашего взгляда? Вот же — нормальный человек, но он вполне мог ранее вместе с другими столь же нормальными стрелять по подвалам, а потом они шли домой, целовали детей... С ними всегда надо быть настороже — они как будто сами вживили себе какую-то кнопку для управления извне. Вот он сидит — вроде человек... жизнелюб... а вдруг кнопку сейчас включают — и понеслось... Впрочем, и безо всякой кнопки более всего способны испохабить нашу жизнь именно клинические жизнелюбы.

Серега даже не пытался каким-то иным взглядом увидеть хозяина. Для него тот был последнее мудро — и ничего больше...

Прямо из хозяйского кабинета Серегу укатали в ШИЗО, а следом и в ПКТ, где довели голодом до звонкой прозрачности, но в этом вираже он, по крайней мере, уберется от костоломных дубинок спецназа. Чуть позже у хозяина вчистую сгорел его роскошный дом с гаражом, машиной, и хорошо еще, что не с домочадцами. Потом в бараки вернули телевизоры, и

жизнь зоны постепенно вернулась в привычное русло за одним исключением — воскресная аэробика больше не собирала у экранов своих еще недавно преданных туземных поклонников. Один только хозяин остался по-своему верен ее очарованию и частенько заставлял свою машинистку (а по совместительству — супругу режимника) раздеваться до предпоследней возможности и в грубых шерстяных носках прыгать перед ним под бодрую музычку. Однако это так же мало походило на соблазнительную аэробику, как и нынешнее разнотопочное топочение Тимкиных курсисток на клубной сцене разворванной московской фабрики.

— Ну как тебе? — спросил Тимка, подсаживаясь рядом и кивая на сцену.

— Это же гиблое дело, — отозвался Серега. — Вдохнуть жизнь в этих закаменевших баб? Смеешься? Открывай начистоту — в чем фишка?

— Гляди на ведущих. Хороши, правда? Это их последняя обкатка на данном этапе. Потом у них — другие занятия... А два месяца назад они были такими же несграбистыми клушами.

— Не может быть... Ну, ты гений!

— А то, — скромненько согласился Тимка. — В придачу мне с помощником повезло...

— Все равно не понимаю, за что тут зацепилась братва? Неужто за обучение дерешь миллионами?

— Не миллионами, но — прилично.

— Сколько?

— От одной до двух штук в месяц... Зелеными...

Серега чего-то поперемножил да поскладывал, но ни к чему путному не пришел.

— Для братвы — не добыча. Может, на тебя сели какие-то са-модельные отморозки?

— Вроде нет... Знаешь, у всех этих теток — бабок немерено. Так их и отбирал со своих сайтов знакомств: переписка, во-

просики разные, уточнения, ну и — нюх... В общем, в делах они не петрят, бабки хранят где-то под матрацами и ждут, когда какой-нибудь собственный шофер их обчистит догола... Если кто в чем соображает — так в челночных делишках. Во-на, видишь жилистую дылду — в этом она спец... Короче, если они кому доверятся, то уговорить вложить бабки во что-нибудь стоящее — плевое дело. Еще и благодарны будут... Может, эти твои... ну как их? — твои коллеги... Может, они как-то прознали про мои планы? Но как они могли прознать? Ума не приложу.

— Ну, теперь хоть ясно, из какой задницы ноги растут, — успокоился Серега.

— Получится? Защитимся? — волновался Тимка.

— Видно будет... Подождем...

Братки появились к вечеру. Серега кивком поманил их за собой — за сцену, на которой приходили в себя обессиленные вповал Тимкины ученицы. Все впятером, друг за другом они вышли в забитый хламом узкий коридор, где и двоим разойтись было внапрям. По крайней мере, здесь разом не налетят — только по одному, а это давало кое-какие шансы (а для Сереги — и немалые), если вдруг понесет по кочкам. В нормальных понятиях ничего такого случиться не могло. Даже при неудачном раскладе самое большее, на чем могли бы настоять эти бычки, — это “забить стрелку”, где мало кто Серегу бы перемог. Но все это — по правилам, а у Сереги не было никакой уверенности в том, что топающие следом братки уважают или хотя бы знают честные правила честных людей.

Откуда они вообще повылазили, эти молоденькие бычки? Совсем не мелкий ростом Серега доставал каждому из них не выше подбородка (как раз для резкого удара головой в зубы — наповал)... И ведь как на подбор — один в одного. Не похоже, что эти шкафы могут появиться на свет обычным способом. Может, они каким-то почкованием размножаются

друг от друга — и пожалте: еще один шкаф в такой же куртке, вязаной шапочке и трениках...

Сергея повернулся, достал губами из пачки ловко выщелкнутую сигарету и поджидал, кто поднесет огонек зажигалки. Никто к этому не шевельнул. Бычок, стоящий перед Сергеем, пощелкивал четками зоновского изготовления, следующий за ним — покачивался на пятки-носок, не вынимая рук из карманов куртки, а дальше — не разобрать... Зоновские четки обнадеживали, но все остальное — напрягало.

— Ты откуда нарисовался, такой красивый? — попер бычок с четками.

Сергея опустил на корточки и несколько секунд так и сидел, прикрыв веки, с прямой спиной, мирно пристроив кисти рук на коленях.

— Эту судорогу, — Сергей неопределенно мотнул головой, — я крышую, — вместо ответа снисходительно сообщил Сергею, не выпуская из губ незажженную сигарету.

Его на первый взгляд проигрышная позиция на самом деле при Сергеевых навыках давала исключительные преимущества для убойного отпора. Удар ногой легко перехватить, а у нападающего в этот момент равновесие — ни к черту, а чтобы вмазать рукой — надо наклониться, и если вовремя вскочить навстречу этому наклону, то удар получится хоть и малой массой, но на два ускорения — и наповал... Однако Сергей рассчитывал не только на это. Оттуда, сверху, сейчас хорошо читалась накладка воровского перстенька на безымянном пальце его левой руки, а в распах ворота можно было углядеть рукоять кинжала от воровского же портка на груди. Но все это, конечно, только для грамотных — кто умеет читать...

Браток с четками зацепился. Не то чтобы он сильно рубил в людских понятиях, но что-то где-то слышал...

— Ты сам — кто будешь? — спросил он вполне уважительно и наклонился, поднося огонек к Сергеевой сигарете.

— Лешаин... Сергей Лешаин.

— Я отлучусь позвонить... Не против?

— Звони, — равнодушно отозвался Серега.

— Да че звонить? — взбылчился кто-то сзади. — Мочкануть этого недоноска.

— А ну цыц! — рывкнул поклонник четок. — Чтoб ни звука тут, покуда я вертанусь... Умрите, падлы!

С полчаса братки переминались, вздыхали, маялись, а Серега так и сидел — будто уснул.

— Ты извини, — зачастил, забулькал прибежавший главарь. — Я ж не знал... Если бы твой коммерсант сказал сразу, что и как, а он — тыры-пыры... Ну — лататы?

— Почти, — кивнул Серега вставая.

Он поманил к себе предлагавшего мочкануть братка, от которого все остальные заранее отстранялись, как от чумного. Тот лупал глазами и шумно сопел. Серега резко вмазал его точнехонько в солнечку, а когда тот, охнув, стал изгибаться, цепко схватил в пятерню его стриженный в нуль затылок и рванул вниз — мордой в подставленное колено.

— А другим разом — и мочкану, — пообещал Серега под облегченные посмеивания бычков, подхвативших своего недотепистого друга и радующихся, что все сладилось мирно и клево...

Серега направился было к Тимке, но тот сам вынырнул из какого-то закутка с пожарным топором в руках.

— Подслушивал?

— Наготове стоял... Вдвоем мы бы их уделали. — Тимка прислонил топор к стене. — А откуда у тебя такое прозвище — Лешаин? От лешего?

— Леший его знает, — засмеялся Серега.

— Хорошо ты их... Скажи, а этот тебе сказанул словцо забавное — “лататы”. Это что такое?

— Это вроде что все в порядке... претензий нет...

— Так, значит, в нашем дельце — лататы и никто к нам ничего не имеет?

— Вроде того...

— Гульнем?

— Самую малость, и поеду назад...

Тимка уговаривал Серегу остаться, завалиться ко мне и втроем поставить на уши всю Москву...

— Он сам собирался на днях в Богушевск, — сказал обо мне Серега. — Давай и ты — там все и поставим на уши.

— Хорошо бы, — возмечтал Тимка. — Но не-е, не получится — мне сейчас это хозяйство оставлять не след. Вот когда все само покатит — тогда можно и отлучиться...

Серега рвался домой. Он в очередной раз удостоверился, что весь его стройный мир захватили тупорылые быки, которых еле-еле удастся еще сдержать в узде честных людских понятий. А что им самим те понятия?.. Порожняковый базар... Пурга... Досадная помеха... Они точно знают, что вся вокруг земля цветет им вразграб и истоп, и в этом они ничем не отличаются от ментовских волков, знающих то же самое, или от чиновных козлов... Земля людей, которую до разрыва жил обустроивал Серега, неудержимо исчезала из-под ног. Точно как в давней детской игре в "землю", где каждый игрок вонзал своим ходом в очерченный круг нож и вдоль его лезвия проводил сплошную черту по владениям других, норовя оттяпать себе землю, на которой они стоят, и вытеснить их за круг — из игры... Вот и у Сереги осталось в этом мире опоры всего ничего — может, на одну только ступню, и скоро уже кто-нибудь бросит очередным ходом свой нож и вытолкнет его навсегда из этой игры — из круга жизни. И кто останется, чтобы хотя бы в мечтах сохранить мир людей от окончательного распада? Кто расскажет подрастающим недоумкам о людской чести и законах людской справедливости?.. А если — никого?.. Получается, что вся яростная Серегина жизнь растрачена на фу-фу...

Уже с год, как Серега распустил свою собственную бригаду, и парни разбрелись кто куда, то пытаюсь по Серегиному

примеру осесть в частной жизни, то прибываясь к чужим компаниям, где все равно оставались чужаками среди безбашенных отморожков. Два самых верных Серегиных кореша жили в Минске и особняком от любых бригад вели свой отдельный промысел, а в редких случаях надобности надежно являлись на Серегин зов. Более всего Серега хотел совершенно уйти в свою отдельность да так и доживать, неспешно обдумывая, что же в конце концов сотворила с ним жизнь (а если сбрендить и поверить Мешку — что он сам сотворил с ней). Но при Серегинном авторитетном статусе совсем отделиться от вчерашней судьбы не получалось. Малявой, звонком или еще как Серегу выдергивали то на подогрев голяковой зоны, то для тушения какого-либо беспредельного вспыха. Один или с верными минскими корешами Серега срывался на зов, повергая в панику нашу богушевскую улыбчивую медсестру Ленку, ставшую невероятной удачей Серегинной жизни. Ленка эту свою панику стоически скрывала, понимая (а больше — чувствуя) Серегинны жизненные правила, хотя и не принимая их. Правильные понятия требовали тащить принятый груз до конца — без срока давности и выхода на пенсию, и это было действительно правильно.

Да и все в жизни мы делаем навсегда — набело, без черновиков и, стало быть, без поправок. И ничего не отменить...

В это вот неудобное для Сереге время я его и застал, когда с юмористом Жвадориним мы приехали в мой родной поселок. Сам Серега ни единой складочкой не выдавал ту безнадегу, что ознобно сквозила надорванной душой и срывала в перебой его верное сердце. Он сидел голый по пояс — бронзовый, крепкий, литой (хлопни его по спине — и услышишь колокольный гуд). Очки в тонкой золотистой оправе необыкновенно ему шли — натуральный профессор, только без этих вечных профессорских сомнений и зыбких предположений, а надежный и уверенный.

Перед Серегой на книжной подставке был раскрыт ментовской боевик, а плотно забитая книгами полка за его спиной свидетельствовала, что подобная макулатура была его постоянным чтением. Все это Серега читал из чисто профессионального интереса, снисходительно отмечая нагромождение диких нелепиц и с удивлением обнаруживая потом эту же дичь в доходивших до него историях реальной жизни его разнообразных знакомцев. Выходило так, что эти недотыки переставали жить своим разумением (а где им его взять?) и выстраивали свои дела по прочитанному в этих враных книжонках. А может, прав Мешок и жизнь сама собой лепится по написанному?..

— Брось ты эту лабуду, — сказал Жвадорин, присмотревшись к тому, что Серега читал. — На, почитай лучше мою книжку.

Он надписал экземпляр из заготовленной в дорогу пачки — Серега очень сдержанно поблагодарил и отправил жвадоринский шедевр куда-то за спину. Это было не по привычным Жвадорину правилам: сначала надо было прочесть дарственную надпись, потом — обрадоваться, а Серега...

Здесь все было не по известным Жвадорину правилам, и, наверное, это его угнетало. Он ехал ко мне на родину знаменитым сатириком-юмористом и писателем, а приехал всего-то моим другом. Ни оглушительная баня с еще более оглушительным застольем, устроенные моим соседом, ни грандиозная уха на берегу Кичинского озера, затеянная бывшим одноклассником и по совместительству главой районного рыбнадзора, не в силах были окончательно разгладить эту морщинку. На празднике ухи, затянувшемся далеко в ночь, Жвадорин даже взялся накручивать себя фантазиями о покупке дома где-нибудь на озерном берегу, и все для того только, чтобы стать здесь своим, а не залетным гостем безо всяких прав на обладание всей вокруг очарованной красотой.

— Свой, не свой — какая разница? — вопрошал он у прибывшего к празднику местного аборигена. — Я же все равно смотрю на эту роскошь... Любуюсь...

— Смотри — не жалко, — по-доброму разрешил хмельной абориген, но уязвляло само его разрешение (хоть и доброе)...

— А приехать сюда с лодкой?.. Наловить рыбу?.. Это я могу?

— Разом з им? — Абориген кивнул в мою сторону. — Знамо дело — лови.

— А без него?

— Спросися — чаму ж не пазволить?..

— А без спросу?

— Без спросу — не надо бы... Можа кепска выйти...

— Я — знаменитый писатель!

— Знамо дело... Спросися... Чаму не пазволить?

Жвадорин пухленьким коlobком перекаtywался по озерному берегу от одной группки моих земляков к другой, и еще несколько раз я слышал все более печальный жвадоринский возглас: “Я — знаменитый писатель”, но прежде чем уплыть в полную благодать, я придумал, как его порадовать. С утречка я забежал к соседу, к которому мы собирались зайти попозже, — предупредил, что вместе со мной будет великий писатель, и попросил, чтобы его встретили с максимальным уважением.

— Так это ты — Навумин сябр? — расплылся в уговоренном уважении сосед, приглашая нас со Жвадориним в избу. — Ён казау, что ты — писатель. Ты памог бы мне жалобу написать в контору — вот добра было б...

Но мои земляки не были совершенно равнодушны к людям и их жизненным достижениям, как ошибочно предположил Жвадорин. Все это они ценили, только — в свой черед. Первей всего были окружающие их леса, озера и болота — вся их земля, которую они любили самозабвенно и ревниво, как чаще всего и бывает в безответной любви. Потом шли их хозяйства с населявшей их живностью — не важно, справные были те хозяйства или порушенные. Следом — они сами со

своими мечтами, хвоями и домочадцами. Потом — соседи, прочие односельчане и земляки, а сразу после них — все остальное человечество. Вот там уже, как и должно, на первом месте были великие да знаменитые, и отдавалась им вся что ни на есть любовь, которая еще оставалась после более важных вещей. Однако все важные вещи забирали так много любви, что оставшуюся с виду вполне можно было принять за равнодушие. Кстати говоря, главные их любви тоже были не на показ и постороннему взгляду виделись тем же туповатым равнодушием.

Туповатость злила, но злость приходилось сдерживать. Натерпевшийся всего этого Жвадорин, вернувшись в Москву, видимо, несколько ошалел. Мы с ним вышли из моей редакции. Навстречу ему двинулся улыбчивый молодой человек в костюме преуспевающего банкира. Он светился недополученной Жвадориним любовью — разве что не разводил руки, чтобы с ходу заключить Жвадорина в объятия.

— Ага, — бросил мне Жвадорин. — Меня все-таки знают, — и, ответно улыбаясь, пошел навстречу, как он предполагал, поклоннику своего творчества.

Через пять минут Жвадорин хмуро помахивал сковородкой “Цептер”, которую молодой человек ловко ему всучил всего за какую-то штуку баксов, и выбирал, кого бы этой чудо-сковородкой огреть...

Но это будет по возвращении в Москву, а пока мы сидим в Серегинном доме и радостно попиваем самогоночку его изготовления, а его легкая и неотразимая в улыбке да смехе Ленка жарит нам в закуску мои любимые драники и говорит со мной, не умолкая ни на минуту, в радости принимать и угощать...

“А моему все равно — что драники, что ботва... Я его пытаю-выпытываю, чего хочешь? Что тебе приготовить? — только плечами жиманет, все, мол, равно... Я-то сначала как только не старалась! Часами у плиты — только чтобы ему вкусненькое

подать. И голубцы наверхчу, и картошечки натушу, и утю нафарширую, и нарасставляю перед ним... Спрашиваю: вкусно тебе? Знаешь, что он отвечает? Путем... И это еще хорошо, если отвечает, чаще всего кивнет — и понимай как знаешь: то ли спасибо сказал, то ли что все равно... Однажды думаю: ну не может быть, чтобы все равно. Три дня ничего не готовила. Так он горбушку чесноком натрет, чифиря своего закипятит — и доволен. Спрашиваю: вкусно тебе? Знаешь, что в ответ? Что ему опять — путем... Что это за путь такой? Я слышала, что путь к мужнину сердцу — через желудок. Так у моего этого пути нет... К его сердцу вообще неведомо каким путем можно подобраться. Тем, что ты подумал, тоже не домочь... Как-то поутру (прости за подробности) решила попытаться. Спрашиваю: хорошо тебе со мной? Догадываешься, что я услышала в ответ? Так что все у нас — слава богу — путем... Одним разом на работе погоревала: мол, мужу все едино — что готовь, что не готовь, так сестры наши в больнице мне даже позавидовали. А чему тут завидовать? Я же хочу его порадовать... Наверное, для него есть какие-то другие радости, но он же молчит, и я стараюсь порадовать как умею. Вот умею готовить — ты же знаешь... Помню, пристала к нему прям банным листом: придумай, чего бы тебе хотелось на обед. Молчит. Ну есть же для тебя что-то самое вкусное. Пусть не сейчас, а раньше. В детстве, спрашиваю, что было вкуснее всего?.. Знаешь, что он ответил? Крошки. Спрашиваю: какие крошки? Молчит и лыбится... Ну какие такие крошки?.. Гляди — он опять лыбится..”

Ничего нету на свете вкуснее крошек...

Мы лежим в колючих кустах возле поселковой пекарни и караулим возможную удачу. Репейные серые иглы болоче вцепляются в нас по самые стриженные макушки.

— Не вертись ты, — одергивает Серега неугомонного Тимку. — Заметят и спустят собак. Ты-то ветром сбежишь, а Мешка покусает.

Я до обморока боюсь огромных собак, охраняющих пекарню, и надеюсь, что Серега прав. Мешок молча пыхтит...

К обеду приезжает извечно злочий дед Игнат, который отвозит хлеб из пекарни в магазин. На его телеге — деревянная будка, куда он загружает горячие буханки. Игнат останавливает телегу перед очень похожей деревянной будкой, которая пристроена под стеной пекарни. Туда по оцинкованному желобу пекари сбрасывают свежеиспеченный хлеб для магазина. Все это происходит по сложному ритуалу, который мы изучили назубок.

Сначала Игнат с проклятиями выбирается из телеги, тычет лошади кулаком меж ушей и надолго скрывается за дверью пекарни. Потом он выходит оттуда заметно повеселевшим, глубоко внюхивается в свежую горбушку, неспешно ее свежывает, кидает лошади клок сена, на котором сам же в телеге и сидит, распахивает будку на телеге и открывает висячий замок, что запирает створки пекарной будки.

— Ого-го! — кричит Игнат пекарям наверх, и по желобу начинают съезжать румяные буханки.

Игнат стискивает их по четыре штуки двумя руками и переносит на телегу, громко считая в каждый перенос:

— Один, два, холера побери, три...

Мы уже в полной готовности. Сейчас Игнат набьет свою будку, закроет ее и пойдет в пекарню подписывать какие-то бумаги. Створки пекарной будки он или запрет замком, или на пока оставит открытыми — иногда после неведомых нам переговоров из пекарни спускают Игнату еще несколько буханок, и тому чаще всего лень лишний раз валындаться с замком. И вот если створки не заперты, то после того, как Игнат скрывается в пекарне, наступает наш звездный час.

Мы вихрем мчимся к будке, на оцинкованном дне которой толстым слоем скапливаются самые вкусные в мире поджаристые крошки с горячих буханок. Мы хватаем их горстями, запихиваем в рот и хватаем еще, не успевая глотать, улепливаясь крошками по глаза...

Бывает, что мы не успеваем вовремя смыться и кому-то сильно достается от Игнатова кнута, но все-таки собак на нас ни разу не спустили, и, значит, нам (а особенно Мешку) здорово повезло в жизни...

Но и драники были очень вкусные. Особенно — под Серегин самогон.

— Как Мешок? — спросил я Серегу, пока Жвадорин рассыпался в комплиментах хозяйке. — Как его поручение? — спросил вдогон и совсем втихую.

— Не справился, — ответил Серега и шутливо (а может, и горестно) развел руками.

— А твои дела? Ты ведь — в законе? — еще тише допытывал я.

— Тоже — не справился.

— Что-то случилось?

— Да все — хуже некуда... но грех жаловаться... Все путем...

— У тебя что-то не покатило?.. Что-то пошло не так? — не отставал я. — Когда это началось?

— Давно... Не соображу, что было раньше: то ли Мешок со своими непонятками, то ли непонятки, что пошли между братвой...

Когда Мешок навесил на Серегу свои заботы, у того и собственных было не разгрести. Но Мешковые и не требовали отдельных сил и времени — живи себе по-своему и ради спокойствия друга записывай время от времени в его тетрадку всякие благоглупости.

Серега вообще писал мало, и основным продуктом его письмен творчества были малявы да самому себе краткие напоминалки. И то и другое писалось микроскопическими — одна к другой — буквами безо всяких знаков препинания, с легким намеком на пробелы и слипшимися друг в друга строками. Чтобы в запарке не забыть обещания Мешку,

Сергеа все свои редкие напоминки сразу перенес в Мешкову тетрадь, тем более что те записи и напоминали Сергею о срочно необходимых правильных делах его нынешней судьбы и поэтому были похожи на пожелания справедливых свершений.

Дел было невпроворот. Как-то сразу все зоны страны оказались на голяках, и Серега мотался неделями, пытаясь успеть всюду, откуда доносились вопли “смотрящих” о помощи. Успеть было невозможно. Перестройка обрушила зоновские “промки”, а хозяева, лишившись постоянного дохода и понимания того, что происходит и что с ними будет, вообще перестали мышей ловить. На некоторых зонах обычное положняковое питание урезалось до штрафного. Немедленно требовался такой подогрев, на который у традиционного “общака” катастрофически не хватало возможностей.

Тогда Серега удумал обложить данью на “общак” все поголовно кооперативы, плодящиеся вокруг, что грибы. Обкатать эту идею, вчерне им продуманную, Серега отправился к московским и околomosковским авторитетам. Кооперативов — море. Масштабы неохватные. Это тебе не прежние нелегалы-цеховики, которых тоже было в достатке, но все-таки для тех, кто “в законе”, с их личными гвардиями положняков и авторитетов, зорко просвечивающих свои уголья, все они были — наперечет. На осуществление Серегоиной идеи элементарно не хватало сил. Пока что предприимчивых буржуинов ставили под оплату в том количестве, на которое хватало братвы.

Сергеа предложил в срочном порядке набирать молодых бойцов и создавать сотни новых бригад. Это грозило разрушением всей структуры управления — на такую армию просто не хватало авторитетов и “законников”, а без четкого подчинения вся страна станет гуляйполем для разграба безбашенными группировками, и в конце концов ни копейки из того разграба не пойдет на “общак” — каждый потянет только себе...

— Кто удержит такую армию в понятиях и в подчинении? — резонно возражали авторитеты, пока мой тезка, уже рекомендовавший на коронование Серегу, отмалчивался, достаточно заинтересованно вслушиваясь в жаркую дискуссию за этим дачным круглым столом.

— Сами понятия и удержат, — уверенно напирал Серега. — А для подстраховки придется в более срочном порядке короновать новых...

— Да где взять столько кандидатов? Не неси пургу...

— Прошу без фени, — одернул “законник” из своего угла.

— Тебя наши понятия держат в узде? — убеждал Серега. — Меня — держат? Удержат и молодых. Можно набирать из спортсменов — они худо-бедно понимают и в дисциплине, и в верности команде, тем более что сейчас весь их спорт и все их карьеры — на свалке...

Серега не сомневался в своей правоте. Когда-то давно ему самому пришлось откровением людские понятия, ядром которых было сохранение чести и достоинства, а силой — утверждение справедливости. Почему же и другим эти правильные понятия не станут таким же откровением? Почему и для других они не станут таким же идеалом? Серега ставил на идеал.

Его оппоненты уже объелись идеалами и ставили на подлость человеческой природы, норовящей что можно сгрести под себя. Они не очень увлеченно возражали и очень увлеченно да вкусно закусывали, а Серега глядел на их каменные жваклы, думая об оголодавших сидельцах, и кусок не лез ему в горло.

Последнее слово было у “законника”, но тот пока помалкивал. Он был азартным игроком и готов был поставить на Серегино “авось”, но ведь тогда работы предстоит — в непродохнуть. А с другой стороны, оставить все так же покойно и удобно, как было, — тоже не получится...

Жизнь сама выбрала Серегины идеи. Со всех сторон стали напирать какие-то самодеятельные бригады беспонятных громил, и приходилось буквально на ходу обрабатывать их и приводить хоть в какую-то норму. Пошла суматошная пора

ежедневных “стрелок” со все менее предсказуемым исходом и скороспелых коронований со столь же спорным результатом. Короны требовались из-за острой нехватки законных авторитетов, но той же короны добивались напористые атаманы-баи-абреки, главными рекомендациями которых было число подчинявшихся им стволов и количество свеженагрябченных миллионов.

Похоже, что Серегины идеи одновременно посетили много-много не самых лучших голов, но неведомо, почему это случилось. Может быть, и потому, что свои придумки он законспектировал в Мешковой тетрадке, но скорее всего все эти не очень светлые и не слишком сложные комбинации просто носились в воздухе, а воздух в те времена был у нас — точно для них...

Месяц за месяцем Серега со своими парнями мотался по зонам страны, приводя в чувство хозяев и в разум смотрящих, загоняя за колючку чай, курево, глюкозу, балабас, но всего важнее — надежду. В короткие перерывы он в два-три дня по черному пил, спрятавшись в Богушевске на время этой паузы ото всех — в том числе и от собственных бойцов. Потом быстро приводил себя в порядок и призывал парней, которые и не поверили бы, расскажи им кто, что вчера еще Серега был никакой — в лежку. Серега уже был как всегда — пружинный, звонкий и все более опасный. Он перезванивался с авторитетами, требуя законную “общаковую” долю на поддержку тюрьмы, зверел, не принимал и не понимал никаких отговорок, наивно уверовав много лет назад, что “общак” — это святой арестантский запас, да так и оставаясь в этой уверенности до конца.

В своей непрерывной круговерти он даже не сразу сообразил, что уже изменилась вся страна и сразу стало значительно меньше зон, требующих забот и подогрева. Только через год-полтора после распада отечества Серега врубился в эту

новую ситуацию, да и то — почти случайно. На летучей сходке по поводу тающего “общака” Серегу огорошили тем, что “общак” уменьшился пропорционально уменьшению страны и лагерных зон. Серега прокрутил в своей башке цифры — пропорционально не получалось. “Общак” таял вне всякой связи с гибелью привычного отечества...

Серегу упрямо тянул свою ношу, а со всех сторон наваливались сведения о кровавой междоусобице среди братвы, которая зверела из года в год во все новой и новой дележке угодий для разграба и наживы, но всего зверей — в дележке авторитетных мест. На Серегины “угодья” никто конечно же не претендовал, потому что кому это надо — изводить себя не в наживу, а в одну лишь растрату. Серега и дальше крутился для подогрева арестантов и только издали отслеживал рубиловку внутри братвы. Он все еще надеялся, что молодые и беспонятные бычки-новобранцы постепенно въедут в необходимость людских и справедливых правил, и в разгулявшейся бойне винил свежескоронванных недоумков, у которых за плечами не было ни тюрем, ни понятий, а только понты да трупы. Серега боялся и предположить, что святые для него законы людей абсолютно ничего не значат ни для молодых бычков-бойцов, ни для таких же молодых и тупорылых быков-авторитетов.

Прежнюю гвардию выбивали на глазах. Когда замочили короновавшего самого Серегу старого “законника”, Серега немедленно примчал в Москву. Неумолимые правила диктовали урыть всех до последнего, кто хоть каким-то боком причастен к убийству “законника”. По Серегинуму требованию собрался малый сходняк. Пришли четверо новокоронванных, о которых Серега и слышал-то мельком, а уж знать — не только не знал, но и сто лет не хотел бы. Из действительно авторитетных, к которым каждый был обязан прислушиваться со вниманием, — никого.

— Ты зачем такой кровожадный, а? — вопрошал Серегу добродушный обладатель короны свежей грузинской выпечки. — Лучше мир, чем добро в ссоре, да? Правильно я говорю,

братаны? — обращался он за поддержкой к трем своим соотечественникам — молчаливым и равнодушным.

Грузин банковал, тамадил, балабонил и улыбочиво подливал, призывая жить, радоваться жизни и не мешать другим жить и радоваться. Его братаны продолжали молчать.

— Чего они — молчком? — спросил Серега.

— А они по-русски мало-мало понимают... — Грузин поводил бокалом с вином у себя под носом и выпил. — Одному тебе скажу, дорогой, — совсем ничего не понимают.

— Так зачем они спустились сюда со своих гор?

— Какие горы, дорогой? Они у моря живут.. Видел море, да?.. Там — простор... Там душа поет... Там жить хочется...

— Вот и жили бы там. — Серега встал. — Вот что я тебе скажу... дорогой: ты мне всю ту шоблу, убившую деда, выдашь целиком — до последнего отморозка...

Сереге казалось, что весь Кавказ лавиной хлынул на страну, чтобы всего-то за три-четыре года почти подчинить себе местную братву. Особенно преуспели в этом грузины и чехи. В них и были, по его мнению, главная опасность и главное зло. Точнее — в чехах. Грузинских авторитетов Серега всерьез не воспринимал и относился к ним достаточно снисходительно. Они покупали себе короны, чтобы барствовать и в полной мере наслаждаться радостями жизни. Точно так многими годами ранее они покупали докторские диссертации и директорские места. Эти новоявленные бароны не разрушали людские понятия. Наоборот — им самим все те понятия были кровно необходимы. Только они могли дополнить купленную корону всей полагавшейся в придачу свитой и ее уважением. Беда в том, что сами эти кавказские “законники” в людских понятиях — ни ухом ни рылом (“по-русски мало-мало понимают”). Но это в принципе — поправимо. А вот чехи...

Чеченов Серега чувствовал нутром и просто физически ощущал исходящую от них опасность. Какими-то главными

своими качествами он был им сродни — потому так остро их и просвечивал. Например, у него были привязанности, ради которых он мог пустить прахом всю братву и все перед ней свои обязательства. Но Серега делал все возможное, чтобы эти его привязанности были только его тайной и не вступали в конфликт с его правильной жизнью. А чехи особо и не скрывали, что всякие их клановые традиции, семейные надобности, интересы соплеменников и даже какой-нибудь наказ выжившего из ума старца — первое всех на свете понятий. Закон правильной жизни людей был им только удобным оружием для собственного обустройства среди всех этих неверных. А для своей настоящей жизни у них всегда есть свои законы. Неверные хотят играть по своим понятиям? Пожалуйста, но только до того мгновения, пока эти все игры не помехой истинным интересам. Тогда чехи сбрасывают с себя все чужие понятия, как чужую вынужденную униформу, и прут за свое и по-своему. А это значит — режут, мочат, крушат, рвут в клочья — и до конца. До победы или до гибели — без предупреждений, без обмена нотами или хотя бы малявами, без “стрелок” и наперекосья всем известным нам нормам и правилам, которым вроде и они должны были бы подчиняться.

И в этом у Сереги с ними была еще одна схожесть. Точно так и он с самого детства вперекосья установленным традициям начинал драку — всей яростью и с ходу. Но Серега эту свою особенность сознательно скрутил путами и полностью принял требования людских правил, а чечены и не подумали бы делать подобное. Их ярость, которая с легкостью сметет любые правила неверных, всегда подрагивает — пружинисто и явно. Даже приобнимая тебя с неизменным “брат-брат”, чех может через мгновение отстраниться, прицелить глазом — и перерезать твою глотку. Правда, не у себя в доме. Там ты — вроде священного гостя. Пусть целая армия требует твоей выдачи — чех будет сражаться за тебя с этой армией. Точнее, не за тебя, а за честь своего дома, потому что наутро, победив и

разогнав ту армию, он выведет тебя со двора и теперь уже обязательно перережет глотку

Если быть честным с самим собой, то Сереге эти особенности чехов были очень в строку. Но сейчас он защищал привычный ему мир людей и, понимая эти чеченские качества всем своим сходным нутром, отчетливо видел, что правильный людской закон этому напору противостоять не в силах. Только отморозки, которые совсем без тени понятий, могут с этим справиться, но отморозки — еще худшее зло. Чтобы защитить правильный мир людей, надо уничтожить чехов.

С тем Серега и приехал в Москву, как только точно сформулировал для себя возможности выхода из нынешнего раздора в братве. Он навещал отстранившихся от текущих дел вчерашних авторитетов и встречался с молодыми нынешними — только со славянами и без сходняков — с глазу на глаз, убеждая подняться всем против чехов...

Неделю спустя он услышал, что российские войска пересекли границу Чечни для установления конституционного порядка. Серега открыл Мешкову тетрадь, где конспектировал выводы своих угнетающих душу размышлений, и прочитал написанную себе напоминалку: “Объявить чехам беспощадную войну”.

Но этого же не может быть! Никто бы не поверил, что существует какая-то связь между затасканной тетрадкой и такими глобальными событиями. Серега тоже не поверил, но что-то в нем надломилось, и сердце беспрестанно покалывало острый осколок. Постепенно он стал отходить от дел, чему прущий отовсюду авторитетный молодняк был только рад.

Через пару лет Серега прочно осел в Богушевске, вздергиваясь к заботам сидельцев только по крайней необходимости. Нашел свою радость в тихой семейной жизни и в неспешном обустройстве дома в покойный уют.

В этот его уют и вломился Мешок самой ранью злосчастного осеннего дня.

— Твои выродки... деда Тихана убили, — в два приема сумел выговорить Мешок, удерживая дрожащими пальцами рук сползающее в рыдания лицо. — А с ним вместе и всех, кто был...

— Какого Тихана?

— Батьку моей Нины...

Мы всегда называли Тихана дедом, даже когда ему было лет сорок. Он жил вместе с дочкой Ниной, которая была младше нас года на три — совсем козьявка. В поселке про них говорили “абодва сиротов”. Но Тихан с дочкой жили не в поселке, а далеко за ним, так как был Тихан путевым обходчиком, и, чтобы добраться до его казенно установленного места жительства, надо было пересечь железку, потом петляющей тропинкой пройти по лесу, снова выйти к железке и проскакать по шпалам всего ничего — до места, где проблещивает уже край дальнего озера (куда ты на самом деле и добираться), а примерно на полпути от этого места к озеру и стоял дом обходчика — прямо у самодеятельно оборудованного пересечения железки и грунтовой дороги. Так что специально к деду Тихану мы не ходили, но по дороге на озеро частенько заворачивали полакомиться вкусными ягодами с его щедрых кустов.

Это был какой-то неугомонный мужичонка. Свой казенный скворечник он перепостроил в нормальный дом с кучей хозяйственных сооружений, наполненных до крыш всякими кудахами да мычаниями. Из-за этих построек его самого считали не совсем нормальным. Дело в том, что в любой момент его могут турнуть с работы, и тогда весь тяжкий труд пойдет прахом — ни продать, ни с собой забрать. Так очень разумно объясняли ненормальность Тихана взрослые пацаны, а сам Тихан только посмеивался себе под нос (как-то будет...) и

продолжал мельтешить по хозяйству, растрачивая свои последние силы на то, что когда-нибудь обязательно пойдет прахом...

Но неприятности свалились на обходчика с другой стороны. К его участку зачастили рабочие дрезины, и скоро вдоль железнодорожного полотна возвышались многочисленные штабеля новехоньких шпал. Потом и к дому Тихана подвезли стройматериалы для оборудования стандартного железнодорожного переезда, а прямо на крыжовничьи кусты свалили две огромные кучи камня, чтобы было чем замостить участок грунтовки на переезде. Тихану поручили все эти богатства охранять. Только куда ему было справиться с хозяйственным поселковым людом. Шпалы слизывало в две-три ночи, а пока Тихан выслеживал налетчиков, мотаясь по всему участку вдоль железки, скоммуниздили и ценности, складированные у будущего переезда. Даже каменные кучи стали заметно меньше.

Тихан стал трезвонить во все доступные ему колокола. Он орал в телефонную трубку, брызгая слюной и матом, и не только по железнодорожной связи, но и с поселкового переговорного пункта, где все посетители разом замолкали, наслаждаясь смачной руганью. Отдышавшись от очередного телефонного разговора, Тихан там же сворачивал за угол и уже на почте отправлял куда-то кучу писем, щедро наклеивая марки, превращающие его тревогу в тревоги ценные и заказные.

Начальство не реагировало. Не появлялись ни пронырливые следователи, ни военизированная охрана, ни какие-нибудь письма в ответ. Единственной реакцией на вопли Тихана можно было считать регулярно тарахтящие дрезины с новыми партиями шпал, которые снова так же благополучно испарялись.

Потом Тихан обнаружил в поселке у начальника станции ладный гараж, сложенный из его шпал (почему-то он считал их своими), а у дочки начальника — кассирши на той же станции — за невысоким забором неспешно возводился целый жилой сруб. Из ровных и крепких шпал возводить дома и хо-

зыйственные постройки, конечно, куда быстрее и сподручней, чем из обычного леса, но шпалы же — просмоленные. Тихан искренне недоумевал. Положим, сруб из просмоленных шпал — практически вечен, но как избавиться от вечного же неистребимого запаха?..

Но все эти тонкости никого не беспокоили, кроме самого обходчика.

Тихан стал совсем невменяемым. Он подозревал почтальонов и с ними вместе всех почтовых работников в заговоре. Потом к почтальонам пришлось добавить местного участкового Александра Ивановича с председателем поселкового совета. Скоро в заговорщики попала и вся белорусская дорога со своей железнодорожной милицией. Но в Советском Союзе было очень много руководящих ответственных работников, и Тихан продолжал писать и вопить в поисках кого-то, кто бы не участвовал в заговоре против него и безопасности доверенного ему участка железнодорожной магистрали.

Казалось, что с обходчика даже сползло его слегка поношенное, но симпатичное и хитрованское, никогда не унывающее лицо. Его пытались образумить, но на все «Наплюй!» он только побуркивал под нос постоянное свое: «Как-то будет...» (на самом деле бурчал он на местном наречии куда более точное: «Неяк будзе...»).

К концу осени его сторонились практически все, а потом Тихан запил. И не так, как принято в поселке, а без песен, жалоб, драк, попрошайничества, извинений, юродства, без слюны на подбородке, без битья, что под руку, без веселья и заплетающихся заверений невесть в чем — Тихан запил добросовестно, сурово и страшно...

Малолетняя дочка его выхаживала как умела. Наверное, и сквозь пьяное беспомыслие до него домогся ее тихий плач, и Тихан возвратился с запоя — правда, чуть пришибленным. А весной он снова копошился по хозяйству и службе.

Освободил придавленные булыжниками кусты, а сами камни перетасил на уже зазеленевшие травяные откосы вдоль

железнодорожного полотна. Скоро на этих склонах пассажиры курьерских поездов и машинисты бесконечных товарняков читали каменные надписи: «Миру — мир», «Счастливого пути!» и «Урл!». Тихан поленился домостить булыжную перекладину в букве «а», и издали это недоделанное «а» более походило на «л».

Письмена были корявые, но невообразимых размеров, и сколько бы лет спустя я ни уезжал на поезде из Богушевска, — всегда ясно читалось Тиханово мне напутствие: “Миру — мир и счастливого пути, урл”...

После такого наглого разбазаривания ценных камней железнодорожное начальство решило убрать Тихана с глаз долой и отправило его сторожить лесную базу отдыха железнодорожников — километра в семи от поселка. Там Тихан и жил с дочкой, привозя ее в школу и забирая назад на казенной телеге или саних под сопровождение непрерывного ласкового понукивания ленивой казенной лошади...

Потом с той базы Нина переехала хозяйкой в Мешков дом, а Тихан переезжать отказался и остался дальше стариться в сторожах.

Вот на эту базу вчера и прикатило двое бычков на черном задастом автомобиле. Они вылезли, неотличимые друг от друга, и привычно зашарили глазами вокруг в поисках какой-нибудь поживы. Только какая там пожива! Дощатые будочки, которые раньше громко именовались личными домиками, а сейчас и того громче — коттеджами, с ходу хоронили все алчные надежды. Бычки долго разглядывали и читали облупленный плакат, призывавший беречь бобров и не беспокоить их почем зря.

— А что, старый, бобры и вправду есть? — спросил один у Тихана, выползшего глянуть на диковинных гостей.

— А как же ж... Знамо дело — есть, — охотно откликнулся Тихан.

Отдыхающие чугуночники, собравшиеся вокруг от скуки праздности, загомонили, подтверждая Тихановы слова.

— А как бы нам на их посмотреть? — продолжал допытывать приезжий.

— А вам, хлопцы, зачем? — заводил беседу Тихан. — Вон же сказано — не беспокоить.

— Зачем-зачем?.. На воротник — вот зачем.

— А-а, — разочарованно протянул Тихан. — А я и не подумал...

Под согласные одобрения железнодорожников он подробно рассказал гостям, как добраться к бобровым хаткам...

Только к самой ночи измокшие и напуганные гастролеры сумели выбраться из кружений в топких болотах и доковылять до базы. Отдыхающий народ терпеливо и улыбочиво их дожидался.

— Ты, старый хрыч, утопить нас хотел? — заорали парни, подрагивая голосами не то от ярости, не то от пережитого ужаса.

— Не, хлопчики, — не согласился старик. — Хотел бы — потопил бы... Энто болотце — не гиблое, в нем не потопить... И вот что я вам скажу, хлопчики: сядайте в свой броневик и чешите отседава...

Вот тут по нему и выстрелили. Тихан так удивился, что и не упал сразу, а чуток постоял, пробуя что-то сказать. По нему стрельнули еще и еще.... А потом и по остальным, обомлевшим в столбняк от увиденного. Только один путеец словчился отползти с легкой раной и укрыться под лодкой на берегу озера — он и принес в поселок дикую весть...

— Что ж вы за люди такие? — бессмысленно вопрошал Мешок.

— Жизнь такая...

— Да ты же ее такую и делал... И сделал... Знаешь что? Давай мне обратно мою тетрадку...

Сергея рад был избавиться от давнего поручения. Конечно же он не верил Мешковым выдумкам ни на грош — он просто хотел на сколько можно освободиться и пожить спокойно без постоянно горбатившего груза обязанностей и долгов сидельцам, братве, самому Богу и даже — Мешку... Совсем-то Серегин груз не сбросить, но — насколько можно...

— Правильно, Мешок, — согласился Серега. — Лучше тебя никто эту ношу не потянет.

— Как же мне быть? — почти причитал Мешок. — Только-только все наладил... Нина... дети...

— Попроси Тимку, — посоветовал Серега...

А через много лет, когда пришлось и Тимку турнуть, Мешок снова пришел к Сереге за советом, и тот посоветовал меня. Тогда Тимка меня и вызвонил...

И вот я брожу по своему родному поселку, поджидая Мешка с работы, и не могу ни на что решиться.

Открыть Мешку глаза на его очевидную болезнь?..

Или притвориться согласным и подменить его в этом придуманном им служении, чтобы успокоить друга и дать ему возможность счастливо жить дальше?

Или поверить в Мешковы выдумки и взять на себя его невероятную ношу?

Эпилог

Я вышел за поселок в лес, знакомый до последней иголки, и направился к одной из наших любимых укромков — к маленькому чистому озерцу, прозванному Лесной Глаз. Добираться туда недалеко, но через самую чащобу, круто обрывающуюся в болотце, топким краем которого и следовало пропетлять. Внезапно через пару сотен метров лес кончился. Впереди, сколько доставал глаз, торчали пеньки и сваленные на них беспорядочные кучи мусора. Я даже не остолбенел, я с ходу обессилел почти в обморок и осел под последним перед свалкой деревом еще одной охапкой никому не нужного тряпья в придачу к мусорным кучам перед глазами...

В нашем детстве никаких свалок не существовало. Что горело — сжигалось по дворам, что могло когда-нибудь перегнить вместе с землей — в землю же и закапывалось, что-то сдавалось в металлолом, в макулатуру, в утиль, а других отходов и не было. Вещи не выбрасывались, потому хотя бы, что и само слово “вещь” определяло не какой-то бытовой предмет хозяйственно-го обустройства, а качество этого предмета — вот они и приобретались того необходимого качества, чтобы послужить и детям и внукам — дал бы только Бог детей и внуков и спокойную жизнь для них без войны и прочих всенародных подвигов.

В то время, например, в поселке жил еще старый еврей-краснодеревщик Овсицер, который строил буфеты. Его уди-

вительные архитектурные сооружения вынести из дому было невозможно — только разобрав на части, потому что и строились они прямо в дому. Это был даже не буфет — это был собор, терем, хитроумный дворец, похожий общим обликом на прежние его творения и уникальный индивидуальным содержанием полок, ящичков и тайников. Это была — вещь! Такой буфет да и все остальные приобретаемые вещи становились привычной и вечной частью жизни, как и сам дом, или небо над ним, или леса вокруг него.

И вот оказывается, что даже и леса — не вечны. Я посмотрел на небо — если там что-то и было вечное, то одно лишь вечное равнодушие...

Через свалку я поплелся к Лесному Глазу. Болотце, некогда охранявшее его, иссохло в тоске, а сам Лесной Глаз был прочно затянут отвратным бельмом толстой зеленой корки. Вот и все, что осталось от оглушающей красоты этих очарованных мест.

А я ведь не просто жил в тех местах — я жил ими. Я гордился ими, как гордятся собственным богатством или личными достижениями. Я хвалился этим богатством перед друзьями, которыми щедро одаривала меня судьба, и каждого из них тащил сюда — полюбоваться сказочной красотой. Не знаю, запоминали они или нет эти деревья и озера, но деревья — точно запоминали их всех и никогда не позволяли забыть мне. И я никого не забыл, сберегая их главными удачами своей жизни, а вернее всего — сберегая этим саму свою жизнь, потому что невозможно отрубить от нее ни одну из ее душевных привязанностей, иначе как ампутировав вместе с частью души и собственной жизни, постепенно превращаясь в обгрызенный охмырок — в ничто. Я никого не забуду и проживу с ними до конца — и с теми, кто также сохранил меня в своей жизни или хотя бы в памяти, и с теми, кто вычеркнул — в гневе или в разочаровании или потеряв да и позабыв в толкотне наших долгих лет. Раньше их помнил не только я, но и деревья в моих лесах, а сейчас уже и от тех деревьев — только мои воспоминания.

А как же мне открыть невероятную красоту земли моего детства немногочисленным друзьям моих последних лет, никогда не бывавшим здесь? Даже и притащив их сюда, мне нечего им показать, кроме сухих пеньков и мусорных куч. Можно, конечно, написать книгу и перенести в нее из памяти все мои погубленные леса, но это дело хлопотное и глупое, хотя бы потому, что нынешнее время совершенно не располагает к чтению книг...

У этого бельмастого и уже не лесного глаза Мешок меня и нашел — то ли с подсказки кого-то из соседей, сопровождавших весь мой путь по поселку сердечными приветствиями (“Напэуна не сахар у вас в Израйле — иньш бы к нам не вяртауся...”), то ли своим непостижимым чутьем.

— Мешок, а ты еще книги читаешь?

Мы шли обратно к узкой лесополосе, скрывавшей с глаз поселчан ими же устроенную себе под боком свалку. Мешок отпросился с работы для продолжения своего важного разговора, и мой вопрос совсем из другой оперы его огорошил.

— Или, может быть, сам тайком пишешь? — не отставал я.

— Куды мне? — отмахнулся Мешок, но на чуток вытряхнулся из своего навязчивого бреда и улыбнулся. — Книги писать — это ж какую смелость надо иметь! Или — глупость... Напишешь что-нибудь, а жизнь все это тебе же и возвернет по лбу...

— Странные у тебя суеверия.

— Какие же это суеверия? Так жизнь и устроена — крутит себе сюжеты, прописанные в книгах... крутит да обкатывает. — Мешок увлекся и взялся объяснить мне свои важные ему понимания: — Жизнь навроде калейдоскопа: показывает нам красочные узоры, и на первый взгляд все они разные, но для их создания всего-то и надо несколько ярких стекляшек из книжных сюжетов. А писатели в свой черед крутят своими фантазиями свой калейдоскоп, где цветными стекляшками извечные сюжеты гениальных книг накручивают

свои узоры. Вот за этот их калейдоскоп, как шестеренка, цепляется жизненная круговерть и раскручивает нам всю нашу жизнь... А зачем все новые и новые писатели пишут новые книги? И не поймешь. То ли и правда от глупости, то ли от оставшегося навек детского любопытства, с которым они раньше смотрели те узоры в обычном калейдоскопе, а сейчас — сами их расцвечивают у себя в книгах... А может, кто-нибудь мечтает и свою красочную стекляшку добавить в этот хитрый калейдоскоп еще одним вечным сюжетом, но такое под силу только гениям...

— Мешок, ну и каша у тебя в бóшке!.. Ты или смеешься надо мной, или вправду болен... — Я поперхнулся, проговорившись про свои опасения... — В смысле — нездоров...

— А ты полагаешь, что все это как-то иначе устроено?

— Да не полагаю, а знаю. Конечно — иначе. Есть реальная жизнь, а есть это... — Я неопределенно покрутил пальцами. — Назови как угодно — ноосфера, мир воображения... Можно по-современному — виртуальный мир... Все это связано с реальностью, но совсем наоборот.

Мы сидели в лесополосе под осиротевшими деревьями, и расстроенный Мешок глядел куда-то поверх моей головы.

— Оглянись же вокруг, — продолжал наседать я, предполагая, что этой случайной темой будет удобней и правильной открыть глаза другу на его... ну если и не болезнь, то странности. — Мешок, дорогой мой, не повторяет жизнь книжных сюжетов — даже твоих любимых. Нету в жизни ни Одиссея, ни Ильи-пророка, ни угодного Богу страдальца Иова — нету... Кто там у тебя еще из главных? Эдип? Ромео с Джульеттой? Прометей? Их тоже нету... Ни Орфея с Эвридикой, ни Сирано, ни Пигмалиона с Галатеей — ничего этого нету... Если бы я не боялся тебя огорчить, я бы сказал, что и Бога твоего — тоже нету.

— Это в тебе говорит дух противоречия, — отмахнулся от меня Мешок и, посмеиваясь, предупредил: — А дух противоречия чаще всего говорит устами дьявола.

— И дьявола нет, — не уступал я.

— Интересное дело — что же это у вас, чего нихватишься — ничего нет...

От неожиданности я онемел, а Мешок, похмыкивая, любовался моим замешательством.

— Ладно — поймал. — Я засмеялся. — Но это не жизнь прокрутила краешек книжного сюжета, это ты сам — подкрутил... подстроил.

— Так я же тебя за язык не тянул.

— Ты вообще мог эту цитату всунуть в любом месте нашего спора. И что она доказывает? Твои фантазии? Ровным счетом ничего... Но это ладно, это у тебя — безобидные фантазии, а твои фантазии по поводу Божьего служения... — Я увильнул глазами от внимательного взгляда Мешка. — Пойми, дорогой мой, я бы мог притвориться — взять твою тетрадку и даже что-то в ней записывать, но все это может зайти совсем далеко. Ты сам себя загоняешь в... болезнь... Нету никакого служения. Не было никакого посланника... Помнишь, в пятом классе мы по первой теплыни бузовали в Воронцовом бору? Помнишь, мы там попробовались моего лекарства?

В начале пятого класса меня придушила астма. Спасался я таблетками теофедрина и травой “Астматол”, пачками которого была заставлена вся витрина местной аптеки — здоровенные пачки, размером в половину пакета, в каких нынче продается вино, стоили какие-то смешные копейки. Теофедрин я глотал таблеток по пять-шесть в день, совершенно не предполагая, что через много лет его обвинят в содержании наркотических веществ, максимально затруднив мне любое его приобретение, и потом вовсе запретят к производству, а траву “Астматол” — курил, вызывая острую зависть всех вокруг сверстников, которым не повезло обзавестись такой же уникальной хворобой.

Знать бы в ту пору, каких успехов добьется здравоохранение по защите меня от моих облегчающих астматическое удушье препаратов, я бы закупил тех астматольных пачек на всю оставшуюся жизнь, потому что наполнены они были чистой коноплей.

Вот этим “Астматолом” мы и накурились в хлам теплым весенним днем под сопровождение необыкновенно мелодичного звона сосновых стволов, прогреваемых робким еще солнцем. А потом догнались теофедрином и подкурили опять...

— Помнишь, как нас торкнуло тем “Астматолом”? — продолжал я лечить Мешка. — Вот с него у нас и пошли глюки... И у тебя тоже... А в твоих глюках тебе и померещился Божий посланник, но на самом деле это был я — мне стукнуло в голову тебя там разыграть. — Я покосился на Мешка, не зная, как тототреагирует на открывшуюся ему правду.

— Вядомае дело — ты, — спокойно признал Мешок. — Ты что думал, что я тебя не узнаю? Я сразу понял, что именно через тебя было решено передать мне это поручение. А как еще, по-твоему, могли мне его передать? Явлением архангела в громе и свете? Да всех, кто только б увидел это явление, тут же отправили бы на дурку до скончания дней. На земле происходят только те события, которые сами люди и представляют возможными. Сильными желаниями мы можем менять их более вероятную череду и вызвать вперед событие очень маловероятное, изменяя этим много-много следствий, в которых (или в одном из которых) и будет исполняться наше желание. Но никто — пусть даже самый могущественный из таких вот Божьих служителей — не может вызвать совсем невероятное событие... Мы сами сделали таким этот Божий мир — так мы его представляем, и такой он у нас получается...

— Ну ты непрошибаемый, — развел я руками. — Пойми, Мешок: ничего я не передавал — я дурачился, чтобы разыграть тебя.

— И ты, торкнутый дурью почти до беспамятства, ты смог внятно мне объяснить, как человек своими желаниями должен менять мир? В том нашем козявочном возрасте и в таком же разуме ты говорил про добро и справедливость? Про то, что никогда и ничего — для себя и под себя? Ты все это там, в бору, понимал? Да ты этого и сейчас понимать не хочешь, а уж тогда... — Мешок махнул рукой. — Просвети себя честно и дотумкаешь, что это Бог говорил со мной через тебя... Может, потому, что ты один был — с избранного народа, а может, и потому, что Тимке, например, я бы точно не поверил, а Сереге в голову бы не пришло такое изображать, и хоть проси его сам Бог — Серега и ему бы все наперекор... В общем, кроме как через тебя — и никак... Вот к тебе теперь все и вернулось.

— Мешок, а ведь твое сумасшествие уже пугает...

— А ты не пугайся — ты подумай... Допусти хотя бы мою правоту в виде гипотезы, и все в твоём мире станет на свои места... Ну согласишься, что не мог ты там все это своей головой придумать...

— А ты все это там своей головой сразу же и просек? — разозлился я. — Просек и попер переделывать мир?..

— Просек не сразу. — Мешок говорил тихо-тихо. — Долго думал... вспоминал... проверял...

— Тогда получается, что вот эту всю срань на месте прежней нашей красоты, — я махнул головой на свалку, — уже ты сам напридумывал... своей умной головой... У самого-то за домашней оградой все цветет, как в райском саду, а отойди подальше — и нате вам...

— В этом, — бледный Мешок кивнул на мусорные залежи, — ты прав: это одна моя вина... Если живешь не по-правильному, то все мусором и получается... А когда тебе еще дана и сила на правильное, а ты все равно... — Мешок развел дрожащими руками. — Ведь знал, что нельзя ничего для себя хотеть и просить, а просил... вымаливал... И за детишек, и за Нину, за бабу, за Серегу с Тимкой, за те... В общем, не понимал и сейчас не понимаю, как можно не попробовать отомолить,

если беда вдруг... А нельзя... Чувствую, что в этом какой-то главный смысл — ничего не просить для себя, иначе, даже и вырастив свой роскошный сад, вырастишь и гиблую поруху за его оградой... Может быть, и сам Бог не должен ничего — для себя. Наверное, поэтому Он и не мог спасти Своего Сына... А мы...

На какое-то неудержимое мгновение все изменилось. Может, ветер шевельнул ветвями вверх и солнце по-другому осветило прислонившегося к дереву Мешка, или мой на него взгляд изменил направление, и я краткой вспышкой увидел, что он вовсе не болен, а просто придавлен свалившейся на него тяжелой ношей, и ноша эта не выдумана им, а самая что ни на есть реальная, потому что мир так и устроен, как это видит Мешок... Я снова взглянул на него, но все уже было по-прежнему. Я покрутился, пытаюсь повторить тот свой взгляд и наново увидеть им все вокруг, однако ничего не получалось...

Давным-давно в моих детских болезнях матушка всегда перебиралась на мою кушетку, а меня устраивала хворать на своей кровати под огромным — до потолка — ворсистым ковром, в центре которого на темном фоне полыхали красно-желтым костром жирные розы, и они же петляли по краю ковра в запутанном сплошном орнаменте. Если с правильной позиции внимательно присмотреться в те узоры, то можно было в них найти спрятавшихся за цветочными зарослями мушкетеров, и притаившегося в засаде длинноносого Рошфора, и высокомерного Ришилье в красной кардинальской ермолке. Беда в том, что сами мушкетеры своих заклятых врагов не замечали. Сейчас на свету никакая особая опасность им не грозила, но в темени ночи, когда я опять буду раздавлен удущем, так что не смогу ни крикнуть им туда, ни даже слова вымолвить, — тогда их могут застать врасплох.

— Они же будут беззащитными, — объяснял я друзьям, пришедшим меня навестить. — Атос вон — даже и не одет...

— Не бойсь, — успокаивал Серега, — они и голые все равно всегда со шпагами. Отобьются...

— А че это они в кусты залезли? — спрашивал Тимка, уплетая пирожки, которые Клавдяванна отправила мне гостинцем. — Ты присмотришь-ка — кто там еще с ними в кустах?

— Ничего не вижу, — расстраивался Мешок, ерзая на стуле и пытаясь увидеть то, что так ясно видел я...

— Ты что — ногу отсидел? — Мешок с недоумением наблюдал, как я ерзаю в поисках секундно мелькнувшего ракурса. — Ладно, пойдем ко двору... После договорим.

— Мешок, а что бы ты попросил для себя? — Я поймал его удивленный взгляд и пояснил: — Если бы можно было... Но — для себя лично. Не для Нины и не для детей — только себе... Чего ты хочешь себе?

— Наверное, стать умнее... — отозвался Мешок после долгой паузы. — Очень много на свете всего, что хотелось бы понимать: клетка, геном, пульсары — умучишься перечислять... Был бы умней — тогда бы успел еще много в чем разобраться...

Никого больше не знаю, кто хотел бы стать умнее. Богаче, здоровей, больше, выше, сильнее — в чем только не ощущают люди нехватку, но ума хватает каждому.

— А ведь тебе сколько ни дай — ты еще попросишь, — засмеялся я. — Помнишь, ты уже как-то просил?

Елизавета Лукинична не отпустила наш четвертый класс после уроков, а наново усадила за парты и объявила, что сейчас с нами произойдет важное политическое мероприятие.

— Наш дорогой Никита Сергеевич, — громко и торжественно затрубила Елизавета Лукинична, вытягиваясь над всеми нами в “смирно” с каждым новым словом, — который делает вашу жизнь такой счастливой, несмотря на то что ваши

сверстники в странах капитала стонут под игом, сделал вам драгоценный подарок...

Мы, естественно, растопырили уши.

— Всем вам без разбору на хулиганов и двоечников дадено разрешение написать благодарное письмо лично дорогому Никите Сергеевичу и ото всего сердца сказать ему свое “спасибо” за все, что он исделал для вас вместе с родной коммунистической партией. Берите тетрадки и пишите свое “спасибо” и свои сердечные пожелания нашему дорогому Никите Сергеевичу, а мы на педсовете выберем лучшие письма и пошлем их в Москву, чтобы там их прочитали и сделали вашу и без того счастливую жизнь совсем радостной...

— А про лисапед можно написать? — спросил Тимка после некоторого времени усердного скрипения пером.

— Какой еще лисапед? — испугалась учительница. — Ты должен написать свое “спасибо”.

— Само собой, — согласился Тимка. — А после спасибо, когда буду писать добрые пожелания, можно написать, что у меня есть доброе пожелание получить лисапед, чтобы моя жизнь стала совсем радостная?

— Никита Сергеевич не может каждого балбеса обеспечить велосипедом, — возмутилась Елизавета Лукинична, — он день и ночь трудится, чтобы обеспечить вам счастливую жизнь, — это тебе понятно?

— Лисапед не может, а счастливую жизнь может? — недоверчиво переспросил Тимка. — А если у меня не может быть счастливой жизни без лисапеда, то как же он мне ее сделает?

— Он знает как, и это не твоего ума дело. У него для этого есть вся коммунистическая партия и все советское правительство, и можешь не сомневаться: они знают, что для тебя сделать.

— Так если они и сами все знают, чего мне писать им свои пожелания?

— Писать надо не эти твои лисапедные желания, а другие... Дети, внимание! — захлопала в ладоши Елизавета Лукинич-

на. — После своего “спасибо” надо писать пожелания здоровья и долгих лет жизни нашему дорогому Никите Сергеевичу и всем людям доброй воли.

— А чтобы мир во всем мире, можно? — спросила вечная подлиза Борисенко с первой парты.

— Про это можно, — разрешила учительница.

Тимка вырвал из тетрадки листок с незаконченным письмом, и мы вслед за ним вырвали свои.

— Ты о чем писал Хрущу? — спросил Тимка Мешка, когда нас наконец отпустили.

— Чтобы все люди были умными и я тоже, — смущаясь, признался Мешок.

— Это не к нему, — махнул рукой Тимка. — Он даже лисапеда не может...

Мешок весело смеялся, вспоминая ту давнюю историю.

— А помнишь, что еще Тимка там написал, кроме велосипеда? — спросил он у меня. — Чтобы вернулись доисторические времена и все могли ходить голыми, а не тратиться на одежду...

— А Серега так и не признался.

— Так и ты не признался... Сейчас не помнишь?

— Помню... До сих пор стыдно... Я там написал, чтобы все люди были евреями и не было на земле ни белорусов, ни кого еще...

Мы уже подходили к дому, и Мешок приобнял меня, придерживая у калитки и возвращая в свои мучения.

— Знаешь, а совсем не обязательно, чтобы ты верил, — сообщил он вывод, к которому пришел, беспрестанно перебирая возможности выхода из нынешнего своего тупика. — Но ты сам по себе хочешь ведь, чтобы все было справедливо? Вот и попробуй... Придумай, как это — чтобы будущее было справедливо? Что должно быть? Не просто пожелания — хочу, мол, добра и справедливости, а конкретно. Хотя бы попы-

таться сформулировать, что должно для этого произойти... Разве не интересно?

— Пожалуй...

— Так попробуешь?.. Придумай, запиши и посмотри, как откликнется... Ничего больше... Только ты же помнишь? — предупредил он. — Ничего для себя...

Я так и не уследил, как ловко он меня окрутил. Повеселевший Мешок, радостно похохатывая, вел меня к крыльцу, где нас уже дожидалась его хозяйка...

Хорошенькое дело — подумать, каким должно быть будущее... Не помню, чтобы я вообще всерьез думал об этом. Не трепался в легкой беседе, а именно — думал и, напрягая все силы души, пытался высмотреть что-то в мутном застеколье времени... Правда, в детском и потому в более восторженном состоянии сознания мы довольно настойчиво пытались заглянуть в будущее, которое было таким прекрасным, что даже от одного только подглядывания туда мы жмурились в ослепительном счастье.

Надо сказать, что обычное счастье, в отличие от ослепительного, со мной было всегда, сколько я себя помнил. Никогда не умолкающие радиоточки в домах и два уличных репродуктора, хрипящих и посвистывающих над всем поселком от ранних шестичасовых гудочков и до ночного гимна, убедительно доказывали мне, что уже с рождения я отхватил счастливый билет, появившись на свет в самой справедливой стране, а не каким-нибудь негром на обратной стороне земли в американском аду, где бы меня каждый день линчевали почем зря. А уже с четырех лет, когда я научился читать большебуквенные книги, я был счастлив еще и потому, что не родился в царской России, где жадные мамы пересчитывали даже сливы на столе. В общем, я вполне осознавал, как мне повезло, и, получая сверху от недопонятливых взрослых какое-нибудь очередное горе-горькое, я тут же вспоминал про свое счастье, и

это меня примирило с жизнью и частично с населяющим ее взрослым людом.

Правда, некоторым пацанам еще больше повезло родиться в самой Москве, где счастье и вообще было сказочным, хотя бы потому, что те же радиоточки с репродукторами буквально каждый день сообщали о каких-то приемах в Кремле и делегациях, которым московские пионеры постоянно преподносили живые цветы. Из поглощаемых мною сборников сказок я точно знал о существовании живой и мертвой воды и сразу же сообразил, что живые цветы обладают теми же свойствами, что и живая вода, и, оказывается, у московских пионеров этих живых цветов навалом. Может, они даже сами их и выращивают.

Я представлял, как раздобуду семена этих живительных цветов и засажу ими всю клумбу под окнами вместо матушкиных тюльпанов, на которые все соседи все равно смотрят неодобрительно, всячески намекая, что на месте этого баловства можно вырастить целое ведро картошки (а то и два). Но когда вырастут мои цветы, никто из них уже не будет хмыкать и обзывать цветочную клумбу с жиру бешеной, а все будут совсем наоборот — смотреть и облизываться. И я никому-никому этих цветов не пожалею, даже дяде Грише, который предельно крутит уши за то, что я будто бы ворую у него в саду яблоки и топчу его грядки, хотя яблоки у нас растут свои, а грядки я ничуть даже не потоптал, а очень аккуратно прошмыгнул к яблоне по дорожкам.

Оставалось найти таинственные семена. Я придумывал хитроумные планы похищения какого-нибудь московского пионера, который выдаст мне тайну живых цветов. Например, еду я в поезде в Витебск...

А как я попаду в поезд? Допустим, матушка решила устроить мне праздник на день рождения... В общем, еду, а там этот пионер, ну, я его заманиваю в гости и уже там... Правда, пионер может оказаться из кибальчишей и мне нипочем не дознаться до его тайны, но лучше я буду думать, что мне

повезет, а пионером окажется обыкновенный плохиш, и тогда — дело в шляпе. Всего-то и расходов, что на печенье и варенье. Стоп. Где же я возьму столько печенья, когда его, как правило, вообще и в помине нету? Может, он согласится на одно варенье? Варенье матушка варит такое, что вполне согласится.

Две осени подряд я бесконечной нудой устраивал грандиозные заготовки варенья на зиму. Варенье тоже было баловством, потому что сахара и на самогонку не хватало, но в моем доме самогона не гнали, и поздней осенью матушка соглашалась извести весь сахар на варенье. В подполе пыльными рядами стояли приготовленные на обмен запасы, которые я удовлетворенно пересчитывал, тайно страдая каждой открываемой без толку банкой. Хотя что значит одна банка в моих планах? Тем более что я не просто уплетал это варенье — я проверял, насколько оно способно соблазнить загадочного московского пионера. И каждый день я чутко вслушивался в официальные новости из радиоточки, убеждаясь, что живые цветы еще не перевелись и их по-прежнему бездарно разбазабливают на каждом кремлевском торжестве.

Только восьмиклассником я добился, чтобы нормальное состояние репродуктора в родимом доме было выключенным. К тому времени уже напрочь испарилось прежнее ощущение постоянного счастья жить и родиться на бескрайних просторах нашей великой Родины. Не знаю, было ли онемевшее радио причиной этой утраты или ее следствием. Может, я попросту поумнел, хотя многого ли стоит ум, которым понимаешь, что попадись тебе сейчас те живые цветы, распорядился бы ты ими не с восхитительной щедростью, как распланировал невесть когда, а скаречно и втихую.

А в самом начале четвертого класса мы буквально обалдели от ослепительного счастья, караулящего нас в будущем. Все слова, которые говорились в микрофоны страны, и все буквы,

которые рисовались на плакатах и транспарантах, наперебой орали, что именно мы с Тимкой, Серегой и Мешком будем жить при коммунизме. А там только чего захоти — и все люди, сколько их есть, будут по мере своих способностей исполнять эти твои хотения. Мы пытались представить эту сказку в деталях, всячески наседая на Серегу, который, будучи сыном партийного начальника при районе, должен был отдуваться за весь нерушимый блок коммунистов и беспартийных.

— Все просто, — объяснял Серега. — Денег не надо — приходи в магазин и бери что хочешь.

— А по сколько штук можно брать? — допытывался Тимоха.

— По сколько хочешь.

— Хоть сто штук?

— Хоть и двести.

— Здорово будет, — возмечтал Тимка. — Враз можно разбогатеть.

— Ясное дело, — согласился Серега. — Любой сможет разбогатеть.

— А я разбогатею больше любого, — не уступал Тимка.

— Как это? — поинтересовался Серега.

— Я первым делом заберу себе все велосипеды из всех магазинов, и всякий, кто захочет велосипед, — придет ко мне. Ну, я и начну их продавать...

— Так денег не будет, — напомнил Серега.

— Да-а — проблема... Ладно, мне будут платить чем-нибудь другим — кого чем заставляю...

— Кто же тебе будет платить, если любой сможет пойти в магазин и взять себе велосипед?

— Так я все еще раньше заберу.

— Их снова сделают.

— А я и эти заберу.

— А их опять сделают.

— Но забирать же быстрее, чем делать... Если все время будут делать, так все на свете рабочие только и будут что

делать для меня велосипеды, и кто же тогда будет делать все остальное?

Мы задумались. Что-то не складывалось в обещанном нам коммунистическом изобилии.

— Не знаю, — вынужден был признать Серега. — Но как-то будет. Там же, в Кремле, не идиоты сидят.

— А если идиоты? — не отставал Тимка, чей велосипедный рай, кажется, снова уплывал из такой близкой мечты невесть куда...

Но ничего другого не оставалось, как только ждать, когда пройдут обещанные двадцать лет, и уже там вольготно зажить при коммунизме и велосипеде, пусть даже и не удастся сгрести под себя все остальные велосипеды в стране. Мы гордо поглядывали на пожилых учителей и других сильно взрослых, которым никак не дожить до оглушительного коммунистического счастья. Некоторых жалели, а кого-то, как, например, бабу Мешка, так и сильно жалели, тем более что она сама, наверное, страшно нам завидовала и глядела на нас чуть ли не со слезой.

— Ешьте-ешьте, — подкладывала нам пирожки Клавдяванна. — Вот и за вас узялись... Памятаю, как социализм объявили — такое горе навалилось, что и слез не напасешься для усамина... И вась на табе: горе зышло, а бяда не минула — аж-но сам коммунизм абяцають... Это ж каку бяду на вас заготовили?.. А что зробишь? Мне-то добра — я помру, а вам только трыматься... Чакать и трыматься... Гореваки вы мои — нияких слез не напасешься...

Я сидел в маленькой комнатушке, отгороженной Мешком для Клавдиванны, где она и померла — спокойно и тихо, как всегда и хотела (“Жыщце маё нонча добрае и станет еще лепш, когда тихо спыницца”). Потрепанная шивка тонких ученических тетрадок лежала рядом на маленьком столике. Похоже, что мне придется на некоторое время ее взять — ничем другим помочь старому другу я не придумал.

Я бездумно перелистывал страницы и злился на себя, потому что ни в чем не сумел убедить Мешка, а следом и на Мешка — за то же самое.

Ну вот — хоть плачь, хоть смейся. Оказывается, перед прекращением Афганской войны Мешок отменил цензуру, чтобы все могли читать и писать, что только душе угодно. Оставалось еще узнать, что мой друг по ночам инспектирует звезды и приводит их в должный порядок. Ему в те годы лучше бы озаботиться прекращением психиатрических репрессий или хотя бы их законным регулированием. Ага, вот и оно. Теперь понятно, почему он до сих пор не под врачебной опекой. Стоп, что я несу? Если я верю, что он увернулся от психиатров этим своим пожеланием, то получается...

Однако нельзя не признать, что мой Мешок формулировал на редкость точные и конкретные пожелания для более справедливого будущего. И формулировал их в очень удачное время, если только не мухлевал с датами... Впрочем, подобное — совсем не в Мешковом духе. Но как классно этот куркуль устроился — подправлять уродства жизни старательными буквами в своей хате... сбоку... Нет, я несправедлив к Мешку. Наверное, из злости, что не увернулся от его просьбы?.. В этой своей хате его все годы холодило сквозняком неуют и тревоги за неустроенный мир, а это уже — не сбоку... Интересно, какие тревоги мучили Серегу...

Я пролистнул страницы, заполненные Мешком, и застрял на бисерных и почти нераспознаваемых Серегиных строках. Что-то о кооперативах и “общаке”, о понятиях, новобранцах — мутота... А вот это уже — другая песня: “Витебские десантники не должны вылететь в Москву”... С чего бы это Серегину жизнь застила прославленная Витебская десантура?.. А когда это он, интересно, озаботился военными делами?.. Господи, это не он озаботился — это я озаботился, а из-за меня...

Я сидел в своем родном доме и, ни на что не отвлекаясь, стучал на пишущей машинке, спеша завершить давно начатый рассказ. Уже с год, как я отправил матушку в Израиль и все еще не выполнил ее поручение по продаже дома, чтобы ее внук (и мой сын) мог себе купить какое-нибудь жилье в Витебске. Для этого, собственно, я и приехал в Богушевск...

— Ну и як тама у вас в Израїле? — вместо приветствия полюбопытствовал из-за изгороди сосед, когда я рано утром отпирал остывший без людского дыхания дом.

— Я не был в Израиле, — откликнулся я не особо приветливо.

— Сбэг?.. Отсюдова сбэг, оттудова тоже — сбэг... Я давно примечаю, что вашей нации усюды нятульна — вот вам на адным месте и не сядится... Хотя, вядомая справа, средь вас таксама сустракаюцца добрыя люди, — вежливо и справедливо рассудил сосед.

— Среди вас тоже встречаются, — как можно вежливей откликнулся я.

— Можя, на бутылец сообразим? — обрадовался сосед достигнутому взаимопониманию.

— Нет, извини... С утра я не настолько добрый...

— Тады — до вечера?.. Правильна зробиу, что приехал...

Любо-дорого, как он меня разговорил — и бутылки не жалко...

До прихода Сереги я не разгибаясь сидел за машинкой и даже при его появлении не сразу встал, показав ему рукой, чтобы он подождал, а я — сейчас...

— Ладно-ладно — подожду, — согласился Серега. — Пиши-дописывай. Из всего мирного населения писатели — самый вредный народ, — сообщил он, усевшись верхом на стул напротив меня сразу после согласия подождать и не мешать. — Вреднее их могут быть только всякие народные артисты и

сладкоголосые певцы... Посмотришь с одной стороны — обыкновенные овцы, как и все вокруг, а посмотришь с другой — натуральные козлы.

— Певцы-то чем тебе помешали? — машинально спросил я.

— Если бы они только пели — это еще ничего, но они же взялись наставлять... Нашему человеку песня хором и после пьянки — естественная потребность, как, например, кулачная драка. Так народ отрезвляется для продолжения пьянки и застолья. Поэтому певцы и нужны, как нужны и полезны таблетки от несварения желудка или — от похмелья. И вдруг таблетка начинает учить тебя жить... Страшный сон...

— А писатели чем провинились? — Я уже отвлекся, понимая, что работать мне Серега не даст.

— Эти паучки носятся, сплетая своими враками расплзающуюся ткань жизни, жалко смотреть и хочется даже посочувствовать, но в итоге получается — хуже некуда... Всю ту тухлятину, которую сейчас стыдливо именуют застоем, ее готовят не в Кремле. Это блюдо нам всегда создают деятели культуры, и в первую голову — писатели...

— И какое же из искусств сегодня важнее всего? То, что по понятиям?

— Если на сегодня, то — балет, — вздохнул Серега и включил телевизор.

— Что же ты мне тут столько времени... все эти пустые ляля... — Я злился на Серегу и спешно собирался.

— Потому что так и думал — ты бросишься сломя голову на вокзал. Потом вспомнишь, что поезд теперь только под вечер, и рванешь попуткой в Витебск, чтобы успеть на дневной...

— Правильно думал.

— Конечно правильно. И сейчас у тебя есть время покурить и неспешно почесать репу — на дневной из Витебска уже не успеть...

— Ненавижу, когда кто-то вот так вот... за меня... манипулирует мной... — У меня даже пальцы дрожали и никак не могли уцепить сигарету из пачки.

— Прости... Я тоже такого не терплю... Мог бы попробовать оправдаться, что это я за тебя перетрухал, но — не важно... Ты прав — прости...

— Ладно — проехали... Выпьем по чуть-чуть?

— Знаешь, тебе бы не надо... Тебе — в дорогу, а там усиленные патрули... Лучше перебдеть... Давай чифирьку...

С запаренной кружкой мы вышли во двор. Низкая туча над нами прогибалась неотвратимым дождем. В бошку лезли панические мысли. Жизнь, вздернутая неожиданными надеждами, снова упиралась в каменные безысходные тупики.

— Тут я тебе кое-что приготовил, на всякий случай. — Серега передал мне мелко исписанный бумажный квадратик. — Заныкай — там адреса, где можно укрыться... Мало ли что... Если применят войска, то по моим прикидкам — завтра к вечеру...

— Откуда звон?

— Из телефона... Перезванивался тут... Расспрашивал... В Рубе объявлена тревога — готовятся к вылету на Москву. Вроде бы поутру и вылетят, и тогда — полный армагеддец...

В Витебском пригороде под названием Руба размещалась знаменитая десантная дивизия. Вернее, в Рубе был у нее специальный аэродром, а сама она — где только не размещалась!.. Витебляне заслуженно гордились своей десантурой, а витеблянки — еще более заслуженно, потому что с большим основанием могли считать ее своей.

Более всего наши десантники прославились в Афгане. Это они определили полный успех сложнейшей операции вторжения. Они первыми приземлились в аэропорту Баграма, нейтрализовали отборную гвардию президента Амина и обеспечили как приземление всего охренительного количества войск и техники ограниченного контингента, так и свержение президента, которому весь контингент будто бы шел на

помощь. Так, по крайней мере, командиры объясняли рядовым бойцам вторжения их благородную задачу.

— А почему же мы тогда этого Амина — того? — спрашивали наиболее тупые бойцы.

— А почему он, зараза, морду воротил от нашей помощи? — говорили в ответ бойцы не тупые, а совсем наоборот — полные отличники боевой и политической подготовки.

В общем, если бы не наши десантники, то вместо всех этих удач было бы у нас там одно только говно в складочку, как оно позже и было...

— Вот когда наша десантура пойдет гулять по Москве — ты на тех хатах и отсидишься, — напомнил Серега про свою маляву.

— Если бы что-то сделать, чтобы они вообще никуда не полетели, — мечтательно протянул я.

— Тебе хватит. — Серега забрал у меня кружку.

— А что?.. Нынче такой бардак везде, а сейчас так и выше крыши... Взорвать там у них что-нибудь на полосе... Или командира дивизии долбануть, чтобы его — в больницу, а не в Москву. — Я цеплял одну чушь в другую, лихорадочно придумывая, как можно бы и на самом деле тормознуть вылет десантников. — Если командира выбить из строя, то скорее всего — не взлетят. По крайней мере, завтра. А в таком деле и один день — очень много. За день столько всего может перемениться...

Серега внимательно смотрел на меня, а мне все более нравилась моя идея.

— Серега, помоги мне, а?.. Только узнай адрес этого командира и дай ствол... У тебя же есть ствол?

— И что ты сделаешь?

— Подкараулю его вечером у дома — он же придет с семьей попрощаться... Подкараулю и замочу... И завтра никуда они не полетят... Хорошее дело сделаем... Ты не веришь?..

— Почему — не верю? Ясный пень — хорошее... Убить человека — что может быть лучше?..

— Издеваешься?..

— Не без того... Но это не главное... Подожди меня и никуда не прыгай. Мне надо позвонить... — Серега обернулся из-за калитки и окликнул меня: — Знаешь, Мешок говорил, что скоро появятся такие маленькие телефончики, чтобы у каждого был при себе, и можно будет перезваниваться с любого места...

— Это он еще балет не смотрел, а если все у них по-лебединому станцуется, то мы будем не перезваниваться, а перестукиваться...

Серега появился минут через двадцать и скомандовал собираться.

— Куда едем?

— В Витебск — все как ты хотел... Вечером идем в гости — постарайся выглядеть подороже...

— Неужто к командиру?

— Нет — к замполиту.

— Тоже неплохо — и без него, наверное, не взлетят... Почему он тебя пригласил?

— Он не пригласил — он еще ничего не знает... Жена его пригласила.

— Ты знаком с женой замполита дивизии?

— Ты тоже знаком — это наша Галка...

— Постой-постой, та, что “свой парень”?

— А я и позабыл, что мы ее так называли... Зато помню, как называли другие, — с класса пятого, а то и раньше.

— И я помню: говорили — “с бляцкой девка”, а я долго не мог взять в толк, что за бляца такая, думал, типа блесны, и совсем не понимал этих придурочных взрослых...

— У меня по этому поводу был забавный разговор с одним грузинским авторитетом. “Дыкий, — говорит, — у вас, у бе-

лорусов, язык, и народ, наверно, дыкий. Вы даже в нежное слово “билят” на конце ставите не “т”, как все нормальные люди, а “ц” да еще и с мягким знаком. Дыкий народ”...

Мы гнали на раздолбанном Серегинном “москвиче” в Витебск, пересмеивались, заталкивая поглубже нервную дрожь, и вспоминали Галку — “своего парня”.

У Галки были невероятно рыжие волосы. Этот пылающий костер на голове с раннего детства привораживал к ней восхищенные взгляды. Но ее голос с трещинкой был еще привлекательней, чем медяные космы, если бы только она этим потрескивающим голосом не порола всякую хрень — и без умолку...

Галка липла к нашей компании не вспомнить с какого раннего времени, но мы ее нещадно изгоняли прочь. Сначала — потому что мы были мушкетерами, а она так сильно походила на Миледи из иностранного кино, что водись она с нами — нам пришлось бы в конце концов отрубить ей голову вместе со всем рыжим великолепием на ней. Потом, когда мы выросли из мушкетеров, мы иногда позволяли ей забраться вместе с нами в какую-нибудь из наших укромок, но больше нескольких минут не выдерживали и могли взаправду оттяпать ей голову, лишь бы она умолкла и не потрескивала беспрерывно таким притягательным голосом такую невыносимую билиберду про кружева и драгоценности, про то, как она выучится на актрису и специально приедет на несколько дней в Богушевск, чтобы все, кто ей разное такое говорят вслед и в глаза, передохли от зависти, а потом ходили за ней по пятам и им было бы стыдно за все, что сейчас — в глаза и вслед, а она на них — фунт презрения и даже бровью не шевельнет, а пройдет себе королевой из фильма, и только ее кружева будут презрительно колыхаться — и те кружева, что на шее и по всей груди, и те, что на руках, а более всего те, которые на еле-еле будут пениться из-под юбки, а юбка такая вся из темного бархата — может, даже и темно-красного, а по ней спереди от

самого пояска такая вставка — вся в узорах из драгоценных камешков, и они все...

Серегу выволакивал щебечущую Галку за руку на самую ближайшую от нас тропинку к поселку и орал, чтобы она сваливала отсюда во всю прыть, а она до слез обижалась и говорила, что и мы будем ходить следом, передохлые от зависти, а она...

— Не доводи до греха! — орал Серегу. — Чеши домой...

— А что будет, если до греха? — любопытствовала Галка, и всегда сдержанный Серегу выль в голос и убежал сам, а мы следом за ним.

— У меня от нее зубы болят, — шептал Мешок.

— А меня укачивает так, что даже тошнота подступает, — с огорчением признался Тимка. — Но если бы не укачка, было бы здорово посмотреть под эти ее кружева...

С восьмого класса Галка всей своей огненной головой погрязла в великой любви, и ей было не до нас. Ее избранником был курсант авиационного училища Вадик Карпович — тонкий парень, живший недалеко от сгоревшего Тимкиного дома и красивый какой-то нездешней южной и киношной красотой. Они по-книжному переписывались в ожидании, когда Вадик в очередной раз придет на побывку, и Галка картинно страдала от разлуки на зависть всем одноклассницам и всем девицам поселка вообще, все время сверяясь в зеркале, насколько похожи ее страдания на те, которые в кино и в телевизоре показывают про настоящую любовь. На лето после десятого класса была слажена свадьба, потому что тем же летом Вадик заканчивал свое училище и в новеньких лейтенантских погонах ожидался прямо к свадебной церемонии, а потом вместо положенного по любовным книгам путешествия счастливая пара — рыжая в огонь и черный в уголь — отправлялись к черту на рога, где начнет свою блестящую карьеру Галкин Вадик, чтобы очень быстро дослужиться до генерала и, украсив свою жену кружевами в бриллиантах, привезти на несколько дней обратно — всем нам на зависть...

По крайней мере так все планировала сама Галка к окончанию десятого класса, а по причине того, что больше там в ее планах ничего уже подправлять не надо было, она могла расслабиться и несколько отойти от довольно утомительной роли классической благородной невесты, которую она бы сыграла еще лучше, если бы выучилась на актрису — но не судьба. В это время Галка опять вспомнила про нас и довольно крепко прибилась к нашей компании. Трещала она по-прежнему и без остановки, но мы научились не очень разделять ее трескотню на отдельные слова, и оказалось, что в этом случае можно просто наслаждаться ее замечательным потрескивающим голосом, как каким-то неведомым народным инструментом для музыки — типа расчески с папиросной бумагой. Тогда она и стала нам “своим парнем”. Точнее, сразу после того как спасла Тимку от дурацкой женитьбы, в которую уперлась вдруг его шалая судьба.

Наша одноклассница, Галкина тезка и тоже чуток рыжая веснушками по носу и вокруг, вздумала оженить Тимку на себе сразу после окончания школы и перед Тимкиной армией. Может быть, и от зависти к Галке, чья скорая свадьба предполагалась такой грандиозной, что к ней уже начали готовиться, запасаясь закусками и раздувая самогонные пары. Галка-вторая вбила себе в голову эту же свадебную блажь и безуспешно скандалила сначала с Тимкой, а потом и с его матушкой. Зверев от злости, она кричала под Тимкиными окнами о чистой любви и грозила утопиться, но предварительно посадить Тимку до конца дней за изнасилование. Тимка хорохорился, что за это столько не дадут, но на самом деле несколько пришалел и даже слегка потерял аппетит к барышням. Родители горе-невесты каждый вечер приходили к Тимкиной матушке и виновато оправдывались, что не в силах сладить с дочкой, но, мол, и твой кобель — тоже хорош, и, значит, по всему выходит, что надо их оженить, а то она и правда со дня на день отнесет заявление в

милицию. Вот тут Галка и вмешалась в эту маленькую любовную историю, грозящую Тимке крупными неприятностями.

— Чаго ты дуришь? — убеждала она свою тезку. — Навошта тебе связывать усю жизнь с этим голодранцем?

— Дык ён мяне сапсавау, — оправдывалась та. — Кто мяне такую возьме?

— Сапсавау не сапсавау... Тожа мне бяда! — отмахивалась Галка. — Деукай меньш — бабай больш... Глянь на сябе — любовью возьме, а не за любого идти нада. Я свого Вадика попрошу — он тебе с офицером познакомит. Вот за кого надо идти. Сённи лейтенант, а потым капитан, майор, полковник, и там ужо — заживешь...

И — уболтала.

Тимка для нее готов был... В общем, Тимка практически всегда был готов.

Вскоре Тимка неведомо откуда приволок и, напуская свой обычный таинственный туман, выложил перед нами шивку затрепанных машинописных листков с какими-то запрещенными индийскими мудростями о любви. Это был наш первый самиздат, хотя и слова такого для нас тогда не существовало. Шрифт был бледным, а местами только угадывался, и мы с максимальными предосторожностями конспирации отложили расшифровку на более удобное время. Наверное, наши предосторожности были или не самыми максимальными, или — чересчур, но Галка что-то такое пронюхала, и в конце концов для расшифровки запрещенных истин мы все собрались у нее.

Там мы скоренько врубилась в основную суть древнего учения, разогнули скрепки и, разобрав мудрости в отдельные листочки, взялись вчитываться каждый в доставшееся ему, изредка обмениваясь впечатлениями, потому что и вправду было интересно. Только настырная Галка хотела читать с самого начала и, как положено, по порядку, но чтобы все было понятно.

— А чаму такое дзиунае названне? — запршала она.

— “Кама” — это по-индийски значит любовь, — объяснял Тимка, гордый своей ролью нашего проводника, — а “с утра”, потому что у них в Индии жара несусветная и этим делом лучше заниматься с утрачка. Ну а пишется в одно слово — у них так принято.

— А чаму у каждом новом упражнении — снова девушка? Девушка то, девушка сё, и все еще — девушка? — не отставала Галка.

— Ты про йогов слыхала? — поучал Тимка. — Они все с детства так научились растягивать эту вашу преградную пленку, что им все такие упражнения — как с гуся вода... Потому что там, если не девушкой вышла замуж, убьют до смерти. Там только законный муж имеет право делать из девушек женщин, а для этого случая у них совсем особые упражнения — не те, что здесь... Хотя, может, и здесь они есть — надо все изучить...

— Добра им — не то что у нас тут, — позавидовала Галка.

Надо признать, что если бы не Галка, то большая часть описанных запрещенных этюдов так и осталась бы для нас пустыми фантазиями, невозможными для воспроизведения в нормальных человеческих телах — разве только ихними йогами. Но Галка до шестого класса занималась в школьном акробатическом кружке и оттуда или откуда еще про возможности тел знала куда больше нашего. И все равно изучить все индийские премудрости никак было не успеть — даже Тимка не продвинулся дальше третьей страницы, потому что в самый разгар изучения грянула грандиозная Галкина свадьба, и она увезла наставления мудрецов в качестве нашего свадебного подарка в далекое стойбище летунов — к черту на рога.

— Ты только не спеши и не паникуй, — поприсил Серега, прежде чем позвонить в Галкину с замполитом квартиру, и усмехнулся: — Почему-то до смерти хочется жить...

Открывшую дверь Галку я сразу и не признал: волосы перекрашены во что-то обыденно блондинистое, лицо выпито поцелуями да ласками и заново нарисовано яркой косметикой, и только голос не спутать ни с каким.

— Вот уж кого не ждала, не чаяла... Захóдите-захóдите...

— Ну, мать, и здорова ты стала, — восхитился Серега, попристраиваясь половчее, чтобы Галку обнять, и даже, казалось, слегка пораздвинув для этого цветастых драконов на ее халате.

— У нас все основательно, — смеялась Галка.

— А твой-то каков? Наверное, шибздик? Скачет по тебе вдоль и поперёк да нарадоваться не может...

— Не-а... Он весь в меня — только трохи нижей.

— И как вы, — Серега покрутил ладонями одна перед другой, — два таких роскошных шарика?

— А у тех Тимкиных листочка все есть, — хохотала Галка, — и для шариков, и для жердочек... А ты с какими любишься — с шариками или с жердочками? Или уже не хочется?..

— К сожалению, хочется гораздо реже, чем хотелось бы... — хмыкнул Серега. — Ну расскажи, как живешь? Как муж — не бьет? Он у тебя не из этих? — Серега щелкнул по горлу. — С чего Вадика бросила? Где дети? Сколько их у тебя? Наверное, целый взвод настрогала?.. Твой-то, видимо, генерал? Ты у нас всегда хотела быть генеральшей. А где он сам, твой генерал?

Серега засыпал Галку вопросами, но ее можно было и не спрашивать. Она и сама по-прежнему трещала без перерыва, накрывая на стол, наливая нам по рюмочке “для разгону”, похохатывая вдоль своим же откровениям и радуясь, что есть с кем наговориться всласть.

“Мой Николаша — чистая прелесть... Он у меня ласковый, как теля, и такой трогательный — бывает, я разозлюсь на что-нибудь, а он подойдет и давай утешать — лапает-лапает, тискает-тискает, трогает-трогает, ну и злости как не бывало, а я вся ста-

новлюсь такой растроганной — до слез прям... Это он с подчиненными на службе зверем рычит, а дома нежней нежного... Сейчас время худое, что-то пишут непотребное, разоблачают, а он у меня совестливый до не могу — так расстраивается, что ему ни есть, ни спать невмочь... Вось на тыдне, помню... Нет, вру — на прошлом тыдне, в общем, звонок ночью, представляете?.. Николаша трубку, значит, берет — у нас телефон у постели, но с егоной стороны, чтоб, если что, то адразу... Короче, звонит какое-то чмо, и ни здрасте, ни как дела, а с ходу: ты, говорит, падла последняя, тебя, говорит, убить мало — такой ты гадина, чтоб тебе, говорит, жизнь твоя паскудная поперек глотки встала... Просыпаюсь позжей — нет Николаши... Просыпаюсь под утро — а его все нет. Я на кухню, а он там сидит бледней простыни и трясется. Галочка, говорит, если бы ты знала, какой я гад... Как, говорит, стыдно — сил нет... Я его успокаиваю, мол, без стыда рожу не износишь, а он все об своем. Как только, говорит, меня земля носит!.. А в руке пистолет... Нет мне, говорит, прощения, но ты, мол, не беспокойся — тебя и детей я всем обеспечил. На даче, говорит, под печкой пошукай и знойдешь — на всю жизнь вам хватит, а я больше не могу — такой, мол, я гад... Даже подумать боюсь, как бы все кончилось, но тут звонок. Звонит тот же мерзавец, что и ночью, и говорит: извините, мол, ошибся номером, простите, это я не вам звонил и никакой вы не гад... Слава богу, что так. Но ведь столько нервов зазря истрепетал... Николаша мой адразу повеселел, потребовал водочки, и так вот счастливо все обошлось... Совестьливый он настолько, что уже и нельзя так... А уж как по службе убивается — весь испереживался... Только летом чуток успокаивается... Мы же летом на даче все. Это сегодня на самом рассвете за ним приехали — вот вы нас и застали так удачно. У них там какой-то переполох, навроде тревоги. У нас эти учебные тревоги — все время. Вот и сейчас так неожиданно раптам — учебная тревога. Надо срочно лететь в Москву и учить тамошних москвичей уму-разуму... Только вы про это никому — это у нас военная тайна... Так я и говорю,

что летом мы завсегда на даче. Там сейчас все наши детки и остались. Их у нас трое, и младшенькая — ну вылитый Николаша, только с кудряшками... А старший почему-то на Вадика похож, хотя мы тогда уже с Николашей жили. Напэуна я тогда об Вадике переживала, что такую боль над ним сотворила, вот сын и стал на него похожим. Ему в этом годзе двадцать стукнуло... Вот уже сколько годочков я с Николашей своим — даже и больше... Меня Вадик когда привез с собой, я прям ахнула — голая пустыня кругом и ветер песком фр-р в одну сторону, фр-р — в другую... Первые дни прям плакала с тоски... Вадик целыми днями на службе и всего себя тратит так, что домой возвращается уже ни на что не годный. Не то чтобы по Тимкиным листкам учиться — ему и по-обыкновенному ничего не надо... А дом наш? Дощатая будка, и ветер об нее песком — фр-р... Хоть помирай, так было тошно... А потом Вадик меня устроил работать в офицерскую столовую, и стало повеселей. Вот вскорости и появился мой Николаша. Я его сначала и видеть не видела — ходит какой-то плешивый капитан да облизывается, а мне и смотреть на него сорамна. Пушай, думаю, облизывается, мне-то что? Вокруг такие парни пригожыя... А одним вечером вот как сейчас — тревога у них учебная и никого в столовой. Все повара и официантки (я официанткой там работала) по домам разбежались, а я Вадика жду — он меня всегда сам из столовой домой забирал... Ну и заходит этот капитан... Я его холодными закусками обслужила, а больше-то и нет ничего — все разбежались... Стала за ним прибираться, а он следом за мной — на кухню. Ну, тут он меня маленько придушил и немножко снасиловал... Так у нас и началась наша семейная жизнь... Вадик спачатку...”

Зазвенел, затеребенил нутро властный звонок, и Галка поплыла открывать дверь. Мы с Серегой встали в ожидании хозяина дома. Серега мне подмигнул и поправил вольну за поясом, укрытую рубашкой навывпуск.

Генерал вкатился, сверкая лысиной и приглаживая скудный волосяной венчик сзади нее. За генеральской спиной маячил еще какой-то сухонький и малоприметный организм. Замполит Николаша и вправду был под стать Галке, однако все равно до ее пышности недотягивал, хотя бы и потому, что при всем старании не смог бы отрастить себе такую необъятную грудь, но лицо он отрастил...

— Николаша, это мои школьные друзья — я тебе говорила, — представила нас Галка, подставляясь щекой под генеральский чмок.

— Ну, здравия желаю, — вполне приветливо глянул на нас Галкин Николаша. — Хлопотунья моя, — обратился он к жене, одобрительно осмотрев приготовленный стол, — дай-ка нашему Степанычу рубликов двести в долг. Совсем не умеет хозяйство вести — даром что до полковника выслужился...

Галка быстренько прошелестела в соседнюю комнату и мигом вернулась, отсчитывая на ходу деньги и торопясь спроводить запинаящегося благодарностями полковника. Расселись за столом. Галка раскладывала закуски, рассказывая, как она все это готовила, как спешила и старалась, а генерал внимательно разливал водку в солидные стопарики, которыми по его взморгу Галка заменила прежние мелкие рюмки.

— За нашу славную армию! — трубанул тост генерал и сделал даже движение, чтобы встать, но передумал и остался как есть. — За нашу единственную защитницу ото всех на свете несчастий.

Видимо, генерал ждал от нас какого-то одобрения своему тосту, и повисла странная пауза, в которой генерал с поднятым стопарем сверлил Серегу востренькими глазами.

— Молчи громче, солдат, — непонятно потребовал он.

— Не понял, — поднял свой стопарь Серега, — это за армию или за Галку?..

— За обоих, — одобрительно хмыкнул шутке генерал. — Спрашивается вопрос, — прервал свое вдумчивое жевание

генерал и прицелился вилкой в Серегину грудь. — Кто ты таков?

— Ну, Николаша, я же тебе говорила, — начала было объяснять Галка.

— Про школьных друзей я понял... Я спрашиваю, чем ты занимаешься?.. Что ты делаешь на благо нашей великой Родины? — Он одобрительно кивнул Галке, наполнявшей опорожненные стаканчики.

— Да делаю то же, что и ты — по соответствующему приказу мочу врагов нашей правильной жизни...

Серег сидел, отвалившись на спинку стула и чуть отодвинувшись от стола. В левой руке он держал стопарь, а правая лежала готовно — на бедре. В глазах у него плясало хорошо мне знакомое по детским дракам шалое веселье. Я замер дышать...

— Молодец, солдат, — одобрил генерал. — Тогда — за погибель всех врагов... Но в твоём возрасте, солдат... — продолжал он после глотка и занюха, раздумчиво выбирая, чего бы подцепить на свою вилку из заново наполненной Галкой тарелки перед собой. — В твоём возрасте уже пора не выполнять чужие приказы, а отдавать свои.

— И в твоём тоже, — не остался в долгу Серег.

— Ты думай, что говоришь! — возмутился замполит. — Я генерал... а ты солдат. Ты мне даже тыкать не можешь...

— Здесь ты генерал, а сидели бы у меня — я был бы генералом... И у меня — я отдаю приказы, а ты и у себя — по чужим бегаешь...

Замполит недоверчиво оглядывал Серегу, но тон на чуток сбавил.

— Как это — по чужим?.. Я здесь главный...

— Ты в Москву летишь по своему приказу или по чужому?

— Откуда ты знаешь про Москву? — Генерал попробовал грозно встать в рост, но это было хлопотно. — Откуда ты вообще взялся?..

— Да брось ты туман надувать — весь город знает, что летишь в Москву... Там приказали, и вы, как бобики...

— Вона им с их приказами. — Генерал выставил жирную фигу и подробно показал ее всем нам по очереди. — Никуда не летим. — Он налил очередной стопарь и заглотнул без тоста, не предложив нам присоединиться. — Где Язов? Где Крючков? Почему их не было на пресс-конференции, рядом с этой новой властью? Откуда нам знать, что они поддержали этих... этих клоунов с трясущимися руками?..

У замполита и у самого изрядно тряслась рука, расплескивая водку мимо стопки.

— Так что — никто мне не указ... А вас кто подослал? — Генерал снова глотнул и, забыв о закуске, опять прицелил вилкой в Серегу.

— Да побойся Бога, — расслабленно смеялся тот, скоренько разливая водку. — Мы Галкины одноклассники...

— Николаша, я же тебе говорила...

Кажется, я только теперь заново начал дышать. Расслабилось скрученное в жгут тело, и не передать, как славно растекалась по нему холодная водка. Серега взялся тамадить, и генерал еле успевал покрякивать вслед его тостам. Очаровательные парочки пастушков и пастушек, ранее мирно беседовавшие на розовых обоях со всех сторон вокруг нас, вдруг взялись приплясывать, кружить, а некоторые, кажется, приспособились даже исполнить сложные композиции камы-с-утра, хотя сейчас никакое им не утро, а самая глубокая ночь. Я попытался сказать про то, что надо быть снисходительными к этим пастушкам, и даже если они и занимаются тем, что не всем нравится, — не надо никаких солдат и вообще никого натравлять на них, но сильно нетрезвые мысли цепляли слова так же неловко, как пьяные пальцы пытаются уцепить иголку — и роняют, не успевая сшить фразу...

Я смотрел на дату Серегиной записи в Мешковой тетрадке о том, чтобы десантура не вылетала в Москву, и прикидывал, когда он успел написать эту строчку, если у нас с собой Меш-

ковой тетрадки не было. Наверное, в те полчаса, когда он еще в Богушевске бегал кому-то звонить? Может, он и вообще все это написал уже потом специально для спокойствия Мешка, потому что не может быть таких совпадений... А если и не так, то все равно — это лишь совпадение, и ничего больше...

Но в любом случае Серега очень точненько придумал, что тогда надо было для справедливости завтрашних дней. Хорошо было это придумывать той звонкой порой, а сейчас, когда полотно жизни прогнило, изъеденное лжой, как молью, — попробуй придумать!..

Я вспомнил, как верно назвал Серега это наше нынешнее время — “время шнырей”... Такое время... Даже самые успешные и вроде бы состоявшиеся — всего лишь шныри... И позавидовать некому. Хотя совсем недавно одному старику я сильно позавидовал. Он передо мной покупал в киоске очки и просил такие, в которых удобно читать лежа.

— Что вы там такое читаете — лежа? — презрительно спросила девица в киоске.

— Жюль Верна, — радостно заулыбался старикан.

Вот бы и мне так.

А вместо Жюль Верна мне надо исполнить вырванное Мешком обещание и придумать какую-то хрень, что могла бы сделать более справедливой всю хрень вокруг... Я злился на Мешка, но чувствовал, что мне самому это надо. Не для записи в дурацкую тетрадь, которой Мешок будто бы передал свое выдуманное могущество. И не для Мешка, который тихо сходит с ума в своих выдумках. Мне самому стала интересна эта игра: можно ли вообще придумать что-то конкретное для защиты любого-каждого от беспредельного измолота властных (и всех прочих) над ним жерновов?

Что колет мою душу самой болючей несправедливостью?

Пожалуй, постоянно нацеленный на меня властный контроль. А еще год-два — и контроль станет тотальным... Боль-

шой Брат видит тебя... Братец, конечно, умом не блещет и не сильно отличается от Серегиных братков, но все рычаги унизительного контроля у него. Интернет, телефон, почта, камеры слежения — все, чем я пользуюсь в жизни, можно повернуть против меня. Детально обрабатывать всю эту бездну информации властвующим братам, конечно, не по уму, но нацелить на любого, кто стал им поперек горла, — это запросто. При этом сами они — за черной стеной нашего неведения...

Защититься от их контроля законами или воплями о правах человека — дохлый номер. Будут кивать, соглашаться, но в каждый момент возникшей им надобности используют все системы, которые есть в наличии, и закажут в разработку еще более мощные. Это неравновесие разрывает единую ткань жизни. Так и распадаются связи времен...

Прогресс не запретить и не остановить, и, значит, могущество контроля будет только усиливаться.

А если бы все эти технологии развились так, чтобы у любого оказались в руках все те возможности, которые сейчас только во властных лапах? Пусть кто угодно может узнать, что ему угодно и о ком только угодно...

Вроде бы — неуютно... Но почему просвечивающий взгляд какого-то пети-васи хуже такого же взгляда васи-в-штатском? А ведь эти, что все в штатском, могут просвечивать нас уже сегодня... и просвечивают...

Итак, информационные системы такие совершенные, что каждый и о каждом может узнать что ему угодно. Сначала, разумеется, шок от того, что все на свете гады, сволочи, подонки, обманщики, хапуги и вообще — не очень интеллигентные люди. Но потом все более и более люди станут поворачивать глаза и уши и избирательные голоса к тем, кто почище и почестнее. Глядишь, и возникнет заново ценность репутации, честного слова, достойной жизни — все то, что сегодня втоптанно в прах...

Конечно, неуютно жить, сознавая, что любой момент твоей жизни может быть освещен и выставлен на обозрение.

И за какие-то моменты может стать невыносимо стыдно, но вдруг все это и так на обозрении — например, у Бога? Так что же нам станет более стыдно перед соседом, чем сейчас — перед Богом? Да и не будет никакой сосед тратить свою жизнь на изучение твоей. Он бы и сегодня мог накопить жучков и изучать — недорого... Частная жизнь частного человека если и будет кому интересна, то его близким, а с ними он как-нибудь договорится — на то они и близкие. Но вот если ты захотел пробраться во власть или чего-нибудь умное вещать и проповедовать другим, тогда — извини. Тогда — будь весь на виду, а не за черным занавесом...

А как быть с преступниками, которые в вооружении таких возможностей чего только не натворят? Стоп — это ерунда. У сыскарей возможности те же, и числом они — побольше. Наоборот, после какого-то первого всплеска вся преступность увянет — кому охота идти на заведомо провальное дело, если все просветят и до всего дознаются. Это как в открытой нараспах деревушке, где все про всех знают — там и сейчас только обычные бытовые происшествия: сдуру или по пьянке, но никакой тебе организованной преступности или иных спланированных злодейств. Вот так и будет — как в открытой любому соседскому глазу деревне...

А военные тайны? А всякие государственные секреты? Их же тоже не станет...

Но, может, это и хорошо. Пусть договариваются в открытую. При полном знании планов противника исчезнет само это понятие — противник. Придется становиться партнерами, коллегами, соседями...

А права человека? А право на частную жизнь?

Ну, это уже смешно... Можно представить, например, что где-то все люди рождаются с закрытыми веками. Так и живут со склеенными веками и не знают возможностей зренья. Все у них как-то развивается, и в том числе — права человека, защищающие частную жизнь от излишнего ощупывания гэбэшными спецами-слепцами. И вот кто-то догадался ново-

рожденным расклеивать веки, и, конечно, вокруг сразу шум — права-человека-права-человека...

Сейчас при громких криках о правах человека все молчаливо признают безграничные возможности властного контроля и от бессилия запретить его готовы уже и оправдать. А в моем варианте будет обеспечено главное право: все знать, и в частности — о тех, кто властвует над тобой...

Мне все больше нравилась моя придумка. Четкими буквами я написал в Мешковой тетради: “Надо, чтобы информационные технологии развились до такого уровня, чтобы у каждого человека была безусловная и ничем не ограниченная возможность в любой момент и в реальном времени увидеть и услышать все, что делает любой другой человек”.

Поставил дату...

Посмеиваясь над собой, приписал Мешкову формулу: “Господи, сделай так”...

Оставалось поставить точку.

CORPUS 131

НАУМ НИМ

ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК...

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА
Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО
Ведущий редактор НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА
Ответственный за выпуск МАРИЯ КОСОВА
Технический редактор ТАТЬЯНА ТИМОШИНА
Корректор НАТАЛИЯ УСОЛЬЦЕВА
Верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНА

ООО "Издательство Астрель",
обладатель товарного знака "Издательство Corpus"
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а

Подписано в печать 12.12.11 Формат 60x90 1/16
Бумага офсетная. Гарнитура "OriginalGaramondC"
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0
Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 10663

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 933000 — книги, брошюры

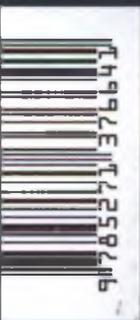
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги
или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал "Ульяновский Дом печати",
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

По вопросам оптовой покупки книг
Издательской группы "АСТ" обращаться по адресу:
г. Москва, Звездный бульвар, 21, 7-й этаж
Тел.: (495) 615-01-01, 232-17-16

В начале девяностых Наум Ним опубликовал несколько текстов шаламовской силы — о своем тюремном и лагерном опыте андроповских времен. Не меньшим шоком для читателя стал его сатирический роман “Пассажиры”. Новая книга — полуфантастическая притча о собственном белорусском детстве и о жизни последнего советского поколения — едва ли не самое точное, жесткое, веселое и глубокое высказывание о том, “что это было” и что нас всех ожидает.

ДМИТРИЙ БЫКОВ



Наум Ним (Наум Ефремов) родился в 1951 г. Окончил педагогический институт. Работал учителем и воспитателем в школе-интернате, программистом, грузчиком, строительным рабочим. В 1985 г. был арестован по обвинению в “распространении клеветнических измышлений, порочащих советский строй”. Писать начал после освобождения (1987). Первая публикация в журнале “Континент” — повесть “Звезда светлая и утренняя”. В настоящее время — главный редактор журналов “Индекс/Досье на цензуру” и “Неволя”.